
LE MESSENGER

ВЕСТНИК

русского христианского
движения



217



Ответственный редактор
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВА (Париж)

Редакционная коллегия
Д. СТРУВЕ, Т. ВИКТОРОВА (Франция);
О. РАЕВСКАЯ-ХЬЮЗ (США);
В. АЛЕКСАНДРОВ (Венгрия);
прот. ВЛАДИМИР ЗЕЛИНСКИЙ (Италия);
ЖОРЖ НИВА (Швейцария);
Е. БАРАБАНОВ, Н. ЛИКВИНЦЕВА,
Е. МАЙДАНОВИЧ, А. МЕДВЕДЕВ,
О. СЕДАКОВА (Россия);
К. СИГОВ (Украина)

От редакции

Вот уже год, как мы ждем. Ждем, когда пули будут петь, а не убивать. Ждем извне, но с тревогой внутри. Ждем изнутри с еле заметной надеждой. Ждем, ждем и помним стихи Иосифа Бродского:

И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули,
разучившиеся петь,
кричали нам,
что есть еще Бессмертье...
... А мы хотели просто уцелеть.

Растет тревога, отчаяние. Мы знаем, что есть Бессмертье, но не знаем, когда оно станет различимым. Видимым нам, видимым страдающему народу, видимым жертвам безумия.

Это длинное, мучительное, отчаянное ожидание. Ночь, как огромный парашют, висит над нами, и парашют как бы колеблется — пропустить утро, свет, разум, день или не пропускать, упорствовать, продолжать погружение во тьму.

Наши предки, здесь и там, там и здесь, в такой же «Европейской ночи», ждали, ждали мучительно и дождались нового дня. «Вестник» ждал, боролся, спорил, верил, пел.

Сегодня «Вестник» снова ждет, мучительно ждет, ждет, ждет...

Жорж Нива
(*Великий пост, 2023 год*)



БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ



Митрополит Антоний Сурожский

О святости

Беседа первая*

Я начну с короткого введения о том, что святость означает в Ветхом завете и в Новом завете, а также в жизни и в опыте Церкви.

В Ветхом Завете мы находим множество текстов и указаний на эту тему, так что сегодняшняя моя беседа будет основана на ветхозаветных определениях или подходах. Но я буду перемежать их замечаниями, заимствованными из Нового Завета или из всецелого опыта Церкви, поскольку Ветхий Завет расцвел в новый договор, новый союз между Богом и человеком. Этот новый завет — не просто продолжение; он — плод, подобно тому, как цветок на фруктовом дереве развивается в плод, который неразрывно связан с корнями, со стволом, с ветвями, с листьями. Цветок достигает полноты, завершенности, окончательности, которой все это не имело, потому что начало обретает осмысленность в завершении, полноте всего, подобно тому, как сотворение мира достигает окончательного смысла в восьмой день, когда *Бог будет все во всем*¹.

Слово «святость» в переводе на современные языки, вообще на все языки, на какие были сделаны переводы с еврейского, в основе своей означает отделенность, предельную инаковость. И с очень раннего времени в Ветхом Завете

* Цикл бесед в Лондонском приходе. Первая — 11 ноября 1986. Пер. с англ.

@ Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation.

это слово в собственном смысле применялось к Богу, чтобы указать Его Божественность; святость рассматривалась как сущностное свойство Бога. Говорить о Боге или говорить о святости было одно и то же, и Исаия отчеканил выражение (мы употребляем его слишком легко): «Святой Израилев»², чтобы назвать Того, Чье имя никогда не произносилось, так как оно слишком свято, его невозможно переложить на буквы или выговорить.

Бог — до конца и совершенно иной; и это Его свойство выражается святостью. В тварных созданиях тоже может присутствовать святость, но она всегда производная от Бога, от определенного, особого контакта с Ним. Она сообщается через слово благословения, или через возложение рук, или через действие посвящения, — и эти действия могут быть различны, в зависимости от самого тварного создания и от того, к чему оно предназначено.

Святость Божия — сама Его природа: Бог есть сама святость. Это можно найти у пророков, у Амоса: клялся Господь собственной святостью — т.е. Самим Собой³. У Осии Бог говорит: Я Бог, а не человек, Я Свят⁴... Святость в своем полном, предельном выражении — неповторимое свойство, присущее Одному только Богу — это свойство Божества. И это свойство делает Бога до конца, совершенно отличным от любого тварного существа, от всего, что существует. Все остальное можно было бы назвать профанным, если бы это слово не приобрело уничижительной коннотации. В ветхозаветных категориях «профанный» не означает «профанированный», оскверненный, нечистый; оно обозначает то, что еще не посвящено Богу, не отдано Ему или то, что еще не пронизано Божественными энергиями, Божественной силой, которая превращает, преображает тварное в то, что зачаточно, пусть и несовершенно, но уже начинает приобщаться к святости Божией.

Эта инаковость Бога воспринимается в Ветхом Завете двояким образом. При встрече с Богом, при ощущении или остром осознании Его присутствия, единственный возможный ответ — благоговеющий трепет, ужас; в известной мере этот ужас заставляет тварное существо отшатнуться. Ветхий Завет нередко утверждает, что встреча с Богом ужасает, она опасна⁵. Много столетий спустя апостол Павел после своего

переживания, пусть и очень отличающегося от того, что пережили те люди в Ветхом Завете, произнес: «Страшно впасть в руки Бога Живого»⁶. Павел все равно ощущал, насколько встреча с Богом полна страха. Но само это слово «страшно» понималось, мне кажется, по-разному в Ветхом и в Новом Заветах. Ветхозаветные пророки и святые говорили: «я видел Бога, я умру»⁷. Они ощущали, что невозможно встретить Бога лицом к лицу и остаться живым. Бог представлялся им огнем поядующим⁸; можно или приобщиться Его святости, или сгореть в этой встрече.

У апостола Павла мы находим новый подход. Бог Израиля недостижимый, непознаваемый, бесконечно великий в Своей державной силе и святости через Воплощение пребывает среди людей. Полнота Божества пребывает во Христе⁹ и пребывала на земле в среде Его учеников, и далее – в среде всех тех, кто, встретив Господа, услышав от учеников о Его Воплощении, вошел в эти новые отношения.

И вместе с тем Бог все еще вселяет благоговейный страх, однако, как в Ветхом, так и в Новом завете Он не только предмет священного ужаса: Он также Тот, к Кому человек всецело устремлен. Потому что и Ветхий, и Новый заветы сознают, что ни люди, ни тварный мир не могут достичь своей полноты, подлинно стать самими собой, какими им было предназначено стать, какими они были призваны быть, задуманы Богом, если между Богом и людьми не установится связь, единство, если огонь Божества не достигнет Его творений на таких условиях, когда Он не только огонь поядующий, но и преображающая сила.

Два примера, возможно, помогут прояснить это утверждение. Первый – упоминание неопалимой купины, куста, который Моисей увидел в пустыне¹⁰. Помню, отец Лев Жилле как-то подчеркнул в беседе: одно из свойств Божественного огня то, что он не питается веществом, к которому прикасается, человеческим телом или человеческой душой, или кустом в пустыне. Он сжигает, обращает в пепел все, что неспособно приобщиться этому огню, соединиться с ним, – остальное не уничтожается, а достигает своего исполнения, полноты.

Второе: я уже неоднократно упоминал слова святого Максима Исповедника о Воплощении; он говорил, что в Воплощении человечество Христа и Его Божество

соединились подобно тому, как соединяются огонь и железо, когда меч погружен в горнило. Железо меча исполнено огнем, но не уничтожено, природа его не изменилась; он остался тем, чем был, но приобрел сияние, какого прежде не имел. Вот одна из возможностей, благодаря которой мы можем видеть уже в Ветхом Завете, каким образом, каким путем Бог может соединиться с собственным творением.

В апокалиптических иудейских писаниях¹¹ и в церковном предании мы видим нечто подобное по отношению к ангелам Божиим. В XIV веке святой Григорий Палама развил эту тему, назвав ангелов «вторыми светами». Единственный подлинный свет — Сам Бог. Но в понимании Паламы ангелы — такие существа, которые полной, совершенной, всецелой, ревностной самоотдачей Богу преодолели всякое сопротивление, всякую непрозрачность, потемненность в себе, и, когда их коснулось сияние Божие, просияли в полной чистоте Божественным Светом, хотя никто из них не мог вместить всю полноту этого Света. Каждый из них под действием Божественного Света стал подобен, если такое сравнение допустимо, одному из цветов радуги, воспринял свет, подобно многоцветному витражу. И каждый из них выражает некую грань познания Бога, полученную им от этого Божественного прикосновения, то, как он воспринимает Бога. Самые их имена выражают это знание. Михаил означает «никто как Бог»; Рафаил означает «Бог исцеляет», и т.д.

Как я уже сказал, в нашем приближении к Богу есть одновременно благоговейный страх и устремленность. Мы можем познать Бога, только когда Он Сам приближается к нам, когда мы открываемся Его присутствию. Напомню, что английское слово «Бог» (God) происходит от готского корня, который означает «Тот, перед Кем падаешь ниц в поклонении». Это очень интересно. И такова же одна из возможных этимологий греческого слова *Theos*; оно может иметь ровно то же самое значение, а может значить «Творец».

Присутствие Бога, которое проявляется через слова или которое люди воспринимают через Его державные действия, вызывает, как я уже говорил, в тех, кто слышит или видит, священный ужас, благоговейный страх, который заставляет нас пасть на колени. И мы одновременно отчаянно взываем о встрече с Ним, и вместе с тем сознаем, что мы недостойны,

неспособны на эту близость, если только Сам Бог не снизойдет к нам, если только Сам Бог, по слову одного германского мистика, не умалится в наш рост, чтобы сделать нас великими в Свою меру¹². Это похоже на видение красоты, когда мы устремлены к ней и вместе с тем охвачены трепетом.

И то и другое связано с осознанием предельной инаковости Бога. Его невозможно познать как Такового, ведь даже человека невозможно познать в его сути. Бог познается только через сияние Его славы, в Его великолепии. Уже в V веке православные писатели говорили, что Бог подобен солнцу на небе. Смысл этого высказывания: солнце остается для нас непознаваемым, однако нам доступно его сияние и тепло, исходящее от него.

Сияние славы Божией доходит до нас двумя способами. Оно может оказаться слепящим светом, который поразил Павла на пути в Дамаск, когда тот встретил воскресшего Христа¹³, светом настолько ярким, что святой Григорий Нисский назвал его Божественным мраком, поясняя: в Боге нет тьмы, но сияние Его столь яркое, что, когда оно касается наших глаз, мы ослеплены. С другой стороны, это может быть тот свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир¹⁴, тот Свет, Который мы воспеваем на вечерне, когда поем о радостотворном, тихом свете Небесного Отца; и свет этот — Иисус Христос¹⁵.

Мы можем воспринимать только сияние Божие. Вы, возможно, помните: когда Моисей вошел в темное облако, покрывшее вершину Синайской горы, чтобы принять Десять заповедей, он просил у Бога увидеть Его. И Господь ответил: не может человек увидеть Меня и остаться живым, но Я пройду мимо тебя и покрою глаза твои рукой, а когда Я пройду, ты можешь посмотреть на Меня уходящего (в тексте сказано: ты увидишь Меня сзади)¹⁶. Здесь можно провести параллель с провозглашением Иоанна Крестителя: вот Агнец Божий¹⁷, и тем, как Иоанн и Андрей последовали за уходящим Христом и пребыли с Ним. Но Христос поистине — *Phos Hilarion*, радостный, радостотворный свет. В Ветхом Завете свет был слепящий, Бог в Своей святости оставался Огнем поядающим. Святость Божия определяла одновременно Его Существо, Его Суть, это слово, как уже говорилось, указывало на отделенность, на инаковость. И кроме того, чтобы

избежать поглощения Огнем, чтобы встреча с Живым Богом не стала судом и осуждением, человек должен был научиться тому, что Ветхий Завет называет «праведностью», т.е. верностью тому, что позволяет человеку открыться Богу и очищает его от всякой нечистоты. Это начинается с того, что Бог провозглашает (у Исаии, у Иеремии, у Иезекииля), что Ему отвратительно нравственное зло и что Он осуждает грех¹⁸.

Но это не все. Господь провозглашает, что Он — Избавитель, Тот, Кто освобождает от зла, от греха, от смерти, от уничтожения, в конечном итоге, от вечной гибели. Даровав заповеди, Он восстанавливает нравственный порядок. Позднее, когда Христос приходит как откровение того, в чем призвание человека, восстанавливается естественный порядок вещей. Вокруг Христа и Его святых взаимоотношения, основанные на страхе, подавлении, жестокости, взаимных оговорах, преобразуются в новые отношения любви — в том смысле, в каком это зачаточно открывается в Ветхом Завете и в полноте раскрывается в Новом Завете.

Если хотите увидеть, как тайнозрителя, с одной стороны, охватывает ужас, и вместе с тем как возникает в нем порыв к Богу, перечитайте шестую главу пророка Исаии. В ней говорится нам, как Бог, глядя на падший и погибающий мир, на Израиля, который уклонился с правого пути, ставит вопрос: «кого Мне послать?». Первая реакция Исаии: «я человек с нечистыми устами...» сменяется на: «вот я, пошли меня»¹⁹. Такая самоотдача вплоть до готовности принять этот всепоглощающий огонь, войти в него — существенная черта акта посвященности.

Именно через эту посвященность тварное может приобщиться святости Божией подобно тому, как можно сколько-то познать солнце, восприняв его свет, отдавшись воздействию его тепла. Такая святость возникает в результате самоотдачи, или когда люди приносят Богу то, что принадлежит Ему. Как я уже сказал, тварное принадлежит профанной области, пока не принесено в дар Богу. Если речь идет о людях, человек приносит в дар себя самого, душу и тело, ум и сердце, волю и действия, все свои поступки и все свое существо. Это посвященность души, и даже более того, потому что пропасть инаковости — не просто результат человеческого греха, человеческой хрупкости, она онтологична. Это непреодолимое

расстояние между сотворенным и нетварным, между Сущим и тем, кто призван в бытие, между тем, кто сотворен, и Тем, Кто Сам — Творец. Расстояние между ними может преодолеть только Сам Бог. Он вступает и изливает Себя на тварь или пронизывает тварное — при условии, однако, что тварные существа предлагают себя, раскрываются Его присутствию, Его воздействию и живут соответственным образом.

Если, опять-таки, позволительна параллель, в конечном итоге взаимоотношения должны стать подобными (но это всего лишь сравнение, реальность много богаче и глубже) взаимоотношениям художника, музыканта, который играет на инструменте: инструмент должен быть настроен. И это нам доступно, хотя сам по себе инструмент не может произвести мелодию, музыку, он не имеет голоса. Должно быть сотрудничество, и не случайно апостол Павел называет нас соработниками Божиими²⁰ в деле искупления и восстановления падшего мира, но прежде всего в восстановлении в нас самих не только через посвященность, но через устойчивую праведность, условий, которые позволяют Богу охватить нас целиком и привести все сущее к полноте, превосходящей возможности тварного.

Обоим Заветам, и Ветхому, и Новому, известна, хотя различно и в разной степени, посвященность, приношение в дар предметов. В Ветхом Завете священные сосуды, Храм, жертвы и еще столь многое приносилось Богу, чтобы Он владел всем этим неограниченно. Все принесенное не только не могло быть отнято у Бога, оно не могло использоваться для других целей. Они были настолько священны, что даже касаться их могли только люди, предназначенные к определенному служению. Вы помните случай, когда Ковчег Завета наклонился, и два человека, забыв о его неисповедимой святости, коснулись, чтобы удержать его — и умерли²¹.

Подобным образом мы находим в Послании к евреям слова, говорящие нам, что мы спасены кровью Христовой так же, как ветхозаветный народ получал освящение и очищение через окропление кровью жертв²². Да, совершенно в другой мере, совершенно иным, но, тем не менее, подобным образом. Богу посвящались места и предметы: я уже упомянул неопалимую купину; около Иерихона было место, где Иисус Навин встретил Бога лицом к лицу; Храм; Скиния Завета...

А когда евреи возвращались из плена, даже путь, которым они шли, был назван святым путем, потому что его проложил, как бы незримо начертал Бог.

Также выделялись отрезки времени, праздники, суббота и различные ветхозаветные праздники: они принадлежали Богу. Время, предметы, пространство, люди, поступки, сердца, умы возвращались Богу. Все это коренится в ветхозаветной убежденности, что человек предал весь тварный мир в рабство сатане. То, что по праву принадлежало Богу и было вручено заботе человека, было отдано в чуждое рабство. Это не сделало творение нечистым, это подчинило его закону страдания и смерти. Вы наверно помните слова апостола Павла, что вся тварь стонет в чаянии откровения сынов Божиих, ожидая момента, когда человечество, человек вернет Богу то, что Ему принадлежит²³.

В этом смысле наше положение ничем не отличается от положения ветхозаветного народа. Наш мир подвержен злу, ненависти, жадности, он в руках страха. И все это — дело рук человека, потому что мы не приносим Богу, не делаем достойным Его все то, что Бог вручил нам, заповедав сделать из земли небо, принести небо на землю; позволяя, по слову Христа, огню возгореться²⁴, — огню, который не попалает, но освящает всё и вся. Вопрос не в том, что чисто или нечисто, дело не в большей или меньшей мере совершенства; вопрос более существенный: все приобщить Богу, не Его природе, не сущности Бога, но тому, что много позже святой Григорий Палама назвал «Божественными энергиями». По слову В.Н. Лосского, Бог преизливает собственную природу в Свое творение. К этому призваны и люди, призваны все народы.

Святые, о которых я постараюсь говорить, это люди — мужчины, женщины, дети, которые ощутили святость Божию, оказались способны поклоняться Богу и понять, что, если они не отдадутся Ему безоговорочно, они кощунствуют против Него и Его имени. И такое их видение, такое восприятие славы Божией, говорящей им о Его святости, привело их к осознанию собственного недостойнства, греховности. Они оценивали греховность не количеством грехов или своим нравственным состоянием, а разницей между собой, потемненными и Божественным Светом. Их вело сознание:

Бог есть Свет, и нас может воспламенить только Он; в нас нет собственного света, но мы можем просиять светом Божиим.

В последующих беседах я постараюсь говорить об определенных категориях святых или об отдельных святых, которые ясно показывают самую природу человеческой посвященности и то, каким образом Бог может преобразить человека. Но приобщиться святости Божией призван — я хотел бы закончить на этом — не только человек: к этому призван весь мир, он должен быть пронизан присутствием Божиим, так, чтобы все засияло Божией славой. Святитель Филарет Московский в одной своей проповеди сказал, что, если бы наши сердца были чисты, если бы мы были способны видеть, мы увидели бы, что все творение сияет благодатью Божией, подобно тому как поле может сиять всеми цветами радуги, когда восходящее солнце коснется росы, его покрывающей. Мы должны научиться смотреть вокруг и видеть этот свет друг во друге, признавать, что в нас есть хотя бы искорка света, по слову Христа: верьте в свет, чтобы быть детьми света²⁵.

Беседа вторая²⁶

В прошлой беседе я постарался изложить вам ветхозаветное видение Божией святости: Бог совершенно Свят и совершенно Иной, и тем самым Он для нас Непрístupный, Святой Израилев (по слову Исаии²⁷), Непостижимый Бог. Он Единственный знает Сам Себя, а мы познаём Его косвенным образом через сияние Его славы. Она заставляет нас в благоговейном ужасе пасть на колени, до земли поклониться Ему.

Когда Ветхий Завет в разных местах говорит о Боге как об Отце, говорит о Его любви, Бог остается Отцом великим, Таким, Который требует от нас величия, делающего нас достойными Его детьми, Его дочерьми и сыновьями. Святость, освященность людей, мест, предметов — эта святость и освященность производная и проистекает она из того, что люди бывают избраны, места посвящены Ему, предметы предназначены исключительно для Него. Тем самым они участвуют в Его святости, они выделены, и в этом их особенное свойство.

А следующий вопрос, который мы должны поставить, такой: внес ли Новый Завет в понятие святости, в самый опыт святости и ее реальность что-то радикально новое, что-то,

к чему в Ветхом завете можно было устремляться желанием, но невозможно было достичь? Ответ на этот вопрос, мне кажется: «да», потому что в Воплощении, в том, что Бог стал человеком, что полнота Божества обитала во плоти²⁸, что Бога стало возможно назвать «Еммануил»²⁹, «Бог среди нас» — произошло нечто совершенно новое. Не переставая быть Непостижимым, Таинственным, Святым, Неприступным Богом по Своему Существованию, ради нас Он сделался одним из нас, оставаясь столь же Великим, Каким был.

Дело не только в том, что в Воплощении Бог явил Свою способность любить до предельного уничтожения, принять образ раба, уподобиться нам во всем, кроме греха, взять на Себя все последствия того, что человек изменил своему призванию. Бог стал беспомощным и уязвимым, прямо-таки презренным в глазах тех, кто верит только в силу и в видимую победу. Что касается нашей темы, произошло нечто еще более значительное: вся полнота Божества соединилась с полнотой человечества. Да, полнота Божества обитает в плоти³⁰. И теперь наша связь с Богом может проявляться разнообразно: мы можем не только почитать, поклоняться, благоговеть, не только верить, — вера, в первую очередь, это такое доверие Богу, что мы можем отдать Ему, вручить Ему себя и свою судьбу. Как следствие, мы можем подтверждать эту самоотдачу неизменной, постоянной верностью. Нашей личной верностью Ему, верностью общности людей, поклоняющихся Ему и готовых служить Ему; верностью в исполнении Его воли, неизменной верностью Его заповедям. Верностью, которая в конечном итоге превращает человека или группу людей, или народ, или Церковь — в собственный удел Божий. Само слово «Церковь» происходит от греческого *Kiriakon Doma* и означает «Дом Божий».

Все это так, но теперь, после Воплощения, подлинным становится еще одно. Мы можем общаться с Богом, так сказать, не только душой, но и телом. Общее у нас с Ним, первое, самое тесное, что нас роднит с Ним: Бог через Воплощение обладает телом, подобным нашему, Он в этом смысле уподобился нам. И все, что стало истинным относительно Его физического присутствия среди нас, косвенно, зачаточно истинно и по отношению к нам. Я говорю «косвенно, зачаточно», потому что в Нем человечество совершенное, в нас оно поврежденное. Однако и в нас оно достаточно подлинное,

чтобы нам уподобиться Ему. Он — наше ближайшее подобие, а мы подобны Ему.

Мы также связаны с Ним всей многосложностью нашей личности. Мы — образ Божий и потому слова эти звучат совершенно конкретно, они настолько реальны, когда мы думаем о Нем как о Сыне Божиим Воплощенном, ставшем Сыном человеческим. Вам известны все образы, которые можно найти у апостола Павла: мы «привиты ко Христу»³¹, в крещении мы «облеклись во Христа»³²; в Причащении Он Сам подлинно пронизывает и наполняет нас; в даре Пятидесятницы мы становимся храмами Святого Духа... Все это пути, которыми Бог сродняется с нами настолько тесно, настолько глубоко, с такой силой, какой не знал Ветхий Завет. Ведь поклоняться — одно дело, а приобщаться — совсем другое. Поклоняться неисследимому, непостижимому Богу — одно; приобщаться Ему, делаться причастниками Его Божественной природы³³ — другое.

Бог по-прежнему тот же Святой, каким Его опытно знал Ветхий Завет, изменились взаимоотношения. В плане богословия, есть целая область нашей богословской мысли, которая заключается в том, чтобы отметить прочь все грубые, примитивные, недостаточные утверждения, какие мы можем делать относительно Бога, и все время повторять: «Да, но это неверно, это аналогия, это образ. Истина — таинственна» (это слово следует понимать здесь в его подлинном значении, не как нечто «таинственное», а как то, что может быть познано в безмолвной приобщенности).

И вместе с тем, в рамках такого опыта приобщенности святой Григорий Нисский, например, говорит нам, что Бог, Которому мы приобщаемся, Бог, о Котором Николай Кавасила в XIV веке сказал, что Он ближе нам, чем самая наша жизнь, остается (притом, что мы приобщаемся Ему настолько глубоко, как только можем, настолько совершенно, как Он нам предлагает Себя) — Он остается для нас Мраком. Не в том смысле, будто в Нем есть мрак, но только так святой Григорий мог донести до нас, что, когда мы глядим на славу Божию, она нас слепит, и мы не в состоянии ее исследовать.

И так замечательна эта уравновешенность между понятием святости и ее опытным познанием: Бог безмерно велик, невообразимо, неисследимо глубок, Он вечно пребывает Собой, непостижимый в Своей сущности — и, однако, Своей

любовью Он отдается нам, становится одним из нас, чтобы включить нас в самую Свою тайну.

Это совершается посредством веры (как я уже упоминал), которая начинается с того, что мы достаточно доверяем Богу, чтобы отдаться в Его руки, предаться Ему, принести себя в дар Ему, верить Ему свою временную и вечную судьбу. Доверие это вырастает в твердую решимость, в мужество, в постоянную верность Ему, в почитание Его Самого и Его имени, в соблюдение Его заповедей, в постоянную, неусыпную открытость Ему и закрытость для всего остального, по крайней мере, для того, что несовместимо с Ним. Эта приобщенность — и для нас, православных, это очень важно — укоренена в нашей жизни в таинствах, в них находит свое выражение и содержание.

Таинства — действия Божии в ответ на нашу веру в составе общины верующих. Наша вера, возможно, невелика, но община в целом обладает полнотой веры. Этими Своими действиями Бог сообщает нам то, что мы никак не можем приобрести или завоевать собственной силой. В Крещении Он включает нас в тайну Своего Воплощения; в даре Пятидесятницы Святой Дух сходит на нас; в Причащении Он пронизывает нас Своим человечеством, исполненным Его Божества. Мы приобщаемся, согласившись стать учениками распятого Христа, самой тайне Христа воскресшего.

Таким образом, вера, и жизнь, и таинства — вот пути, какими Святость Божия достигает до нас. Феофан Затворник в одном из своих писем говорит, что прежде Христа Бог стучался в каждую дверь. Подобно тому, как море окружает остров, Бог прилагал усилия, чтобы Его приняли и впустили, но Он оставался как бы вне нас. С Воплощением мы включены в тайну Божию, и Бог входит в тайну человеческой личности. Это совершенно новые взаимоотношения, очень отличающиеся от того, что мы видели ранее, в Ветхом Завете; вернее, это исполнение, полнота того, что происходило тогда.

Но здесь возникает проблема. Католический автор Жан Даниелу³⁴ писал в одной из своих книг, что спасение возможно только во Христе, а значит, нет святости вне Христа. А поскольку Христос един с Церковью, которая есть Его тело, нет спасения кроме как в Церкви, нет и освящения кроме как через Церковь. Это исходное утверждение позволит избежать всякого двоемыслия. Но, с другой стороны, существуют

люди, которые не ведали Христа, либо потому что жили прежде Него, либо им не случилось познать Его. И, однако, они были святы. И на этом я хочу остановиться, потому что, мне кажется, здесь нечто, что нам следует продумать.

Да, Церковь — то место, где Бог и человек встречаются; да, Церковь — самая тайна этой встречи; Церковь — средство, через которое эта встреча происходит. И, однако, бывает, что Бог стучится в дверь задолго до того, как она открывается. Невозможно было бы познать Бога, открыть Его, если бы Он Сам не раскрыл Свое присутствие, не открылся. Это выступает чрезвычайно ясно и глубоко впечатляет меня благодаря тому, что мы почитаем святыми не только святые личности Ветхого и Нового Заветов, которые, так сказать, принадлежат Завету с Богом, Завету с Авраамом; но мы почитаем и людей, живших прежде Завета. Мне кажется глубоко волнующей мысль, что, когда Бог создал человека — и под «человеком» я подразумеваю не мужскую личность, но человечество в лице наших первых праотцов — Он установил между Собой и ними Завет, который некоторые богословы называют «Адамовым Заветом»; Завет, который выражается в том, что Бог запечатлел в человеке собственный образ, что человек создан по образу Божию, и что этот образ не мог быть изглажен ни грехом, ни силой сатаны. Задолго до возникновения культового, обрядового Завета между Авраамом и Богом, в Божием акте творения присутствовал как бы негласный, но действенный, мощный творческий Завет между Богом и человеком. Бог создал человека вместе со всей Вселенной действием полной Самоотдачи и любви; Бог сотворил человека таким, что в нем была способность отзываться.

Таким образом, перед нами факт: помимо новозаветных святых, которые не составляют для нас проблемы, помимо ветхозаветных святых, которые, начиная с Авраама, находятся в рамках Завета, мы почитаем святыми целый ряд других личностей, о которых говорится в Ветхом Завете, и которые, технически говоря, находятся вне Завета и при желании могли бы быть названы *святыми язычниками* Ветхого Завета вместе со всеми позднейшими народами, которые не принадлежали народу Завета, — народами, которые ни по происхождению, ни по вере не были израильтянами.

Я могу привести вам целый ряд очевидных примеров: Адам и Ева, Авель, Енох, Ной, Лот... О почитании Лота говорится в

древней рукописи IV века «Путешествие Этерии в Иерусалим»³⁵. Лот состоял в родстве с Авраамом, но не был участником Завета, и это сразу ставит перед нами вопрос: как же так? Возможно ли, что человек, связанный родственными узами с Авраамом, остался вне Завета и был отторгнут от тайны общения, тайны призвания всего человечества к полноте жизни?

Далее мы видим Даниила — он был финикийцем, видим идумеянина Иова. В писаниях Григория Двоеслова есть упоминание Иова очень, мне кажется, красноречивое. Там говорится, что не случайно жизнь праведного язычника предлагается нам в пример наряду с жизнью израильтян: Спаситель наш, пришедший ради искупления иудеев и язычников, пожелал, чтобы Его предвозвестили голоса и иудеев, и язычников... А святой Ириней Лионский выражает эту же мысль иначе; он говорит: Слово Божие непрестанно присутствовало в человеческом роде...

Мы находим в Ветхом Завете и царицу Савскую, т.е. арабскую правительницу. Вы, надеюсь, помните место Евангелия, когда Христос говорит: «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его»³⁶. Технически она язычница, чужая, исмаильтянка — и будет судьей, потому что в ней была правда Божия.

И конечно же, Мелхиседек, образ первосвященника — тот, кто благословил Авраама и его спутников, князь Салема, язычник, чуждый Завета, тогда как Авраам уже под Заветом. И тем не менее, Авраам получает от него благословение, а не наоборот³⁷.

Так что мы встречаемся с рядом имен, которые принадлежат, так сказать, «язычникам». Иногда говорят: «люди, принадлежащие естественной религии». Нам следует употребить это выражение осмотрительно, потому что в западном богословии часто проводилось различие между понятием «естественного» человека и человека, наделенного благодатью. В православном богословии не существует такого разделения; мы используем слова святителя Афанасия Великого, что человек создан на пути к обожению. Ни в какой момент человек не является просто тварью, т.е. животным среди других животных, которое дополнительно получило благодать.

Но можно задуматься о естественной религии как ее понимает святой, об опыте священного, почерпнутом из

созерцания природы. Вспомните место псалма: «небеса поведают славу Божию»³⁸. Подумайте о голосе собственной совести; можно вспомнить место у апостола Павла, где он говорит о тех, кто жил под Законом и будет судим по Закону, и тех, кто не знал Закона и будет судим по закону Божию, написанному в сердце, в совести, в мыслях³⁹. Они постоянно судят самих себя и свои поступки в соответствии с внутренним свидетельством, которое многие находят не через созерцание тварного мира, а через уход в самих себя, где они находят все большие глубины, которые не может заполнить ничто, кроме Бога.

Тот же автор, которого я упомянул выше, Жан Даниелу, говорит о космической религии: космической не в том смысле, что в ней поклоняются Космосу; эта религия вытекает из того, что человек рассматривает тайну всего сущего, сотворенного Богом, размышляет над ней, входит в эту тайну и как бы обнаруживает след Божий на всем.

Среди людей, которых я упомянул ранее, есть имена, приводящие историков в недоумение, историчность некоторых из них ставилась под сомнение. Церковь всегда отказывалась рассматривать эти личности как мифы, как имена, не имеющие сущности, как притчи, как волшебные сказки. И вместе с тем на протяжении истории бытовали размышления о том, что отличительные свойства, которые мы находим в той или другой личности, возможно, являются обобщенными свойствами нескольких отдельных лиц, которые были собраны вокруг одного человека. Как бы то ни было — являются ли они историческими личностями (к этому я вернусь чуть позже) или это составной образ, для нас они реальны; и притом они принадлежали языческому миру, миру внезаветному.

И это заставляет нас задумываться о *границах* Церкви более серьезно, чем нам привычно. Когда мы говорим о Церкви как об уделе Божиим, есть ли в ней такой размах, широта и глубина, которые мы не всегда осознаем из-за того, что отождествляем видимое с невидимым?

Есть еще одно, что в данном контексте, может быть, нам важно осознать. Древняя Церковь, ранняя Церковь считала святыми или праведными людей, которые, несомненно, принадлежали языческому миру: Сивиллы, Эпиктет, Платон; Иустин Мученик упоминает Сократа. В некоторых древнегреческих храмах в задней части встречались фрески

Платона и Вергилия, что указывало: своим видением, своим прозрением, интуицией они были на грани: они уже знали нечто, что раскроется в ясном, богооткровенном знании Церкви, они не были совершенно чужды этому познанию. Можно сказать, что целый ряд мифологических рассказов древнего мира является предощущением и предвѣдением, облеченным в форму рассказов, того, что как бы нащупывалось, смутно виделось, что невозможно было выразить иначе как образно. Однако тем самым весь мир соучаствовал в том, что можно назвать постепенным, начальным этапом научения человечества от Бога, который подготовит, возделает почву. Благодаря этому Слово, когда Оно прозвучит, будет принято богатой почвой, которая принесет плод.

Да, спасение — Христос, Он — центр Истории, но Он же — точка, к которой История устремляется с первого дня Творения и от которой История разворачивается к последнему дню, когда все осуществится и достигнет своей полноты.

Сегодня существует причастность к святости еще неполная, без уверенности знания или относительной уверенности пророчеств и веры; однако уже есть знание и раскрытие, открытость Богу в искренней устремленности, желании, есть честная способность читать знаки от Бога, видеть печать Божию в собственной душе, в тайне исторического развития человечества и в безмерности космического откровения Небес, которые говорят о славе Божией.

В последующих беседах вот что я хотел бы сделать: обратиться к некоторым личностям Ветхого Завета, которые можно бы назвать «святыми язычникам», и постараться понять, до какой степени и каким образом изначального Адамова Завета было достаточно, чтобы они могли вырасти в полноту посвященности и познания Бога. И как благодаря этому в какой-то день Богу стало возможным явить Себя на новой ступени откровения Аврааму, и дальше, когда пришла полнота времени, в Лице, в учении, в откровении Бога во Христе.

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ 1 Кор 15: 28.

² Ис 41: 14; 43: 14 и др.

³ Ам 4: 2; 6 :8.

- ⁴ Ос 11: 9.
- ⁵ См. напр. Суд 13: 22; Исх 19: 21; Втор 5: 26 и др.
- ⁶ Евр 10: 31.
- ⁷ Исх 33: 19–20.
- ⁸ Евр. 12: 29.
- ⁹ Кол 2: 9; ср. Ин 1: 14.
- ¹⁰ Исх 3: 2.
- ¹¹ Напр., в книгах Еноха.
- ¹² *Ангелус Силезиус*. Херувимский странник. СПб: Наука, 1999. С. 57.
- ¹³ Деян 9: 3–9.
- ¹⁴ Ин 1: 9.
- ¹⁵ «Свете тихий Святыя Славы Бессмертного Отца...». Песнопение православной вечерни.
- ¹⁶ Исх 33: 18–23.
- ¹⁷ Ин 1: 29, 35–39.
- ¹⁸ См. напр. Ис 58; Иез 33 и др.
- ¹⁹ Ис 6: 8,5,8.
- ²⁰ 1 Кор 3: 9.
- ²¹ 2 Цар 6: 6.
- ²² Евр 10.
- ²³ Рим 8: 19–23.
- ²⁴ Лк 12: 49.
- ²⁵ Ин 12: 36.
- ²⁶ 27 ноября 1986.
- ²⁷ Ис 1: 4; гл. 6; 8: 12; и др.
- ²⁸ Кол 2: 9.
- ²⁹ Ис 7: 14; Мф 1: 23.
- ³⁰ Кол 2: 9; ср. Ин 1: 14.
- ³¹ См. Рим 11.
- ³² См. Гал 3: 27.
- ³³ См. 1 Пет 1: 4.
- ³⁴ Жан Даниелу (Jean Daniélou, 1905–1974) — французский католический богослов, специалист по истории раннего христианства; кардинал.
- ³⁵ Этерия (Эгерия) — паломница IV века. Оставила отчет о своем путешествии «*Itinerarium Egeriae*», который фрагментарно сохранился в составе позднего кодекса XI века.
- ³⁶ 3 Цар 10: 1; Мф 12: 42.
- ³⁷ Втор 23: 4.
- ³⁸ Пс 18: 2.
- ³⁹ Рим 2: 12 и сл.

Перевод с английского Елены Майданович

Русский религиозный национализм

Досрочно освобожденная в 1932 г. по заступничеству М. Горького и Е. Пешковой из ГУЛАГа, где она провела 8 лет по делу русских католиков 1923 года, выкупленная братом-эмигрантом, Юлия Николаевна Данзас (1879, Афины — 1942, Рим) приехала в Берлин в 1934 г. Она сразу пишет (по-французски) автобиографию, «Красную каторгу» — первое свидетельство женщины о ГУЛАГе — и после временного пребывания в доминиканском монастыре на юге Франции в качестве терцианки становится сотрудницей журнала доминиканского центра Истина в Лилле (в Париже с 1936 г.)¹. В 1934–1939 гг. она помещает в журнале Истины «Россия и христианский мир» двенадцать статей об истории христианства в России и русской религиозной мысли и многочисленные обзоры советской прессы, написанные по-французски. Статья «Русский религиозный национализм» — последняя статья, опубликованная в этом журнале (№ 2 за 1938–1939 гг.). В 1939 г. Юлия уедет в Рим, где по поручению кардинала Тиссерана напишет опровержение антирелигиозной советской пропаганды и где у нее выйдет (на итальянском языке, посмертно) биография «трагической императрицы» Александры Федоровны, при дворе которой она была когда-то фрейлиной.

Статья Ю. Данзас посвящена истории зарождения и развития русского религиозного национализма: ведь христианство, для которого «нет ни эллина, ни иудея» (Кол 3: 11), не может быть националистическим. Возникает вопрос, который Ю. Данзас ставит и в других своих работах: было ли русское православие изначально, по самой сути своей, религией, связанной с национальным чувством, или же это всего лишь проекция «современных теорий, ретроспективно приспособившихся к прошлому», то есть славянофильства XIX века, развивавшегося затем в сторону национализма?

После падения Рима именно в Византии, Втором Риме, устанавливается тесная связь между церковью и государством, так что «впервые в христианском мире понятие о принадлежности к Церкви слилось с понятием о принадлежности

к определенному государству и верность Церкви отождествилась с верностью земному отечеству. Так зародился религиозный национализм»². В Киевской же Руси, то есть до XIII века, церковь была церковью государственной, но не национальной. Лишь Московская Русь по примеру Византии «осуществила слияние государства, церкви и нации». Идея о византийском наследии, на которое Россия могла бы претендовать, складывается в XV веке. Церковь становится мерилom национальности. Идея Москвы как центра истинной веры окончательно утвердилась в конце XVI века, когда московский митрополит был возведен в сан патриарха (1589). И, как пишет Юлия Данзас в книге «Религиозный путь русского сознания», Россия «сохранила до наших дней эту неуничтожимую черту, сформированную сознанием эпохи татарского ига и столь же чуждую духу Византии, сколь и основам католической Церкви»³.

В XVII веке, после низложения патриарха Никона, государство взяло на вооружение «мечту о Третьем Риме, лишившуюся отныне своего религиозного содержания и превратившуюся в империалистическую идею»⁴. Как пишет Юлия Данзас в своей статье, предлагаемой теперь вашему вниманию, Петр Первый подчинил церковь господству государства, которое теперь уже было по сути своей светским. «Теперь в России бытовала своего рода религия государства, которую легко спутать с государственной религией. Официальное православие было лишь его внешним одеянием». И именно поэтому обращение в другую конфессию считалось «оскорблением русского патриотизма, тогда как религиозная теплохладность, и даже полное неверие, не вызывали осуждения...».

В XIX веке иностранные влияния (философия Шеллинга и Гегеля, европейское движение «пробуждения национальностей») привели к возникновению «движения религиозного национализма»: «Вклад гегельянства в формирование мировоззрения славянофилов заключался в том, что они верили, что Россия имеет собственную душу, отличающую ее от всего остального мира. Эта идея соединилась с мечтой о Третьем Риме, возродившейся во всей полноте и заново облеченной в одеяния православной веры. Русское мессианство обрело свою формулу. Неожиданно все прошлое России было

не только оправдано, но и превознесено. <...> Теперь речь шла уже не только о войне за византийское наследство — к новой империи следовало присоединить весь славянский мир, “братьев по крови и вере”. <...> Это была окончательная форма неприятия латинского мира, Рима — с точки зрения религиозной, всей Европы — с точки зрения политической и социальной» («Религиозный путь русского сознания»).

Предлагаемая статья Юлии Данзас помогает понять роль православия в постсоветской России — «феномен ревливой привязанности и нерушимой верности Русской Церкви, часто сопровождающийся почти полным равнодушием к ее богословскому вероучению и особенно к ее заповедям нравственной дисциплины»⁵. Деконструкция мифов при помощи истории идей была для Юлии Данзас путем к общему христианскому идеалу, тому же, к которому стремился прот. Сергей Булгаков, защищавший в эссе 1923 года («У стен Херсониса», опубликованном только в 1991 г.) «истину Вселенской Церкви против националистической ереси Третьего Рима», а до него Владимир Соловьев⁶:

Соловьев так описал пагубную эволюцию славянофильства (в статье 1889 г. «Славянофильство и его вырождение», вошедшей в сборник «Национальный вопрос в России»): «Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям [культ Ивана Грозного], которые отделяют наш народ от образованного человечества, т.е. поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды, — вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, Катковым и новейшими обскурантами. <...> [Для них] человечество есть пустое слово; поэтому никаких объективных, общеобязательных или всечеловеческих норм и идеалов нет и быть не может. <...> Общечеловеческих критериев истины и добра не существует, а мнения чужих, европейцев, для нас необязательны».

Точка зрения Юлии Данзас на историю русского православия может сегодня показаться слишком «унионистской» (т.е. ратующей за возвращение православия к католическому

единству), но в то время об экуменизме речь еще не шла, и именно она предприняла немало усилий для того, чтобы высвободить православие от множества католических предрассудков о нем. Критикуя Ю. Данзас в своей рецензии на книгу «Религиозный путь русского сознания» («Путь», 1936, № 51) за излишнюю самоуверенность и «католический рационализм», Николай Бердяев одобряет именно то, что составляет тему данной статьи: «Г-жа Данзас совершенно справедливо обличает рабью и постыдную зависимость православной церкви от государства и крайнюю национализацию церковного сознания, ослабление сознания вселенскости». Мысль Ю. Данзас поможет нам увидеть корни этого ослабления.

Мишель Нике

I

Изучая в наше время животрепещущую и болезненную проблему Единения [Церквей], мы упираемся, еще чаще, чем прежде, в независимые вроде бы от нее богословские вопросы, требующие обсуждения. В частности, в проблеме, которую ставит нам Русская Церковь, все время всплывает аргумент, который противники Единения считают неопровержимым. Им кажется, что в русском самосознании столь плотно спаяны национальное чувство и чувство религиозное, что просто невозможно одно отделить от другого, и что поэтому теряется всякая надежда на возможность открыть русскому уму смысл кафоличности, без которого какое бы то ни было соглашение догматического характера просто невозможно. Поскольку ревнивая привязанность к Восточной Церкви в ее русской форме считается одним из аспектов русского патриотизма, любое ослабление этого чувства будет казаться предательством родины. Именно в таком ключе рассматривает этот вопрос большинство русских, которые не могут отдать себе отчет, что речь при этом идет не об ослаблении их религиозного самосознания, а о его расширении.

Что же касается тех католических мыслителей, которые размышляют над этой проблемой, то и они, как мы видим, не испытывают тут оптимизма и считают проблему неразрешимой. Более того: порой начинает даже казаться, что русский

религиозный национализм укоренен в самом чувстве церковности, по сути своей отличающемся от того, что принято в латинском мире, и что поэтому сближение между двумя разошедшимися представлениями о Церкви сможет произойти лишь ценой огромных уступок со стороны Католической Церкви, уступок, которые подорвут ее экклезиологическую доктрину, а потому просто невозможны.

Прежде чем согласиться с такими пессимистическими выводами, нужно прояснить используемые нами термины. И в первую очередь, что из себя представляет религиозный менталитет, неотделимый от определенной национальной психологии? В каком смысле можем мы говорить о национальном духе, пронизывающем жизнь души до самых ее глубин? Чтобы мы могли понимать друг друга в этой области, стоит сначала дать определения понятиям «нации» и «национализма», которые сегодня склоняют налево и направо; нужно различать, что именно в понятии *нации* относится к идее сродности расы и наследственных инстинктов, а что соотносится с идеей общности, связанной с определенной территорией и ее историческими судьбами. Иначе говоря, нужно научиться различать между понятием нации и понятием государства. Различие, которого очень трудно в полной мере придерживаться в наши дни именно потому, что во всех областях царит как раз смешение этих двух понятий. Те, кто возмущается перегибами политического расизма — а это всего лишь *reduction ad absurdum*⁷ такого смешения — не грешат ли и сами хотя бы произвольным (и, возможно, неосознанным) «расизмом», когда говорят о психологических различиях, которые по сути своей связаны с определенным *национальным* менталитетом, даже если оставить в стороне все основы политики.

В наши дни можно говорить о национальном менталитете, основывающемся на расизме, формирующемся сейчас с разной степенью успешности во многих странах. Это новый факт, к которому не стоило бы прибегать для объяснения феноменов идеологического порядка из прошлого. Потому что религиозный вопрос напрямую связан с историческим прошлым, в котором «национального менталитета» еще просто не существовало в качестве проблемы. Все это отлично понимают, когда речь заходит о западных религиозных вопросах.

Но тут же начинают себе придумывать, что такие различия не могут быть приложимы к России и к ее национальной Церкви. Здесь имеет место ошибочная историческая теория, которую и нужно сперва прояснить.

Но — возразят мне — разве религиозный национализм не является характерной чертой всей восточной Церкви? Разве не он разбил ее единство и вызвал ее дробление, продолжающееся и по сей день?

Вот тут-то нам и стоит прийти к взаимопониманию. «Филетизм» Восточной Церкви стоит на политическом, а не на национальном основании. Принцип, на который он ссылается, это требование автокефальной Церкви для каждого независимого государства. Когда, в нашем современном мире, автокефальная Церковь Королевства Греции или острова Кипр отказывается подчиняться Константинопольскому патриарху, то тут налицо отказ от юрисдикции на основании определенных политических условий, никак не соотносимых с различиями с точки зрения расы или языка; и еще менее того можем мы говорить тут о психологических особенностях, присущих каждой из независимых греческих церквей. Итак, не нужно путать «филетизм» с национальными притязаниями, которые часто наслаиваются друг на друга. Какими бы близкими ни были порой отношения между этими двумя феноменами, это всего лишь отношения причины и следствия.

Восточная Церковь, действительно, знавала острые распри и расколы, в которых на первый план, похоже, выходят именно национальные притязания: это, например, в первые века Восточной империи борьба Константинопольского патриархата с сирийской, коптской, армянской церквями и т.д., старавшимися уклониться от его юрисдикции. Но и тут, помимо вопроса о богослужбном языке, помимо борьбы авторитетов, спровоцированной тем имперским тоном, с каким патриарший престол Константинополя, не так давно образовавшийся, начал обращаться к почтенными церквям, более древним и прославленным своим апостольским преемством, — помимо всего этого, заметьте, имела место еще и старая политическая злопамятность, восходящая еще ко временам римских завоеваний, имело место и неостановимое центробежное движение, потрясшее Римскую империю,

и на Востоке, как и на Западе. Вот только на Западе Церковь, не так тесно связанная с империей, сумела перенести свое наследие на другой план и попыталась заменить идеал Града земного идеалом Града небесного. На Востоке же слишком тесная связь Церкви с Константиновской империей вынудила первую разделить судьбу последней, и в религиозных вопросах раскол был чаще всего лишь разрывом с государством, отказом от политического подчинения, бунтом против цезарепапизма, потому что Церковь превращалась в инструмент объединения на благо государства. Именно в таком контексте и начинают проявляться националистические устремления — то есть умонастроения, отличающиеся ревностью к своим, идущим от предков традициям, в которые вливается новая жизнь, — так что религиозные конфликты, возникавшие чаще всего на почве простого вопроса о юрисдикции, разрастались впоследствии до движений религиозного сепаратизма, подготовивших почву для крупных восточных расколов — таких как несторианство и монофизитство.

Мы позволили себе это отступление лишь потому, что оно поможет нам проникнуть в самую сердцевину занимающего нас вопроса о религиозном патриотизме, который Россия унаследует от Византии. Да, именно патриотизм, а не национализм. Не нация — понятие, которое тогда еще не заключало в себе идею государства — а именно Римский град, принявший христианство, ставший земным обрамлением Царствия небесного, и был тем самым сакральным и ревностно охраняемым достоянием. Такое слияние Церкви с Римской империей (то есть с тем, что осталось от этой империи на Востоке) смогло претерпеть некоторые изменения лишь тогда, когда христианство распространилось за пределы бывшей «всемирной» империи. Это было уже чем-то новым, это было христианство славянских народов, над которыми никогда не реяли римские орлы.

Отметим еще, что апостольская миссия святых братьев Кирилла и Мефодия могла осуществиться лишь под эгидой Римского престола; помимо всех политических и даже географических причин, тут имелась и более глубокая причина: то, что политико-религиозная идеология Византии с самого начала с трудом могла найти модус церковной юрисдикции, распространяющейся на государства, не подчиняющиеся

императорской власти. Отсюда и сомнения, закравшиеся в религиозную политику Византии касательно ее отношения к моравскому христианству. Конечно, и до этого были, действительно, попытки апостольской миссии за пределами южных и восточных границ империи (в частности, при Юстиниане), но они носили характер союзов против общего врага, союзов политических и военных, в которых христианский прозелитизм был лишь внешней оболочкой. Кроме того, этот прозелитизм добирался лишь до тех краев, с которыми вечно соперничал или на которые зарился Рим. Для славян же вопрос ставился по-другому. Славянские племена (или славянизированные, как болгары), осевшие в провинциях Восточной империи, должны были естественным образом перенять религию государства, которое сделало их гражданами империи. Им попытались ее навязать. Но независимые славянские государства, установившиеся за пределами древних римских границ, для Византии представляли интерес лишь в том случае, если она могла планировать рано или поздно втянуть их в свою орбиту. Там же, где перспективы такого рода просто не могли возникнуть — в Моравии, Богемии, Польше — Византия оставляла такие независимые христианские общины без внимания и не очень оспаривала их у Западной Церкви — и это при том, что она ожесточенно боролась за то, чтобы вырвать из римской юрисдикции Иллирик, который считала частью Восточной империи.

Все это помогает нам понять особое положение России по отношению к Византии, когда христианство прочно установилось в Киеве в форме восточного обряда со славянским языком. Это событие, крайне важное для всей дальнейшей истории Восточной Церкви, произошло не как результат усилий апостольской миссии, исходящих от Византии: нет, инициатива шла от самой России и в условиях, которые отметили даже саму возможность того, что образовавшаяся духовная связь между Киевом и Византией сможет когда-то трансформироваться в политическое подчинение⁸. Эта духовная связь — даже когда она прочно установилась к середине XI века и невольно привела Россию к великому расколу с латинским Западом, — никогда не выходила за пределы церковной юрисдикции, сильно ослабленной дальностью расстояния и сложностями сообщения. Митрополичья кафедра

в Киеве становится лакомым доходным местом, пожалованным греческому прелату, но цезарепапизм в Киеве никогда не ощущался в его политическом аспекте, и это помешало русским понять его сущность и ощутить его последствия. Так родилось новое мировоззрение, не проистекающее из римской идеологии, но приспособившееся к той организации, которую оно же и породило. На таком непроясненном основании и предстояло в дальнейшем развиваться в русском самосознании и представлении об отношениях между Церковью и государством, и русскому религиозному патриотизму.

II

На протяжении всего так называемого киевского периода истории Росси, то есть до XIII века, Церковь была церковью государственной, но не национальной, в том смысле, в каком мы понимаем это сегодня. Когда мы пытаемся увидеть признаки национальных притязаний в том факте, что иногда предпринимались попытки обеспечить независимость киевской митрополичьей кафедры от Византии, мы впадаем ровно в ту самую ошибку, когда вопросом о национализме считают вопрос о государстве. Автокефалия, как мы уже говорили, была признаком суверенитета, и именно поэтому киевские князья охотно подталкивали к ней свое духовенство. Но попытки эти долгое время оставались спорадическими и недолговечными, потому что идея, их вдохновлявшая, не была укоренена в народном сознании. России не нужно было защищаться (как, например, Болгарии) от посягательств на ее религиозную автономию, богослужебный язык и т.д. Иерархическое подчинение Византии было, напротив, поводом для гордости, потому что вводило Россию, пусть и в качестве приемной дочери, в тот романский мир, блеск и всемирность которого в Киеве ощущали. Романизм, даже в его восточной форме, был самой сущностью христианства, как его в то время понимали, поэтому русский дух проникся им, сам того не осознавая.

Во всем этом проявился и своеобразный феномен переноса. В Византии понятие обожествленного Града — ставшего всемирным христианским государством — постепенно

сконцентрировалось в лице императора, живого символа священной идеи; отсюда и религиозный культ, окружавший эту символическую фигуру и все, что с ним связано: его дом, его комнату, его писания — все считалось «священным». Но так просто не могло быть в Киеве, где положение великого князя никогда не достигало высот, сопоставимых с восточным Цезарем, и несло в себе следы еще совсем недавнего прошлого — родового вождя. При таких условиях центром культа, одновременно религиозного и патриотического, становился не князь, но сама идея государства, а именно христианского государства. Именно это понятие направляло рост нового общественного организма, что привело к полному слиянию разных славянских племен, поглощенных этим государством, и к не менее полной ассимиляции разнородных элементов, которые слились в нем воедино.

На эту последнюю особенность стоит обратить особое внимание. С самого момента возникновения русского государства понятие расы не играло тут никакой роли. Было бы совершенно неправильно представлять себе Киевскую Русь как однородную нацию. Не говоря уже о вкладе скандинавов, вкладе соседних племен — финских и монгольских — постоянно имевшем место, пока это государство в своей неодолимой экспансии пыталось установить естественные для себя границы. И этот феномен смещения и слияния лишь усилился в период великого отступления к северо-востоку после распада Киевского государства и кристаллизации нового русского государства в верховьях Волги.

Из киевского прошлого строители Московского государства взяли с собой идеал христианского Града: представление об общественном строе, основанием которого будет идея христианства, неотделимая от идеи государства. И в этом тоже не было национализма в собственном смысле слова. Именно религия давала право на гражданство и стирала все следы иностранного происхождения. Можно провести аналогию — все пропорции сохранив — между тем положением, в котором оказалась Россия в XIII веке, покинувшая Киев и обживавшая новый мир, и римлянами IV века, оставившими Рим, чтобы обосноваться в Византии и принести туда римскую идею. Русские тоже оказались носителями (почти не осознавая того) идеи римского Града, понятой сквозь

византийскую призму. Но на этом аналогия и кончается. Поскольку, если римляне Нового Рима оказались погруженными в эллинистическую культурную среду, постепенно вобравшую их в себя, то русские обнаружили перед собой лишь мир примитивного варварства, в который они принесли, вместе со своим господством, единственный элемент общественного порядка. И таким элементом была Церковь, неотделимая для них от самого понятия государства. Ты русский, потому что ты христианин, став христианином, ты становишься русским. Этот огромный труд ассимиляции путем экспансии — хотя бы на внешнем уровне — христианства, в этом вся история России в течение примерно четырех веков⁹.

В результате возникло еще более полное слияние государства и Церкви, причем в пользу Церкви. Часто говорят, что русское христианство унаследовало византийский цезарепапизм. Это было не так для целой эпохи, продолжавшейся до конца XV века. Не светская власть, погрязшая в кровавых междоусобицах средневековой Руси, а именно Церковь сохранила идею государственного единства и в итоге насадила ее руками светской власти, укрепив своим авторитетом московских князей. Кроме того, в только что построенном Московском государстве именно Церковь продолжала оставаться краеугольным камнем и смыслом существования всего общественного здания; именно принадлежность к этой Церкви была по-прежнему единственным знаком гражданственности, и авторитет главы этой Церкви — митрополита Московского — значительно превышал авторитет правящего князя. Так было даже тогда, когда в России начала складываться идея о византийском наследии, на которое Россия могла бы претендовать не только на духовном уровне. Такая идея была совершенно чужда Киевской Руси, считавшей себя частью целого. В Москве же изолированность от остального, римского или византийско-римского мира, порождала ощущение сплоченности, накладывающееся на понятие христианского государства, которое, как считалось, здесь и создается. Отсюда идея, сначала весьма смутная, что мы, чтобы это реализовать, должны прийти на смену Византии, лишившейся своего величия (да еще и заподозренной в предательстве веры предков своими попытками единения с Западом). Идея оформилась лишь после окончательного падения Византии,

но тогда она приобрела империалистический характер, а это неизбежно влекло за собой изменение отношений Церкви и государства. Священный характер, приписываемый государству, тут приобрел новый блеск и повысил авторитет государя, который становится теперь символом почти таким же, каким были византийские *базилевсы*. Власть государя воспарила над церковью, потому что в ней отныне воплощалась уже новая идеология.

Мы, действительно, можем говорить о русском цезарепапизме на протяжении всего XVI века. Не будем останавливаться здесь на всем перечне доказательств. Достаточно сказать, что такой перенос священного авторитета на монарха имел глубокие последствия для патриотической идеологии, которая до сих пор была неотделима от христианского сознания. Эпоха цезарепапизма при Иване III или Иване IV [Грозном] совпадает с проникновением в страну иноземных элементов: либо через приезд западных художников и специалистов, нанятых Москвой или же, главным образом, через непрерывающиеся завоевания, инкорпорировавшие в новую империю иноверческие народы — в частности, мусульман. У московского государя было теперь множество подданных, уже не восприимчивых к религиозным традициям страны, и принадлежность к государственной церкви перестала быть единственным признаком гражданственности. Можно было быть верным подданным царя, не будучи ни православным, ни даже христианином. Часто считают, что это новое обстоятельство возникло позже, в эпоху Петра Великого и массового привлечения в страну иноземных элементов. В действительности же все началось на столетие раньше, во время великой русской экспансии в Азию и завоевания обширных территорий, населенных мусульманами или язычниками. Это уже не было, как в прежние времена, ассимиляцией диких племен, быстро растворявшихся в русской стихии, — теперь это были целые народы, уже прочно сформировавшиеся (как, например, волжские татары), образующие этнические группы с собственными священными традициями, которые Церковь уже не могла поколебать. И теперь уже не ей, не Церкви, принадлежала решающая роль в работе по ассимиляции, а государству, и главными инструментами такой работы были русский язык, уже

образовавшийся из церковнославянского, — и гражданское управление. Именно в этот момент можно зафиксировать появление национального чувства, основанного на понятии империалистического государства, а не христианской общины. Как и прежде, понятие расы и кровного родства не играло здесь никакой роли: в этом царская империя действительно была наследницей Византии и ее римских традиций, инстинктивно сохраняемых. Но теперь это уже был огромный общественный организм, объединивший разрозненные элементы в общности интересов; территориальные завоевания были уже достаточно прочными, чтобы создать единство даже такой протяженной территории; русская культура была еще в зачаточном состоянии, и потому легко усваивалась народами примитивной культуры, внедряясь в них своим относительным превосходством. И империалистическая идеология, вдохновлявшаяся воспоминаниями о Византии, была достаточно сильна, чтобы скрепить различные части этого огромного здания и придать ему смысл существования. Мы говорили, что, уже некоторое время, это был примат государства над Церковью. Но само государство еще не успело создать собственные, внецерковные традиции, так что новое положение не вылилось в новые формулы. Абсолютный государь, в сущности, господин церкви, продолжал говорить о ней, как если бы он был ее послушным сыном. Империалистическая идеология переняла язык прежней, теократической идеологии. На словах государство было всегда и прежде всего земной оболочкой христианской общины, хотя реальность была уже совсем другой. Эта реальность, столь плохо совместимая с официальными формулами, не очень бросалась в глаза современникам, и они продолжали отождествлять государство и Церковь, и считать себя русскими, *потому что* они христиане, или христианами, потому что они русские. Прозелитизм среди иноверных элементов чаще всего проходил в форме крещения, которое становилось чем-то вроде официальной гербовой печати, подтверждающей полноту гражданских прав, уже приобретенных через принадлежность к государству, которое официально было христианским. Новый патриотизм, объединивший огромное скопление людей в протяженную и могущественную империю, сохранял внешний религиозный вид, как в те времена, когда идея родины

была еще неотделима от понятия государства как христианского Града. Религиозные умы легко обнаруживали, что христианство, которое государство сделало своей официальной формулой, было нередко всего лишь видимостью. Помимо большого числа иноверцев, не имевших даже свидетельства о крещении, постоянно можно было наблюдать еще и факт «двоеверия», когда языческие верования сохранялись под внешней оболочкой христианства. Тревожило и состояние самой Церкви, которое современные документы рисуют в довольно мрачных тонах, единодушно сетуя на некомпетентность и невежество духовенства, жестокость нравов и т.д. Но, как бы ни было все это далеко от идеала христианской общины, все же верили в определенное осуществление этого идеала, в форме государства, которое провозглашало себя его хранителем. Этого было достаточно для того, чтобы русский национализм в процессе формирования приобрел религиозный аспект и вдохновлялся признаками священного, до сих пор принадлежавшими государству, а не нации. Этот национализм был по существу своему религиозным именно потому, что основывался не на понятии расы, а на понятии священного государства, идеал которого принимался просто по факту принадлежности к нему в качестве подданных, без оглядки на расовое происхождение и не углубляясь в те религиозные доктрины, которые государство исповедует. Подлинным основанием такого национализма стала мессианская идея Третьего Рима, идея империалистическая, лишь подкрашенная в христианские цвета. И именно потому, что она представляла собой общественный идеал, а не корпус вероучений, она и была так легко воспринята иноверными элементами, ассимилировавшимися фактом своего крещения или даже и без такой формальности. Достаточно вспомнить, сколько верных служителей этого идеала вышло из рядов татарской аристократии, быстро смешавшейся с русской аристократией после завоевания татарских Казанского и Астраханского ханств в XVI веке. То же самое явление должно было произойти и в XVIII веке для немецкой аристократии, выходцев из древних тевтонских рыцарей, которая, после вхождения в империю, дала так много преданных служителей имперской идее. Но если понятие государства с XVI века начало поглощать примитивное понятие

священного наследия, то отношения светской и духовной власти так и не смогли никогда окончательно слиться в синтез, символизируемый фигурой монарха, облаченного признаками священного, как это было в Византии. Мы видели, что русский XVI век можно считать периодом осуществления цезарепапизма; однако даже в это время *de jure* царь не провозглашался главой Церкви: он был им лишь фактически. Также, когда императорская власть захотела и добилась воздвижения в Москве патриаршего престола — чтобы озаглавить важность новой империи, поместив ее церковь в ряд древнейших восточных церквей — то такое учреждение реального главы Церкви немедленно создало затруднения для светской власти и привело к обратному эффекту: в XVII веке установился примат духовного, и авторитет монарха оказался в тени авторитета патриарха. Национальному чувству придется выбирать между двумя решениями проблемы священного государства.

III

Тот большой авторитет, каким обладала в России XVII века личность патриарха отчасти, объясняется тем, какую выдающуюся роль в исторических событиях сыграл лично патриарх Филарет вместе со своим сыном царем Михаилом, а также выдающимися личными способностями патриарха Никона. Но, наряду с этими очень точными фактами, стоит отметить и то особое умонастроение, которое было в то время присуще русской жизни. Поскольку официальной формулой (вопреки очевидности) по-прежнему было утверждение государства, христианского по самой своей сути, предпринимались усилия, порой очень искренние, чтобы попытаться к этому приспособиться. И поскольку царь был прежде всего преданным сыном Церкви, то его отношения с главой этой Церкви приобретали вид сыновнего уважения независимо от личности патриарха. Это было своего рода возрождение теократического идеала, преобладавшего над цезарепапизмом. В качестве примера можно привести весьма характерный документ: письмо царя Алексея (1645–1676), повествующее о болезни и смерти патриарха Иосифа (письмо адресовано митрополиту Новгородскому Никону, будущему патриарху).

Весь текст этого письма показывает столь глубокое благоговение царя по отношению к патриарху, какое могло бы быть у самого последнего из его подданных¹⁰. <...> Это была всего лишь позиция, подразумевавшаяся общепринятым представлением о роли главы Церкви. То есть идея примата духовной сферы. Но был и один нюанс, один подтекст, совершенно отличающийся от того, что понимали под этой идеей на Западе: духовная власть проистекала не от земной родины, наоборот, именно она, эта родина, обладала священным характером, и глава Церкви был ее символом в большей мере, чем монарх, представавший лишь его отражением с религиозной точки зрения, несмотря на всю полноту своей власти.

Историческое отступление поможет нам теперь проанализировать эту идеологию, какой бы размытой она ни была. Мы сможем также лучше понять и смысл того крупнейшего кризиса, который называют расколом, то есть раскола внутри русской Церкви, разразившегося к концу правления царя Алексея. Итогом его стало то, что раскольники отрицали государство за то, что оно узурпировало права на Церковь, а официальную Церковь за то, что она согласилась подчиниться государству. Но они сохранили идеал христианской общины, которая была бы одновременно земным Градом, и идею, что только Россия была его воплощением. Русский религиозный национализм в его чистом виде стоило бы искать именно у этих раскольников, идеологию которых так мало знают и так плохо понимают на Западе, и мы так никогда и не оценили в должной мере, какое значение она имела и имеет до сих пор в религиозной жизни русского народа. Старообрядцы — это не, как часто полагают, темные фанатики, упорствующие в сохранении незначительных деталей обряда. У них особенный менталитет, основывающийся на представлении об отношениях Церкви и государства с приматом Церкви, причем не только в духовной сфере, но и в качестве основы общественного порядка, при условии не вводить в эту основу ничего нового и сохранять традиционный идеал во всей его целостности. Стоит отметить в этой связи, что при анализе идеал этот оказывается гораздо ближе к римской теократической идее, чем византийско-московские формы взаимоотношений государства и Церкви. Вот почему некоторые сегодняшние работники на ниве Единения

Церкви утверждают, что усилия по объединению церквей, предпринятые Римом, должны быть прежде всего направлены на этот мир «старообрядцев», который более открыт (пусть и бессознательно) в римском экклезиологическом смысле, чем официальная русская Церковь¹¹. Для официальной же Церкви после разрыва с раскольниками единственным представлявшимся ей приемлемым выходом был путь абсолютного цезарепапизма, полностью скопированного по византийскому образцу. Именно для сына и преемника царя Алексея — царя Федора — был впервые в России введен обновленный обряд венчания на царство, прямо подражавший византийскому: царь причащался в алтаре под двумя видами раздельно, как если бы он принимал священный сан. Этот символический жест указывает на то, что императорская власть отныне носит священный характер; именно личность царя становится теперь живым воплощением Града, одновременно небесного и земного. Но уже через несколько лет этот символ потеряет все свое значение с резкой секуляризацией государства под мощной дланью Петра Великого.

Ошибочно принято считать строй, введенный Петром Первым, системой интегрального цезарепапизма. В действительности, это был развод Церкви и государства с церковной точки зрения. Государство отказалось от своего священного характера; оно подчинило Церковь своему господству не во имя примата светского, которое ограничивало бы права духовного, оставляя ему при этом почетное место, и даже не во имя переноса духовного звания на самого монарха (что составляет саму суть цезарепапизма), — а просто во имя принципа секуляризма, который отныне должен был заменить христианские основания общественного строя. Государство теперь стало по существу своему светским; Церковь находит там свое место наряду с другими феноменами общественной жизни, но в строго ограниченных рамках и под жестким контролем государства. Синодальное управление ставит ее в один ряд с прочими винтиками административной машины.

Что может вызвать удивление, так это та легкость, с какой значительная часть населения — а именно ее интеллектуальная элита — приспособилась к этому строю, ударившему по самим жизненным силам Церкви. Для тех, кто преувеличивает религиозную сторону русского национализма — для

тех, кто хочет видеть в нем специфически религиозный менталитет, основывающийся на глубоко мистическом чувстве Церкви, — история русского христианства XVIII века всегда будет представлять затруднительную проблему. Решение, которое обычно для нее дается — что это был поток атеизма и религиозного безразличия, захлестнувший ненадолго русскую душу — не может быть применено ко всем аспектам этой проблемы. Это было, конечно, крушение вековых убеждений, подорвавшее авторитет Церкви. Но было бы неверно видеть здесь полную аналогию с тем движением свободомыслия, которое в то же самое время восставало против Церкви в Западной Европе. В России свободомыслие не позиционировало себя (за исключением некоторых эксцессов) врагом христианства и не разрывало полностью узы, связывающие русское общество с Церковью. На протяжении всего XVIII века — как и позднее в XIX веке — можно встретить людей, абсолютно безразличных к христианскому вероучению, которые при этом хранили вековые религиозные обычаи, заявляли о своей принадлежности к государственной церкви и с особым негодованием протестовали против подозрений в том, что они хотят перейти из нее в другую конфессию.

Если бы мы захотели объяснить этот менталитет лишь страхом репрессий со стороны правительства, мы бы сильно ошиблись; известно, что общественное мнение волновалось гораздо больше по поводу любого предательства официального (и поверхностного) православия, чем само правительство. И если правительство принимало жесткие меры против всякого отступничества, то это как раз потому, что само это официальное православие было, если можно так выразиться, фасадом великого общественного строя. Все, что могло его запятнать, приобретало криминальный характер, напоподобие оскорбления национального флага.

Поостережемся видеть в этом лишь лицемерие или конформизм, лишенный искренности. Что сохранялось в глубине души, так это понятие нерушимой связи между русским государством и русской Церковью. Только и здесь имел место феномен переноса. Государство уже не было священным, в том смысле, в каком оно когда-то считалось таковым: его секуляризация была принята как естественный факт, потому что оно переросло и сломало те старые рамки, в которых

когда-то оформилось. Но даже в этом, уже столь мало христианском виде, оно сохранило для приверженцев империи отблеск своего священного характера; теперь в России бытовала своего рода *религия государства*, которую легко спутать с *государственной религией*. Официальное православие было лишь его внешним одеянием, наподобие того, как пурпуровая мантия, наброшенная на плечи монарха, затянутого в современный военный мундир, указывала на то, что этот монарх наследник Юстиниана. И именно поэтому официальный отказ от православия — то есть обращение в другую конфессию — считалась оскорблением русского патриотизма, тогда как религиозная теплостыдность, и даже полное неверие, не вызывали осуждения, пока они не приводили к озвучиванию такого разрыва.

Конечно, не следует думать, что религиозное чувство у русских всегда было на поверхности. Мы далеки от того, чтобы недооценивать ту глубокую и искреннюю веру, которая осветила столько душ, и которая порой процветала примерами подлинной святости — и это и в XVIII, и в XIX веке! То, что хочется здесь подчеркнуть, это то, что даже в таких глубоко верующих, христианских душах, а уж тем более в тех, где веры было мало или не было совсем, само понятие православия было неотделимо от патриотической идеологии, перенесшей на государство то сугубое почитание, которое прежде относилось к христианскому Граду. Нас сейчас интересуют вовсе не состояния освящающей благодати, феномены которой понемногу встречаются везде и всюду в самых разных формах. Речь идет о том множестве верных прихожан Русской Церкви, для которых верность определенной церкви была лишь формой лояльности государству, этой церковью порожденному, — не являясь при этом ни реальной потребностью души, ни вниманием в корпус вероучения. Это очень специфический религиозный патриотизм, который невозможно понять, не увидев в нем результата долгой эволюции самого понятия родины, понятия, рожденного из локализации христианского Града и сохранившего кое-что от своего истока несмотря на то, что эта первоначальная идея давно ушла в прошлое.

Здесь еще раз стоит подчеркнуть, что этот религиозный патриотизм не стоит отождествлять с национальным религиозным чувством, основывающемся на расовых инстинктах.

Мы уже упоминали приток разнородных элементов, которые, начиная с XVI века проникали во все слои русского общества и особенно в его элиту. Именно из этой смешанной среды самого разного этнического происхождения вышли многие великие служители императорской России — и среди них самые величайшие; они перенимали русский религиозный патриотизм, даже если оставались совершенно равнодушны к церковному вероучению. Но даже более того: многие из этих иностранных элементов, приспособившись к официальной религии, воспылали к ней подлинным рвением и открыли в ней для себя мистические сокровища, ускользавшие от стольких чистокровных русских. Весьма распространенная в России шутка утверждала, что «немец, решившийся стать православным, будет более ревностным православным, чем настоящий русский». Возрождение мистицизма в начале XIX века в России проходило почти всегда под иностранным влиянием. Странным образом эти влияния (и, в частности, немецкая идеалистическая философия) привели в итоге к возникновению движения русской религиозной мысли, которое стремилось слиться с традиционным православием, чтобы найти в нем точку опоры. Именно из этой весьма неожиданной смеси и родилось в ходе XIX века новое религиозное мировоззрение, ставшее уже откровенно националистическим, которое считало, что оно возрождает старые национальные традиции, тогда как на самом деле речь шла о современных теориях, ретроспективно приспособившихся к прошлому. Потому что сама идея нации как некоей духовной сущности была навеяна движением, потрясшим всю Европу под именем «пробуждения национальностей». Для России эта идея, пришедшая из-за рубежа, имела лишь внешнее сходство со старым русским религиозным патриотизмом, основывавшемся, как мы видели, на понятии христианского государства, а не на понятии нации. Но такого внешнего сходства было достаточно, чтобы ввести в заблуждение многие искренние умы. Так возникло движение религиозного национализма, пытавшееся отождествить русское национальное сознание с определенной формой христианского идеализма, и рассуждающее о религиозной психологии, специфически присущей русскому уму¹². Если проанализировать эту идеологию, то сразу бросается в глаза, что для

нее приоритет лежит в идеализированном понятии нации, включающем в себя христианскую идею в том смысле, в каком Древняя Русь ее никогда не знала; идея христианского государства добавляется сюда как надстройка.

Это полная противоположность реальному историческому развитию. В России, как и везде — и даже более, чем везде — не нация создала государство, а государство породило национальное сознание. И поскольку государство строилось на религиозном основании, то религиозная идея была, сквозь все множество переносов ее с одного на другое, одним из составных элементов как формирования этого сознания, так и его последующей эволюции. Но мы закроем глаза на очевидность, если увидим в этой религиозности, тесно связанной с патриотическим чувством, специальную форму религиозной ортодоксии, эволюцию понятия Церкви и ее отношений с человеческим обществом. Совсем наоборот, можно утверждать, что чувство церковности вместо того, чтобы развиваться и утверждаться на независимых от государства путях, постепенно ослабевало по мере того, как само государство все дальше отдалялось от своих религиозных истоков. Именно в этом нужно искать причину того феномена, который можно сегодня ежедневно наблюдать в кругах русского общества — причем во всех его социальных слоях — феномена ревливой привязанности и нерушимой верности Русской Церкви, часто сопровождающегося почти полным равнодушием к ее богословскому вероучению и особенно к ее заповедям нравственной дисциплины. Потому что такая верность Церкви оказывается всего лишь одной из форм любви к родине даже тогда, когда стерлась память о том священном характере, которым эта родина была когда-то наделена.

IV

Именно это течение религиозной и национальной философии, о котором мы только что говорили, и зародило в сознании постороннего иностранного наблюдателя представление о существенном отличии русского религиозного мировоззрения от мировоззрения латинского мира — особенно в области экклезиологии. На это легко возразить, что такое течение мысли, хотя его и представляют специфически

русским, на самом деле — всего лишь мелкая рябь на поверхности огромного океана, глубин которого оно никогда и не касалось. Это не мировоззрение русского народа, а лишь идеология определенной интеллектуальной среды, которая и сама подразделяется на круги самых разных направлений — как с политической, так и с религиозной точки зрения. Легко можно было бы тщательно проанализировать и показать те иностранные и относительно новые влияния — ни в коей мере не национальные и даже не религиозные — на пересечении которых и сформировалось это идеологическое течение. Но нам хотелось бы сейчас поговорить не о том, что отделяет это течение от духовной жизни русского народа, а, наоборот, о том, что роднит ее с некоторыми чертами национальной психологии настолько, что даже приводит к заблуждению, будто оно-то и будет выражением самой этой психологии.

Не вызывает сомнений, что в процессе своего становления течение это впитало в себя остатки прежней идеологии, той, которой жила русская нация до того, как осознала саму себя. Налицо развалившиеся остатки старой постройки, которую теперь хотели бы перестроить на ином, чем прежде, основании. Прежним основанием был христианский Град. Новое основание, которым его хотят заменить — это национализм, освободившийся от той формы, в которой он был сформирован.

Среди осколков прошлого, уцелевших при новой сборке, прежде всего стоит отметить русский мессианизм — представление о высоком историческом предназначении, уготованном русской нации на религиозном поприще. Но по происхождению своему мессианизм этот не очень-то и национален: он возник когда-то из теории Третьего Рима, то есть как раз из общественного и в религиозном отношении наднационального идеала. Из того же источника происходит и религиозный традиционализм, порожденный когда-то привязанностью к государственной Церкви, которая была в то время смыслом существования самого государства, — тогда как теперь в нем хотят видеть осознанную верность богословским доктринам Церкви. И самое любопытное — отметить, насколько сами эти доктрины забываются теми, кто рассуждает о них как о ревностно хранимом наследии: Восточной

Церкви принято приписывать адогматический либерализм, который, конечно, противоположен ее подлинному учению и напрямую проистекает из протестантских влияний...

Нельзя не отметить тут и национальную гордость, столь заметную сейчас у русских. Она возникла когда-то естественным образом из ощущения могущества прославленной империи, гражданами которой они были. Сегодня же эта гордость, столь законная в своих исторических рамках, похоже, хочет выйти за эти рамки и начать вдохновляться чувством духовного превосходства, а в этом уже можно обнаружить зачатки расистского менталитета. Здесь можно проследить любопытную эволюцию мысли. Первоначально, при зарождении славянофильства (на котором отчасти лежит ответственность за смешение в русском самосознании идеи нации и идеи государства), подчеркивалось, наоборот, что отличительной чертой русского менталитета является смирение, и это христианское смирение противопоставлялось гордыне Запада. Теперь же в ходу чаще всего совсем другой язык, вплоть до разговоров о духовной гегемонии над латинским Западом, которой в ближайшем будущем удостоится русский дух. Достаточно просмотреть многочисленные статьи, выходившие в эмигрантской периодике в 1938 году, к юбилею святого Владимира (к 950-летию обращения России в христианство)... И это тоже будет переносом на уровень национального (в расовом смысле) того чувства, которое в прежние времена русский испытывал лишь в качестве гражданина христианского Града. А ведь именно отсутствие убежденности в расовом превосходстве и сделало некогда русских столь прекрасными колонизаторами и позволило им полностью ассимилировать самые разные народности.

И, наконец, стоит упомянуть тот созерцательный мистицизм, который также принято считать неотъемлемым признаком русской национальной души. Здесь речь идет уже не о переносе пережитков прошлого, а о необоснованном смешении двух религиозных течений, которые прежде четко отличались друг от друга. Мы видели, что в прошлом существовала мистика религиозного государства, идеологическое наследие византийско-римского мира. Именно из этой мистики, пронизывающей все отношения между человеком и обществом, и развилось постепенно национальное самосознание,

в дальнейшем секуляризовавшееся вместе с государством. Но наряду с этим идеологическим течением, одновременно и религиозным, и общественным, существовало и другое, тоже унаследованное от Византии и представленное восточным монашеством. Нам не нужно напоминать здесь, что монашество на Востоке развивалось именно как отрицание идеала древнего Града, ставшего земной оболочкой небесного Царства. Созерцательный и суровый мистицизм, которым питалась монашеская жизнь, был противоположен такому идеалу и не признавал никакой земной связи, никакого приспособленчества к падшему миру, никакого иного представления о человеке кроме как о паломнике мира иного. То, что такая мистика, столь враждебная к миру, не помешала монастырям играть первостепенную роль — роль в культурной, а часто и в политической деятельности — как в византийском мире, так и в России, это неоспоримый исторический факт, но объясняется он внешними обстоятельствами, обусловившими ход истории. По сути, противопоставление между понятиями христианского Града и Царства «не от мира сего» всегда оставалось неким неустранимым ядром, хотя и оказывалось часто размытым и вытесненным в область бессознательного. Потому что именно понятие Града привело к зарождению русского национального самосознания. Другое же религиозное течение если и могло на него хоть как-то повлиять, то лишь моментами. Этим объясняется тот, тоже неоспоримый, факт, что русский удалялся в монастырь, чтобы вдохнуть веяние из мира иного, что он принуждал себя к частым паломничествам, чтобы прикоснуться к идеалу святости, оторванной от мира сего, но что он при этом не вдохновлялся таким идеалом в повседневной жизни. Для тех, кто знает историю России и хочет изучать ее совершенно беспристрастно, абсолютно очевидно, что созерцательный мистицизм не был доминирующей чертой духа у этих грубых строителей государства, у этих дерзких первооткрывателей, охотников, авантюристов, которые бросались на завоевание новых территорий, у этих воинственных людей, которые затем будут формировать казачьи отряды или направлять свои лодки по великим сибирским рекам в поисках мест для успешной вылазки, этих сметливых торговцев, полных инициативы и энергии, создавших оживленную торговлю с Азией, этих

крестьян, полных часто столь насмешливого добродушия. Представлять себе этот народ в виде мистических мечтателей значило бы исказить историческую действительность. Русская нация формировалась не в плоскости мистического аскетизма, проповедуемого монастырями; это учение накладывалось на другой идеал, гораздо более живучий в русском сознании — на идеал Града, освященного им самим, своими священными корнями.

Такой ответ можно дать тем, кто говорит о смысле церковности, якобы изначально присущем русской религиозности. Идея Церкви и ее роли в мире была достаточно хорошо усвоена, пока она была связана с теократической идеологией (которая и была, как мы знаем, истоком и колыбелью любого христианского общества). Но по мере того, как это идейное основание отдалялось и искривлялось в русском сознании, то и представление о Церкви становилось расплывчатым и подверженным колебаниям. Сохранилось же из всего этого в веках, хотя часто и в подсознательном виде, — именно представление о сущностной связи между Россией и ее Церковью. Отсюда и такой религиозный патриотизм, который так сильно привязан к внешним формам религиозного культа. Что же касается вероучительного содержания этих форм, то оно не было достаточно уточнено, что и допускало возникновение самых серьезных отклонений (о чем свидетельствует многочисленность русских сект). Не стоит видеть в этой неточности следствие мистических состояний, безразличных или даже враждебных к точным формулировкам: это, повторим, современная точка зрения. Еще менее того можно допустить, что такой неопределенный мистицизм будет отличительной чертой национального характера. Там, где учение Церкви было ясно понято и принято вместе с желанием к нему приспособиться, там такое приспособление совершалось в самых четких формах, что доказывает пример раскольников (не стоит забывать, говоря о них, что речь здесь идет о значительной части русского народа, самых чистокровных русских *с расовой точки зрения*). Их противники обвиняли их в том, что они впадают в казуистику из-за упрямой привязанности к точным дефинициям. Для остальной части народа безразличие к церковному вероучению проистекало не из инстинктивного отвращения к догматике, а просто из

интуитивного понимания Церкви всего лишь как основы общественного строя, как данности, которую национальный разум принимал, не пытаясь в нее углубляться. Мистическая жизнь, даже в монастырях, всегда была участью лишь некоторых избранных душ, — она никогда не была уделом толпы, и это не только в России. Поэтому не нужно путать религиозный патриотизм, прочно укоренившийся в русской почве, с мистическим порывом к надземному Граду. Такой порыв составляет самую сущность христианского мистицизма на всех широтах; в нем нет ничего специфически национального, он будет, наоборот, отрицанием национализма, в котором центральное место занимает биологический фактор.

Если русский современный национализм порой выражается формулами мистического языка, то это всего лишь литературные заимствования, прикрывающие мировоззрение, глубоко отличающееся от того, каким оно было в прошлом. Это можно утверждать, никоим образом не стараясь тем самым очернить серьезное усилие мысли в ее стремлении к синтезу прошлого и настоящего. Но мы полагаем, что такой синтез невозможен, пока остается смешение фундаментальных понятий государства и нации. Лишь поняв, чем первое из этих двух различных понятий было для русской души в самом начале ее развития, и можно проследить нить ее эволюции, приведшей к современному национализму. И лишь встав на такую точку зрения, мы сможем смело говорить о смысле церковности, в которой, по сути, нет ничего партикуляристского, но которая наоборот всеми своими корнями окунается в прошлое, общее для всего христианского мира! Именно в этом смысл кафоличности, который был искажен в России, как и везде, поскольку распад всемирной империи, с которой церковь соединила свою судьбу, неизбежно привел и к расколу идеала христианского Града, и клочки его каждая страна приспособлявала к своей собственной исторической судьбе. Но вместо того, чтобы заниматься пессимистической констатацией противоположного тому, что отрицается таким расколом, нужно взглянуть в соскальзывание современного национализма к бездуховному расизму как к пределу его эволюции, что показывает, к чему приводит ложная и оторвавшаяся от своих корней идеология. Возврат к корням станет переносом на уровень выше, на тот уровень, который

предначертан христианским идеалом, единственным подлинным синтезом всех духовных сущностей, как индивидуальных, так и коллективных.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробнее о Ю. Данзас см.: *Niquieux M. Julia Danzas (1879–1942). De la cour impériale au baigne rouge.* Paris: Éditions des Syrtes, 2020 (перевод этой книги на русский язык выйдет в 2024 году в издательстве НЛО). См. также публикацию ее текста с описанием собственного мистического опыта «Неизреченное» и предваряющую его вступительную статью Мишеля Нике с кратким изложением биографии Юлии Данзас в № 212 и 213 «Вестника РХД».

² *Данзас Ю. (Юрий Николаев).* Католическое богопознание и марксистское безбожие. Рим, 1941. С. 220.

³ *Данзас Ю.* Религиозный путь русского сознания / Пер. Д. Власова и А. Мосина, http://krotov.info/libr_min/05_d/an/zas1.html.

⁴ Там же.

⁵ См. также статью Вл. Соловьева «Идолы и идеалы» (1891): «Из утверждения, что наш народ есть истинно христианский, не выводят того необходимого, казалось бы, следствия, что он во всех делах и отношениях своих, внешних и внутренних, должен действовать по-христиански и никого не обижать, а выводят наоборот, что ему все позволено для поддержания и защиты своих собственных интересов».

⁶ «Признавая себя единственным христианским народом и государством, а всех прочих считая “погаными нехристями”, наши предки, сами не подозревая того, отрекались от самой сущности христианства. <...> Как в понятии русских людей, начиная с московской эпохи, само христианство утратило присущее ему универсальное значение и превратилось в религиозный атрибут русской народности, так, естественно, и церковь перестала быть самостоятельной социальной группой, слилась в одно нераздельное целое с национальным государством, усвоила себе вполне его политическую задачу и историческое назначение» (*Соловьев Вл.* Несколько слов в защиту Петра Великого (1888)).

⁷ Доведение до абсурда (лат.).

⁸ По вопросу об организации древнерусской церкви см.: *Danzas J. Saint Vladinir et les origines du christianisme en Russie // Russie et Chrétienté, 1938, № 1 (Данзас Ю. Святой Владимир и истоки христианства в России // Россия и христианский мир, 1938, № 1).*

⁹ См.: *Danzas J. La Russie et l'expansion du christianisme // Russie et Chrétienté, 1937, № 1 (Данзас Ю. Россия и распространение христианства // Россия и христианский мир, 1938, № 1).*

¹⁰ Мы опускаем здесь длинную цитату, которая приводится по следующему изданию: *Писарев Н.* Домашний быт русский патриархов. Казань: Тип. Имп. Университета, 1904.

¹¹ Среди сторонников этой идеи достаточно упомянуть одного из самых авторитетных в этом вопросе — протопресвитера Леонида Федорова, экзарха русских католиков восточного обряда, скончавшегося в 1936 в СССР, в заключении [на самом деле, его смерть датируется 7 марта 1935]. — Прим. Ю. Данзас.

¹² Речь идет о движении славянофильства. См. тексты в нашей «Антологии»: гл. 2, «Славянофилы и “болезнь” Запада»; гл. 4, «Великая полемика: православие и “латинизм”».

Перевод с французского Натальи Ликвинцевой

ДАНИИЛ СТРУВЕ

Экклезиология
отца Александра Шмемана¹

1. Отец Александр Шмеман
и отец Сергей Булгаков

В 2021 году исполнилось сто лет со дня рождения отца Александра Шмемана (13 сентября 1921 – 13 декабря 1983) и одновременно сто лет со дня основания Архиепископии Русских Православных Церквей в Западной Европе. Отец Александр часто ассоциируется с Православной Церковью в Америке или США, одним из основателей и ведущих деятелей которой он был, но нельзя забывать, что до отъезда в Нью-Йорк в 1951 году в возрасте 30 лет отец Александр Шмеман был также активным членом Архиепископии (тогда Экзархата Константинопольского патриархата), студентом и преподавателем Богословского института преподобного Сергия Радонежского в Париже, священником, а также редактором и автором журнала «Вестник Экзархата», где в 1948–1952 гг. он публикует замечательный цикл статей об устройстве Церкви, актуальных и по сей день. Как богослов и церковный деятель отец Александр сформировался в Архиепископии, в соборе св. Александра Невского на улице Дарю, а затем в Богословском институте преподобного Сергия в общении с замечательными преподавателями. Отдавая дань экклезиологии отца Александра Шмемана, мы не можем не вспомнить в первую очередь основателя и выдающегося деятеля Института, отца Сергия Булгакова, родившегося в 1871 г. в Ливнах и скончавшегося в 1944 г. в Париже, 150-летие со дня рождения которого мы также отмечаем в этом году. Конечно, отец Александр Шмеман не может считаться учеником отца Сергия, хотя он и слушал последние его лекции в военные годы. Как богослов, отец Александр Шмеман держался в стороне от чуждого ему духа системы, столь характерного для богословия о. Сергия. В очерке под названием «Три образа», написанном пятьдесят лет назад для «Вестника РСХД» (см. «Вестник РСХД», 1971, № 101–102) к столетию со дня рождения отца Сергия

Булгакова, отец Александр Шмеман, подчеркивая эту дистанцию, тем не менее, отдает дань личности отца Сергия, в котором видит «одного из самых замечательных людей последнего трагического полувека русской истории», и признает свою духовную преемственность от него: «Что дал мне тогда о. Сергий? Дал тот огонь, от которого только и может возгореться другой огонь. Дал почувствовать, что только тут, в этом прикосновении к Божественному свету, к его исканию и созерцанию — единственное подлинное назначение человека, та «почесть горного звания», к которой он призван и предназначен. Окрылил своим горением и полетом, своей верой и радостью». Несомненно, что понимание Церкви отца Александра Шмемана, его постоянное подчеркивание центрального значения евхаристической жертвы, его видение соотносительности мира с горным Царством, предображением которого он считал присутствие Церкви здесь, на земле, — во многом навеяны основными прозрениями отца Сергия Булгакова и духовно близки ему. Достаточно вспомнить начальные строки книги отца Сергия Булгакова «Православие»: «Православие — это Церковь Христова на земле. Церковь Христова — это не учреждение, а новая жизнь со Христом и во Христе, движимая Святым Духом»², в которых мы видим истоки того самого христоцентричного видения Церкви, о котором не переставал проповедовать отец Александр Шмеман.

Цель настоящего доклада — кратко изложить это видение Церкви, как оно формировалось, начиная с первых статей в «Вестнике Экзархата», написанных отцом Александром около 1950 г., а затем через пастырский и преподавательский опыт в условиях местной православной церкви Северной Америки в 1950–1960-е годы, и увенчалось созданием Автокефальной Православной Церкви в Америке (ПЦА) в апреле 1970 года.

2. Местная Церковь в видении отца Александра Шмемана

Перед отъездом в Америку отец Александр написал и опубликовал на русском языке в «Вестнике Экзархата» цикл статей, посвященных устройству Церкви: «Церковь, эмиграция, национальность» (1948), «Церковь и церковное устройство»

(1949), «Спор о Церкви» и «О неопапизме» (1950), «Вселенский патриарх и Православная Церковь» (1951). Все эти статьи вошли в «Собрание статей» отца Александра Шмемана, вышедшее в 2009 в издательстве «Русский путь». В этих экклесиологических исследованиях, в которых Шмеман polemизирует с утверждениями Русской Православной Церкви Заграницей и ее представителя протоиерея Михаила Польского (1891–1960), уже отчетливо слышен голос того выдающегося проповедника, каким станет впоследствии отец Александр, и в то же время прослеживаются самые характерные черты его видения Церкви, уже вполне сформировавшиеся к тому времени. Опираясь на своих учителей, отцов Георгия Флоровского и Николая Афанасьева, отец Александр Шмеман напоминает о том, что церковные правила, или «каноны», не являются чисто юридическими нормами, а свидетельствуют о церковном Предании. «Верность канонам, — пишет он, ссылаясь на Флоровского — это верность Преданию Церкви»³. Каноны, — поясняет он вслед за Афанасьевым, — создавались для решения конкретных задач того или иного исторического времени, но при этом они отражают неизменную реальность Церкви, и мы должны уметь видеть в канонических правилах прошлого свидетельство церковного Предания о самой природе Церкви. Пусть церковные каноны и не дают нам готового ответа на вопрос, как конкретно обустроить Церковь в беспрецедентных условиях русской эмиграции, они тем не менее содержат однозначные указания на то, что может или что не может являться принципом церковной организации. «В канонах выражено вечное самосвидетельство Церкви, самоотжество церковного сознания в преходящих и изменяющихся обстоятельствах земной истории Церкви»⁴.

Иными словами, хотя организация Церкви может принимать различные формы, она может принимать только те формы, которые свидетельствуют о том, что является ее природой, то есть, прежде всего, о ее единстве, поскольку единство является содержанием самой жизни Церкви, которая сама есть ничто иное как «единство людей во Христе с Богом и единство людей во Христе между собой»⁵. Поэтому созидание Церкви — это созидание Тела Христова, о чем свидетельствует святой Павел в Послании к Ефессянам (4: 12–13). Отец

Александр неоднократно цитирует это место Священного Писания, которое стоит в центре его экклезиологического видения: «на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».

Исходя из этого принципа, Шмеманн, хоть и не дает готовой формулы, как лучше организовать Церковь эмиграции — для него этот вопрос остается открытым — неустанно осуждает юрисдикционную раздробленность в Западной Европе, в которой видит негативное свидетельство о Церкви. Потребность в наличии экклезиологического института, свидетельствующего о единстве Церкви, о той «новой жизни», залогом которой Церковь является, требует от каждого из нас отказа от организационных принципов, основанных на чисто земных реалиях, таких как национальность или идеология, которые лишь отдаляют Церковь от задачи созидания Тела Христова. «Основой православной экклезиологии, — напоминает отец Александр, — является прежде всего Таинство Боговоплощения, ибо Церковь есть Тело Христово и только в воплощении и прославлении Сына Божия “Троицы явление бысть”»⁶. И он предостерегает, что сейчас особенно актуально, от опрометчивого применения тринитарных формул к организации Церкви без необходимого прохождения через христологию⁷. Это важный момент и сердцевина экклезиологии отца Александра Шмемана.

Национальному или даже националистическому видению Церкви как конфедерации независимых национальных церквей, выстраивающих внешние отношения по образу современных национальных государств, а также римскому видению Церкви как вселенского института отец Александр противопоставляет православное видение Церкви как собрания всех верующих в каждом отдельном месте с целью конкретного осуществления единства и новой жизни во Христе. Потому Церковь не может принять другого организационного принципа, кроме принципа поместного и, следовательно, территориального, как основы ее кафоличности: каждая поместная Церковь включает в себя всю полноту церковных даров, является всей полнотой Церкви, если, конечно, она сохраняет единство со всеми другими поместными Церквами. Внутри каждой Церкви единство — это единство

епископа и народа, а вовне — единство епископов между собой. Епископат — един (*Episcopatus unus est*). Единство, вселенскость и поместность образуют одно целое.

3. Единство епископата как проявление единства Церкви

Это видение Церкви, сформировавшееся в Западной Европе в контексте Западноевропейской Архиепископии, остается принципиально неизменным и после переезда Шмемана в Америку, но переносится в новую церковную реальность, сильно отличающуюся от русского Парижа. В Америке отец Александр обнаруживает Православную церковь еще более разделенную и раздробленную на этнические юрисдикции, чем в Западной Европе, состоящую из приходов, замкнутых в себе и нацеленных в первую очередь на сохранение множества различных национальных культурных наследий. Он также знакомится с огромной многоконфессиональной территорией, открытой для миссии, где бесперспективность юрисдикционного разделения православия становится еще более очевидной, чем в Европе. Наконец, его подход изменяет и расстояние, отделяющее Новый Свет от Старого. В Америке ему становится очевидным сомнительный и даже порочный характер устойчивой институциональной связи между церковными общинами различных национальных диаспор с их национальными церковными центрами, находящимися в Старом Свете. Исторические связи с национальными центрами становятся источником разделения, а не единства. В новом исследовании «Каноническая проблема» (*The Canonical Problem // St. Vladimir's Seminary Quarterly*, 1964, Vol. 8, No. 2), написанном на английском языке для американской паствы, Шмеман полемизирует уже не с одной только Русской Православной Церковью Заграницей, а с юрисдикционной и этнической раздробленностью в самом широком смысле.

В этой статье отец Александр Шмеман осуждает узкое понимание каноничности, сводящееся к единственному критерию — необходимости признания патриаршим центром, находящимся за тысячи километров. Одно такое признание, предупреждает отец Александр, не способно оправдать

и сделать каноническим обустройство, которое таковым не является по своей природе. Шмеман приводит пример признания Константинопольским Патриархатом Живой Церкви в России, что, по его мнению, нелегитимно и недействительно, независимо от исторических полномочий Константинопольского престола. Каноническому «субординационизму», ставящему «каноничность» церковного института в зависимость от санкции, дарованной институтом высшего ранга, отец Александр противопоставляет внутреннюю преемственность реальной церковной жизни, реализуемой в каждом месте. Решением канонической проблемы, по его мнению, является объединение местных епископов, каждый из которых выступает как представитель своей церкви. Речь идет не об отказе от многообразия национальных идентичностей и тем более не о создании новой американской национальной идентичности (по мнению отца Александра, не может быть «американского» православия в том смысле, в каком существует православие «греческое» или «русское»). Задача американского православия состоит в том, чтобы объединить разрозненные юрисдикции и явить единство Церкви, собрав всех местных епископов в единый поместный синод, который будет не «высшей властью», стоящей над Церковью, а собранием, объединяющим местных епископов, каждый из которых представляет свою епархию, в соответствии с древними каноническими правилами.

4. Автокефальная Православная Церковь в Америке

Автокефальная Православная Церковь в Америке (ПЦА) является в значительной степени воплощением видения отца Александра Шмемана, которое он сумел разделить с большим числом людей, несмотря на все препятствия, стоявшие на этом пути. Является ли американская автокефалия успешной? Этот вопрос остается открытым, поскольку история ПЦА далека от завершения. Отметим лишь, что деятельность отца Александра нельзя оценивать по критериям, которые он сам отвергал. Как следует из названия «Православная Церковь в Америке» (ПЦА), сознательно избранного при получении автокефалии для обозначения

бывшей Американской митрополии в составе Православной Российской Церкви, Шмеман и его сподвижники не стремились к созданию еще одной национальной автокефалии, иначе говоря, «Американской Православной Церкви». В то же время нельзя не признать, что им не удалось собрать весь православный американский епископат в единый Синод: в то время, как и сегодня, эта задача была невыполнимой. В этом смысле американская автокефалия отличается по своей концепции от национальных автокефалий Восточной Европы, дарованных в XIX веке, как это ясно показал отец Кирилл Говорун в докладе на тему автокефалии, озаглавленном «Автокефалия: от канона к мифу» на конференции о «Будущем православия», организованной в 2009 году Свято-Владимирской Семинарией в Нью-Йорке. По мнению о. Кирилла, мифология американской автокефалии «связана со стремлением создать новую реальность во Вселенском православии, реальность самоуправляемой поместной Церкви в стране, где нет вековых православных традиций. <...> Это — эксперимент с основанием поместной Церкви, который можно рассматривать как воплощение православной экклезиологии в чистой форме». Отец Кирилл признает, что модель Православной Церкви в Америке не имела того успеха, на который рассчитывали некоторые. «Однако — заключает он, и можно только согласиться с его выводом, — миф американской автокефалии остается притягательным и заманчивым. Он ведет православную Церковь в Америке в сложных обстоятельствах и служит источником ее силы. Он обуславливает отличие этой Церкви от других поместных Церквей. Вселенское православие крайне нуждается в таком видении. Оно нуждается в том “мифе”, который воплощает Православная Церковь в Америке»⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Доклад на конференции, организованной Свято-Сергиевским православным богословским институтом в Париже «Сто лет присутствия православия во Франции: повторяющийся канонический хаос и зачатки церковного единства» (3–4 декабря 2021, Париж).

² *Булгаков С.Н.* Православие. Очерки учения православной церкви. Париж: YMCA-Press, 1962, С. 403.

³ *Шмеман А., прот.* Церковь и церковное устройство // *Шмеман А., прот.* Сборник статей. М.: Русский путь, 2009. С. 317.

⁴ Шмеман А., прот. Церковь, эмиграция, национальность // Там же. С. 310

⁵ Шмеман А., прот. Церковь и церковное устройство // Там же. С. 317.

⁶ Шмеман А., прот. Вселенский патриарх и Православная церковь // Там же. С. 366.

⁷ «Сторонники абсолютного автокефализма все время утверждают, что единственной основой православного учения о церковном устройстве является триадология, догмат о Святой Троице. Один из них требует даже от меня предварительного и безоговорочного исповедания этой истины, без которого спор бесполезен. Но к этому исповеданию я не могу не добавить, что основой православной экклезиологии является прежде всего Таинство Боговоплощения, ибо Церковь есть Тело Христово и только в воплощении и прославлении Сына Божия “Троицы явление бысть”. Церковь есть распространение и исполнение во времени и пространстве совершившегося Богочеловечества Христова, в котором Духом Святым совершается наше усыновление Отцу. *Non solum nos christianos factos esse, sed Christum* (“Мы стали не только христианами, но Христом”, блаж. Августин). И если триединое бытие есть содержание церковной жизни как вечного откровения о Троечном Единстве, то формой Церкви, онтологическим законом ее структуры является Богочеловечество Христово: *Christus totus in capite et in corpore* (“Христос всецел и в Главе, и в Теле”).» (Там же).

⁸ Кирилл (Говорун), архим. Автокефалия: от канона к мифу / доклад на конференции «Собор и Томос: ориентиры XX века на путях Церкви в XXI столетии» (Нью-Йорк, Свято-Владимирская семинария, 18–20 июня 2009 года): <http://churchby.info/rus/324/>.

Мишель Ельчанинов

Философия свободы

Сложно однозначно определить, что представляет собой свобода. Никогда нельзя быть до конца уверенными, что мы свободны в своих решениях и поступках. Хотим ли мы быть свободными, и может ли она вообще считаться желательной? Возможно, в этих противоречиях и заключается ценность свободы, когда мы претворяем ее в жизнь.

Свобода неуловима. Попытаться дать ей философское определение, доступное разуму — рискованная задача, как минимум, по трем причинам.

Свободу невозможно обрести

Во-первых, свобода сама себе противоречит. Стоит только придать понятию свободы приемлемый смысл, как последующая рефлексия углубит, усложнит или оспорит его. Быть свободным — не значит ли это идти, куда вздумается, делать все, что хочется? Античные философы ответили бы, что такая свобода — не что иное, как вседозволенность, то есть, по большому счету, рабство. Являемся ли мы хозяевами самим себе, полностью независимыми от обстоятельств и других людей, когда, не раздумывая, следуем за своими влечениями и страстями? Настоящая свобода, по мнению стоика Марка Аврелия, заключается скорее в контроле над своими желаниями, в умении выстроить «внутреннюю цитадель», защищающую от избытка желаний и от одержимости ими: она помогает сопротивляться зависимостям, избегать пустых надежд и разочарований. К тому же, как позже добавит Жан-Жак Руссо, «неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть», противопоставляет индивидуума другим и делает жизнь в обществе невозможной. Необходимо, как предлагает философ в трактате «Об общественном договоре», заменить эту естественную и первоначальную свободу свободой гражданской, которая заключается в разработке общих правил, того, что дозволено и что запрещено.

Как это ни парадоксально, быть свободным в данном случае означало бы подчиниться. Таким образом, свобода становится диалектическим понятием: только укротив свои страсти и подчинившись правилам, мы смогли бы стать по-настоящему свободными. Но что это за свобода, ставшая собственной противоположностью, которую, чтобы обрести, нужно приручить? Ребенок, которого приучают к этим неизбежным ограничениям, в конечном счете смиряется, но хранит в себе ностальгию по дикой, первобытной свободе.

Во-вторых, механизмы действия свободы не поддаются репрезентации. Да, философы называют свободой воли способность выбирать между несколькими вариантами, между добром и злом. По мнению Блаженного Августина, с которым позже согласится и Декарт, Адам ослушался Бога, так как был абсолютно свободен. Свобода воли подвергает несчастьям, но возвышает нас. Можем ли мы, однако, быть уверены в том, что пользуемся ей в полной мере? Возможно, это всего лишь иллюзия. Спиноза в XVII веке утверждает, что мы определены в своем бытии нашей индивидуальной природой, способностью существовать и действовать тем или иным образом. Мы думаем, что совершаем выбор, но на самом деле лишь применяем то, что нам диктует наша природа в данный момент нашего существования. Чувство свободы для Спинозы относится к магическому мышлению. Истинная свобода скорее ведет нас к пониманию причин, которые толкают нас на поступки, к пониманию того, что нас определяет. В XX веке социологи, историки, лингвисты, психологи попытались выявить зачастую бессознательные мотивы наших действий. В них нет ничего от свободы выбора, так как мы совершаем их под влиянием нашей социальной принадлежности, культурно детерминированных представлений о мире или особенностей психики. Подобные разоблачения мифа о свободе воли, создающие порой впечатление истинного открытия, сегодня весьма популярны.

Более того, свобода воли всегда вписана в определенный контекст. Существуют обстоятельства способные помешать нам до некоторой степени совершить выбор, соответствующий нашим представлениям о совести. Один известный социальный эксперимент наглядно продемонстрировал данный тезис. Чтобы проверить степень подчинения авторитету,

присущую нам в определенных ситуациях, Стэнли Милгрэм в начале 60-х годов предложил испытуемым принять участие в эксперименте под руководством ученого из Йельского университета. Под предлогом исследования памяти другого испытуемого, который в реальности был актером, участникам эксперимента предлагалось дистанционно отдавать команды об ударе эклектическим разрядом за каждый неправильно данный им ответ. Милгрэм неожиданно для себя пришел к выводу, что 62,5% участников, несмотря на свое изначальное нежелание причинять страдания другим, подчинялись ученому, который требовал давать разряды тока все возрастающей силы, что, в конечном счете, привело к смерти испытуемого (по крайней мере, так казалось участникам эксперимента, когда в определенный момент, после очередного разряда током, крики актера резко прекращались). Существуют обстоятельства, когда наша свобода выбора подавлена, например, из-за страха ослушаться авторитета, который представляется нам легитимным. Да и зло в мире, как известно, зачастую обязано своим возникновением не желанию навредить и не садистским наклонностям, а скорее конформизму, послушанию, расчету и страху. Соглашаясь с результатами экспериментов социальных психологов, мы должны согласиться и с тем фактом, что определенные обстоятельства могут вынудить нас совершить поступок против нашей воли. Кто может с уверенностью заявить, что во время Второй мировой войны, вступил бы в ряды Сопротивления? Кто сегодня готов протестовать против деспотии, рискуя сесть в тюрьму и не боясь репрессий против своих близких? Никто. Мы никогда не знаем, как поведем себя в подобной ситуации. Свобода не дается нам по запросу. Не только определение, но и само присутствие свободы остается для нас чем-то неуловимым.

Неспокойное время

В-третьих, действительно ли мы хотим быть свободными? Совсем необязательно. В «Легенде о Великом инквизиторе», концептуальном ядре романа «Братья Карамазовы», Достоевский рассказывает историю о кардинале. Взяв под стражу Христа, вновь явившегося людям в Севилье эпохи Ренессанса, инквизитор утверждает, что свобода — вовсе не дар,

а тяжелое бремя для человека. Она сопряжена с опасностью, нравственными страданиями, чувством вины, муками выбора. Лучше быть частью общества, в котором можно жить спокойно, не неся на себе крест свободы. Свободу лучше заменить ощущением силы, душевного спокойствия, возобновляющегося желания, социальной гармонии. Достоевский таким образом хотел противопоставить свободу, которую дарует человеку вера, свободное следование Христу — тому, что он считал деспотическим искушением для своего времени. Он предчувствовал скорое наступление тоталитаризма как коллективного стремления к добровольному рабству. Однако гений писателя заключается не в том, как карикатурно он описывает врага свободы, а в том, что он дает ему шанс. В одном из писем Достоевский отмечает, что данной притчей хотел подвергнуть критике «богохульство», хотя сам же при этом чувствует и осознает, что оно «сильнее». Проект общества, лишённого свободы во имя людского счастья — не риторическая фигура, а социальный сценарий. Двадцатый век тому доказательство, и, если сегодня борьба за свободу как никогда трудна и актуальна, то связано это <...> не только с желанием диктаторов удержать власть любой ценой, но и с убеждениями многих в том, что свобода приносит лишь хаос и опустошение.

Свободе сложно дать определение, ее сложно желать и сложно почувствовать себя свободным; в начале XXI века она остается как никогда окутанной туманом. Пятьдесят лет назад «лагерь свободы» противопоставлял себя необъятным советским лагерям. Немногие верующие отважно боролись за свободу вероисповедания в Советском Союзе. Религиозное представление о человеке, созданном по образу и подобию Бога свободным и способным к творчеству, легко уживалось с более светским пониманием свободы как свободы слова, собрания, выбора представителей, наличия прав. В любом случае, все эти идеи были направлены против авторитаризма и господства идеологии. Этот мирный протест одержал верх: коммунизм рухнул под собственной тяжестью благодаря жажде свободы людей, которых он поработил.

А что же сегодня? Как реагировать на то, что народ свободно выбирает себе в представители безответственных или даже опасных людей, которые способны уничтожить

общественные свободы и посеять хаос? Нужно ли ради спасения планеты ограничить индивидуальные свободы и наложить ограничения на потребление и передвижение? Не является ли экономическая свобода лишь ширмой для принятия повсеместно возрастающего неравенства? Каждый делает свой выбор, но очевидно, что свобода больше не имеет той самоочевидной привлекательности, что была свойственна ей раньше. <...>

Свобода как основополагающий принцип

Несмотря на все теоретические сложности, нельзя отнять у нас опыт свободы, как нельзя заставить нас признать, что в свободе мы не нуждаемся. Философия объясняет такое сопротивление свободы двумя способами. Согласно первому, свобода не поддается определению, репрезентации и может порой быть негативно воспринята, так как она является настолько фундаментальной основой, настолько важным и сильным источником света, что на нее невозможно даже взглянуть. Для русского философа Николая Бердяева свобода является альфой и омегой нашего бытия. В книге «Самопознание. Опыт философской автобиографии», как и в других своих работах, Бердяев утверждает «примат свободы над бытием». Действительно, «бытие есть как бы застывшая свобода, статизированная свобода». Хайдеггер и Сартр, в то же время, хотели освободить человека от любого определения. Они отрицают возможность определить человека, как если бы это был предмет. Для Хайдеггера, в виду того, что человек — единственный, кто способен вопрошать о бытии, он есть *dasein* — присутствие в бытии в качестве вопрошающего о нем. Бытие первично по отношению ко всему, что существует в мире, к тому, что Хайдеггер называет «сущим». Сартр же, защищая концепцию экзистенциализма, утверждал, что любой попытке определить человека извне предшествует его индивидуальный свободный проект. Бердяев идет дальше: не бытие или экзистенция есть основа всего сущего, а свобода. Таким образом, в основе всех вещей лежит действие, преобразующая динамика, порыв. Человек получает это от Бога, своего Создателя, Который создал человека по образу своему — творцом. Брать за основу сущего что-либо кроме

свободы — значит отрицать, что мы образ Божий. Так возможно стать жертвой идеологии, которая в конечном счете убедит нас в бессмысленности свободы.

Воплощенная свобода

Есть еще один способ сохранить свободу. Более приближенный к реальному опыту, менее умозрительный, он, несомненно, лучше всего описан именно в романах Достоевского, несводимых к философскому трактату. Во второй половине XIX века Достоевский стал свидетелем зарождения теорий, доказывающих бессмысленность или бесполезность свободы, как например, утилитаризм, который требует учитывать влияние наших действий на общее благополучие, а не следовать благородным, но зачастую нерациональным импульсам. Один из персонажей «Преступления и наказания» объясняет, что глупо разрывать на две части свое пальто, чтобы отдать одну из них нуждающемуся, лучше, чтобы тот приложил усилия и заработал средства, чтобы купить собственное. Или же научный социализм, согласно которому неравенство является причиной всех зол, а однажды установленное равенство заставит зло исчезнуть само собой. Столкнувшись со столь основательными концепциями — а утилитаризм сегодня, несомненно, является самой распространенной этической системой на планете — герой «Бесов» отвечает: «Мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Многие герои Достоевского пытаются стать свободными. Герой «Записок из подполья» отрицает то, что дважды два четыре, и восстает против любой универсальной гармонии, но увязает впоследствии в злобе и извращенности. Раскольников в «Преступлении и наказании» хочет освободиться от морали, совершив убийство, но затем сталкивается с угрызениями совести и глубоким чувством вины. Мышкин, главный герой «Идиота», свободен от расчета, лежащего в основе циничного общества, но не способен в итоге действовать и предотвращать катастрофы. Лишь немногие герои Достоевского воплощают собой настоящую свободу — странник Макар в «Подростке», старец Зосима в «Братьях Карамазовых». Некоторые герои Достоевского хотят быть свободными вопреки всем убеждениям своей эпохи, но им это в конечном

счете так и не удастся. У других, кажется, даже что-то получается, но сами они лишь падающие звезды на небосклоне Достоевского, всецело занятого проблемой зла.

Эти редкие для Достоевского герои никогда не рассуждают о свободе. Единственное понятие, которое вводит Достоевский — «живая жизнь», но он не дает ему точного определения, а лишь указывает на то, что это жизнь «не умственная и не сочиненная, а, напротив, нескудная и веселая». Один из персонажей «Подростка», Версиков, делает попытку описать эту концепцию более развернуто: «Тоже не знаю <...>; знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

Подобное *кредо* призывает к неизменной любви к людям, к красоте мира, к своего рода удивлению перед повседневной способностью получать и дарить радость.

Поиск свободы Достоевским завершается восхвалением живой жизни и обращает нас к феноменологическому пониманию свободы, способному разрешить упомянутые выше противоречия. Свобода — это не просто концепция, идея или, того хуже, лозунг. Это воплощенная реальность. Воплощенная свобода касается не только ценностей и принимаемых нами решений, но прежде всего нашей жизни, нашего телесного и духовного существа. Свобода получает воплощение, когда возникает желание преодолеть страх (страх оступиться, не понравиться, пойти против мнения большинства), узнать новое, нарушить правила, когда возникает чувство, что нас определяют не столько идеи и убеждения, сколько образ бытия, сопряженный с творчеством, а значит и с риском. Воплощенная свобода — это образ бытия, который не дается нам от рождения: ему нужно учиться, и процесс его освоения неизбежно включает в себя прыжки в неизвестность, моменты сомнений и кризисов. Свобода проявляется не в рассуждениях, а в живом опыте и в ошибках. Она зачастую возникает из нашего восхищения теми, кто сам абсолютно свободен в отношении всего того, что *принято*. Свобода в таком случае проявляется как желание

и порыв, не поддающиеся социальному давлению и миметизму. Воплощенная свобода не исключает подчинения правилам совместной жизни, но побуждает противиться им, если они кажутся нелегитимными. Она выражается в выборе, не всегда прозрачном, но вышедшем из глубин нашего сердца.

И, наконец, эта свобода зарождается в присутствии другого. Другой удивляет, шокирует, пробуждая мою свободу. И эта свобода возвращается к другому, увлекает его, тревожит, призывает к ответу, также свободному. Один из самых известных лозунгов советских диссидентов — «За вашу и нашу свободу». Второе лицо стоит в нем на первом месте. Таким образом, свобода никак не связана с гордой независимостью от другого, но это не значит, что она от него зависит. Свобода вступает с другим в диалогические отношения, а другой ответно структурирует ее отношения с миром и с другими.

Свобода не выносит определений, не имеет под собой доказательной базы, пугает, и все потому, что она существует не на социальном и не на теоретическом уровне. Свобода — радостное и одновременно трагичное жизненное бурление воплощения, загадка отношения с другим, который всегда остается вне досягаемости. Мы ощущаем свободу в своей плоти и осуществляем ее в отношении с тем, что непостижимо. В основе свободы лежит движение, которое не знает, где оно завершится и завершится ли. Так, свобода, непредсказуемая и не имеющая точной траектории, вечно пульсирует внутри нас и взрывается в самый неожиданный момент.

*Перевод с французского
Веры Казарцевой*



ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ



Джованна Парравичини

Живой мост

*К столетию со дня рождения
отца Романо Скальфи
(1923–2016)*

Нет ничего отраднее, чем счастье
знать, что ты любим Христом, и воз-
можность встречать Его в каждом
лице, в любых обстоятельствах.

Я вверяю себя и всех заступниче-
ству Божией Матери, Ее ходатайству
и защите я обязан священническим
призванием, и прошу друзей «Христи-
анской России» любить Россию, не-
смотря ни на что.

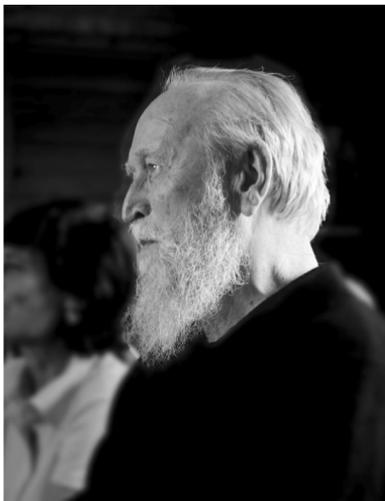
Из духовного завещания

Нелегко отделить личность католического священника Ро-
мано Скальфи от дела всей его жизни — созданного им фонда
«Христианская Россия» (*Russia Cristiana*). Однако в своем рас-
сказе я попробую, насколько это возможно, воссоздать жи-
вые, самобытные черты, «харизму» человека, который был
безусловно живым мостом между Западом и Россией. В чем его
секрет, особенность его личного пути? Наверное, так много
он смог сделать для России именно потому, что всегда воспри-
нимал ее как порученную ему задачу, а вернее — как драгоцен-
ный дар, полученный от Христа, сердца его жизни. Поэтому
мне бы хотелось воспроизвести здесь как можно больше его
прямой речи — цитат из его проповедей, интервью, статей.

Первая встреча – с литургической традицией

Отец Романо Скальфи (12 октября 1923 – 25 декабря 2016) – один из представителей того поколения священников и деятелей культуры, сейчас уже почти полностью ушедшего, которое на Западе начало преодолевать стены отчуждения, разделяющие католический и православный мир.

Его личная история с самого начала переплетается с историей движения так называемых «русских католиков» (то есть с попыткой сохранить византийскую традицию, оставаясь верными Римской кафедре, что исторически было связано с опытом, предпринятым в России в начале 1900-х годов эзархом Леонидом Федоровым, вдохновлявшимся мыслью Владимира Соловьева) и, в частности, с историей Папской коллегии *Russicum* в Риме. Помимо издания ряда текстов и литургических пособий, главная заслуга Руссикума состояла в подготовке «миссионерских» священников в первые три десятилетия XX века, которые стали затем инициаторами многочисленных «прорусских» католических центров, возникших в конце 1940-х и в 1950-х гг.¹ Несмотря на специфику каждого такого центра, между ними существовало дружеское сотрудничество и доверие, о чем свидетельствует, например, отец Антуан Ламбрехтс, когда пишет: «...Здесь, в Бельгии, наши друзья из брюссельской “Жизни с Богом” Ирина Поснова и отец Антоний Ильц время от времени привозили нам в Шеветонь свои книги, чтобы мы раздавали их приезжающим русским гостям или везли в Россию. Для антирелигиозных советских пропагандистов “все мы” (т. е. “Жизнь с Богом”, “Христианская Россия”, “Руссикум”, “Шеветонь” и многие другие) были в равной степени “агентами Ватикана»².



Общим знаменателем в опыте этих священников является ключевая роль восточной литургии: так, например, в своих воспоминаниях отец Клод Робинэ и монсеньор Энрико Гальбиати говорят о ней как о том, что стало основанием их призвания. То же самое произошло с отцом Романо: его первая встреча с Россией связана с Божественной литургией византийского обряда, отслуженной отцом Андреем Густавом Веттером из Руссикума в 1946 г., в духовной семинарии тридентской епархии, где сам Романо тогда учился.

Романо Агостино Скальфи, родившийся в Тьоне-ди-Тренто, горной деревне в Альпах, второй из пяти детей, на путь, ведущий ко священству, вступил очень рано. Позже он будет так об этом вспоминать: «Идея стать священником пришла ко мне ясно и отчетливо примерно в четыре года. Ни до, ни после, никто не убеждал меня встать на этот путь, но осознание, что я призван к священству, никогда, даже в самые трудные моменты, не покидало меня...»³. А рассказы иезуита из Руссикума и им же отслуженная литургия открывают для молодого семинариста некое «призвание в призвании», определяют его будущее, подталкивая его к решению посвятить жизнь служению Церкви в России. Надо добавить, что любовь к литургии — не просто эстетическое увлечение великолепием восточного обряда. Много лет спустя о. Романо воскликнет в одной из проповедей: «В свое 90-летие сегодня я совершаю уже 25555-ю мессу и уверяю вас, что еще не устал! Напротив, каждый день благодарю Господа за великий дар — возможность совершать Святую мессу. Это основание моей веры, моей радости и моего внутреннего мира»⁴.

27 июня 1948 года Романо рукополагают во священники. В 1951 году он поступает в коллегию Руссикум, а в 1954 году защищает при Григорианском университете дипломную работу по специальности «социальные науки», об итальянском экономисте, социологе и пионере христианской демократии Джузеппе Тониоло. С одной стороны, его романтическая мечта об отъезде в Россию по следам предыдущих выпускников Руссикума и о возможности служения там так и не сбылась. Но, с другой стороны, центр, им основанный в Милане в 1957 г., с вызывающим — для тогдашней левой господствующей культуры — названием «Христианская Россия», будет развивать миссионерскую работу в экуменической перспективе,



*О. Романо (второй справа в последнем ряду) вместе с преподавателями и учащимися Восточного института и коллегии Русикум.
Рим. 1950-е гг.*

выражая горячее стремление к единству, к признанию ценностей духовной традиции православного Востока, наряду с желанием познакомить православных с духовным наследием Католической Церкви. Как в случае с названием связанного с фондом издательства, «Матренин двор» (*La Casa di Matriona*), основанного в 1975 году, вдохновившимся одноименным рассказом Александра Солженицына, в выборе имени для нового центра акцент был сделан не на антикоммунизме, а именно на открытии богатства русской культурной и религиозной традиции. Об этом о. Романо будет говорить неоднократно: «И особая благодарность... за тот пример, который мне дала Россия. Пример мучеников России, пример самиздата, пример инакомыслящих, которые были не только оппозиционерами, а вдохновлялись ценностью человеческой личности и жизнью во Христе. От этого надо отталкиваться, чтобы изменить мир. От этого, как думали и они, надо отталкиваться, чтобы изменить Россию... Мир изменится, если изменюсь я, — этому меня научила Россия. Для меня это было не просто проповедью, это было реальностью. Когда не было никакой надежды на изменение положения дел в России, кто-то сказал: измениться должны мы»⁵.

Изначальной интуицией и одновременно зрелым плодом пути, проделанного в течение всей жизни совместно с друзьями, встречаемыми в СССР, стало признание единства как уже присутствующего во Христе, видение экуменизма и миссии как взаимодополняющих факторов открытия «другого» (в конфессиональном смысле), как неустранимой части собственной идентичности, а церковного общения как реальности, уже существующей, несмотря на раны разделений.

С самого начала о. Романо нашел свою «нишу» среди центров, по-разному поддерживающих «христианскую Россию» за железным занавесом — кто через производство и распространение тамиздата, кто через работу с эмигрантами и т. д. Новый центр взял на себя, прежде всего, «документальную» задачу по изучению гонений и культуры инакомыслия, его деятельность была направлена на то, чтобы заинтересовать католиков проблемами России и единства Церкви, говорить о гонениях на христиан в СССР, а также об их свидетельстве веры и о сокровищах русской религиозной и культурной традиции. В связи с этим о. Романо привлекал немало ученых и экспертов, среди которых миланские священники Энрико Гальбиати и Луиджи Джуссани. С последним, основателем церковного движения «Общение и освобождение», отец Романо несколько лет жил под одной крышей, их связывала глубокая дружба, во многом определяющая развитие самого центра, решение образовать общину, братство, а не просто кружок любителей русской культуры. Вокруг о. Романо постепенно собирается маленькая, но усердная группа людей, особенно молодежь, для которой он ежемесячно служит по византийскому обряду, организует особую молитву за преследуемых и узников (светских диссидентов, православных верующих, литовских католиков, баптистов и т. д.), читает их свидетельства и письма из мест заключения. Такие же службы и чтения проходят в приходах, монастырях, куда приглашают о. Романо, чтобы помолиться о единстве христиан и познакомиться с жизнью Церкви в СССР. Мужество, человечность и вера «свидетелей» за железным занавесом становятся для многих новым импульсом к воцерковлению, по словам Тертуллиана: «Кровь мучеников — семя христианства».

Дружба с Бетти Амбивери

О. Романо любил повторять, что он никогда ничего не планировал, и даже когда пытался планировать, все получалось по-другому (и к лучшему — добавлял он с лукавой улыбкой). Одной из таких «неожиданностей» на его пути стала встреча, в конце того же 1957 г., с выдающейся жительницей Бергамо Бетти Амбивери (1888–1962), которая сразу же предоставила свою виллу в Сериате для различных начинаний «Христианской России».

Бетти Амбивери, происходившая из богатой семьи предпринимателей, всегда была очень внимательна к нуждающимся и оказывала им финансовую и моральную поддержку. Во время Первой мировой войны она добровольно служила в Красном Кресте и работала в разных госпиталях (ее заслуги отмечены серебряной медалью). В послевоенный период, несмотря на непростые отношения с фашистским режимом, Бетти продолжила оказывать помощь местному населению. Столкнувшись с мощным миграционным потоком, вызванным экономическим кризисом, она посвятила себя помощи эмигрантам и их интеграции. В то время, как она уже вынашивала идею уехать в отдаленную миссию, вспыхнула Вторая мировая война, и Бетти решила остаться в Италии. В марте 1941 года она снова становится медсестрой-добровольцем в госпитале Клементина в Бергамо.

Кроме того, она поддерживала связи с Сопротивлением, предоставляя партизанам возможность прятать оружие в ее резиденции, и после доноса в ночь на 24 ноября 1943 года была арестована и заключена в тюрьму. На суде 7 марта 1944 г. ее приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили десятью годами лишения свободы с отбыванием в тюрьме Айхах в Германии. На свободу Бетти вышла 24 апреля 1945 года. После возвращения из плена она занялась политической, административной, общественной и волонтерской деятельностью. На выборах 24 марта 1946 года она стала первой женщиной, избранной в послевоенную муниципальную администрацию, а в 1956 г. — первой и единственной женщиной, избранной в администрацию провинции Бергамо. 23 декабря 1961 года мэр Бергамо вручил ей золотую медаль «За гражданские заслуги».

Она была настолько горячим сторонником идеи христианского единства, что в своем завещании распорядилась предоставить виллу Амбивери в постоянное пользование «Христианской России». Русская библиотека, насчитывающая более 30.000 томов, иконописные мастерские, домовая церковь, конференц-зал и помещения для гостей — все это ее дар, который отец Романо будет активно использовать для «русской миссии» на протяжении многих лет и который и сегодня все еще продолжает служить этой цели.

«Их Голгофа — это наша Голгофа»

В январе 1960 года тиражом в полторы тысячи экземпляров вышел первый номер «Христианской России вчера и сегодня» — журнала, адресованного «людям с католическим, то есть вселенским сердцем, которые, сталкиваясь с любой ценностью, заключенной в человеке, не чувствуют ее чуждой себе»⁶. В первом выпуске журнала о. Романо публикует большую статью с заглавием «Христианские надежды в СССР», где на основе анализа официальной прессы отмечает обострение антирелигиозной кампании, но приводит также, с энтузиазмом человека, сделавшего выдающееся открытие, нередкие — даже в периодических изданиях — признания о существовании в советском обществе многочисленных религиозных «предрассудков» и даже подпольной христианской литературы. Направлению издательской деятельности о. Романо в немалой степени способствовала именно встреча с живым голосом существующих в СССР общин, и эта встреча с конца 1950-х гг. постепенно углублялась через поступление самиздата и личное общение.



О. Романо выступает с лекцией о положении верующих в СССР. Италия. 1960-е гг.

Деятельность «Христианской России» возникла снизу и нередко проявляла себя в некотором отклонении от официальных позиций Ватикана. В годы ватиканской *Ostpolitik* (восточной политики), которая продлится до понтификата Иоанна Павла II, о. Романо нередко сталкивался с непониманием и критикой со стороны различных церковных кругов. Перед лицом таких событий, как участие православных наблюдателей на II Ватиканском Соборе или постановление Синода РПЦ от 16 декабря 1969 года о допуске католиков к причастию там, где нет католических храмов, Ватикану стало трудно поддерживать голоса тех, кто внутри Католической церкви отстаивал интересы верующих, которые в СССР подвергались жестким гонениям, тем более что преследования отрицались официальной православной иерархией. «Христианскую Россию» упрекали в чрезмерном «внимании к антирелигиозной борьбе» в хрущевскую эпоху в СССР, в то время, когда личные контакты Никиты Сергеевича с понтификом внушают новую надежду ватиканской дипломатии.

В текстах о. Романо тех лет боль соединяется со спокойствием духа; непонимание становится для него стимулом к тому, чтобы возрастать самому и помогать другим расти в уважении и любви к Церкви, отказаться от компромиссов и политических расчетов и следовать по пути подлинного экуменизма и братства, в сознании единства, которое нас предваряет и ожидает. В редакционной статье января 1963 г. читаем: «Именно распространяя сведения о коварной и жестокой борьбе с религией, которая более чем когда-либо ведется сегодня в Советском Союзе, мы служим, по нашему убеждению, подлинному экуменизму. Не слишком ли легким является экуменизм, закрывающий глаза на ужасные условия, в которых вынуждена жить Православная Церковь в России? Мы не можем кинуть наших русских братьев на произвол судьбы и в силу нашего молчания стать в какой-то степени ответственными за преследования, заявленная цель которых состоит в окончательном искоренении веры... Мы хотим принять тот крик боли, с каким русские священники и верующие недавно обратились к католикам во время их посещения СССР... Чтобы ответить на призыв этих братьев, мы будем неустанно говорить об их нравственных муках. Их Голгофа – это наша Голгофа. Они не могут быть оставлены одни на страдания.

Христианская католическая община должна быть с ними: говорить от имени тех, кто не может говорить, протестовать за тех, кто не может протестовать, и вместе молиться»⁷.

Знакомство с самиздатом. Ростки новой жизни в СССР

Главная цель нового журнала — собирать, переводить и публиковать самиздатские тексты (письма, воспоминания, проповеди, эссе, стихи), которые свидетельствовали на Западе о новой жизни и о странной свободе, явленной в несвободной стране.

С течением лет название и формат журнала будут неоднократно меняться, пока он не превратится в онлайн-портал «Новая Европа» (2016 г.). Прежней, однако, остается его главная задача: освещать новый гуманизм — возможный путь и для западного мира. О. Романо очень четко понимал, что вопрос не в тоталитарном режиме, в первую очередь, а в самосознании, в свободе и ответственности личности: «Речь идет не о борьбе с определенной системой, а о борьбе со злом, которое гнездится в сердце человека, даже верующего, еще до того, как выразит себя в форме конкретной идеологии и политического строя»⁸.

Этот же взгляд в начале перестройки позволил ему не поддаваться наивной надежде на то, что с крушением коммунизма все проблемы разрешились: «Было бы совершенно бесплодно и наивно обвинять во всем государство. Негодную власть побеждает не протест, а новая жизнь, которая зарождается в обществе и объединяется в солидарных действиях. Государство неминуемо господствует, если нет органически связанного общества. Но создание общества не является преимущественной задачей государства; оно на это не способно. Именно на личности и общинах лежит задача преобразования общества, подчиненного власти, в общество, которое является ответственным протагонистом истории; задача преобразования ложной демократии в настоящую демократию»⁹.

Более того, он уже в начале 90-ых видел опасность новой идеологии, опирающейся на ложное представление о духовности, на имперское злоупотребление христианством:

«Коммунизм, как и капитализм, может менять свой облик. Духовный национал-социализм, например, мог бы стать одной из возможных метаморфоз советского коммунизма... Тенденция, которую мы наблюдаем, это не безобидная романтическая вера, которая упивается воспоминаниями, а национализм, который предполагает военные действия и мечты об имперских границах... “Россия едина и неделима”¹⁰, но под Россией подразумеваются все народы, входящие сегодня в состав Советского Союза. Таким образом, осуждаются не только сепаратистские тенденции, но и опровергаются стремления отдельных народов к большей автономии. Именно эта узость и неспособность признать за другими народами права, которые они требуют для себя, показывает империалистическое лицо этого типа русского национализма, негативное само по себе и опасное из-за реакции, которую оно может спровоцировать... И по крайней мере одна серьезная опасность очевидна: религиозный опыт сводится к аморфному спиритуализму, где в зависимости от обстоятельств могут преобладать привкусы национализма, сентиментализма, народного фольклора, ностальгии по прошлому... Больно видеть, как настоящее содержание веры, Христос-Бог, сводится к рамке, да еще такой ложной и временной»¹¹.

Глубоко и тонко понимая специфику советского контекста, о. Романо все-таки настаивал на том, что путь — общий и для Запада, и для России. «Попытка научно объяснить человека и, соответственно, манипулировать им согласно этой схеме всегда была среди самых гнусных соблазнов современности. Западный позитивизм и марксистский утопизм — два варианта той же материалистической предпосылки, они происходят от одного и того же корня», — отмечает он. Но при этом о. Романо обращает внимание на то, что уже в 60–70-ые годы, когда студенческий бунт стал отличительной чертой западной культурной атмосферы, в то же самое время независимую культуру, распространяющуюся через самиздат, отличало «первенство человека над любой структурой и любой абстрактной идеей... Лучшие произведения подпольной литературы ставят в центр внимания человека, не только исследуя его непостижимые внутренние глубины, но и раскрывая его социальное влияние. Б. Пастернак и А. Солженицын,

В. Гроссман и А. Синявский по-разному воспевают ценность конкретного человека, ближнего, грешника и святого, раба и свободного, несчастного и великого, но всегда первого ответчика и в добром, и в злом, первопричину добра и зла в обществе». И еще, ссылаясь на слова В. Гавела: «Бархатные революции рождаются из сердца каждого человека», подчеркивает возможность «эффекта бабочки», когда взмах крыльев может вызвать ураган, так же как незначительное, на первый взгляд, действие человека может оказать решающее влияние на ход истории. Когда маленький жест пропитан свободой, он несет в себе созидательный потенциал неоценимой ценности для всех и вся»¹².

Роль Церкви и христианства

Особый интерес всегда пробуждал в отце Романа христианский самиздат; изучению этого явления он посвящает много времени, увидев в нем подлинный «знак времен» для церковной жизни и для всего общества: «Сила и творческий потенциал жизни, питаемой Святым Духом, оплодотворяющим Церковь, не могут закончиться неудачей. Они могут привести на крест или в лагерь, но ими творится история народа. В текстах самиздата энергия слова становится выражением жизни. Все подвижники христианского возрождения убеждены, что будущее России зависит от ее способности возродиться во Христе. Только на основании этой высшей истины можно утверждать ни с чем не сравнимую ценность человека, ценность его жизни и творчества. Только в христианстве мы находим высший смысл общественной жизни, культуры и экономики»¹³.

Кругозор о. Романо, с другой стороны, был очень широк и нацелен на то, чтобы отразить все грани человечности в самых разных текстах и контекстах. Поэтому в своем журнале он публиковал самые различные материалы, не обязательно христианского содержания, включая открытые письма и обращения, стихотворения, рассказы, философские и богословские статьи: главное, что их объединяло — общая вера в человека. Например, так он говорил об авторе романа «Жизнь и судьба»: «Для В. Гроссмана величие человека выше любой общественно-политической структуры. Он выражает

это совершенно по-особенному, в трагических ситуациях, которые, казалось бы, должны лишать человека какой-либо свободы; описывая лагерь, войну, он приходит к заключению: человек свободен в любой ситуации. Вот его слова: «Я закалил свою веру в аду, моя вера вышла из огня кремационных печей». Что это за вера? «Я увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом, я увидел, что могучее зло бессильно в борьбе с человеком». Я не нашел другого такого выражения веры в человека, как это, но эта вера в человека особенно близка нам, тем, кто верит в Бога»¹⁴.

Будучи очень чутким к нуждам конкретных людей (сколько денег давал он для дел милосердия, совершенно не афишируя это; однажды, еще будучи молодым священником, он заметил пожилую русскую эмигрантку, живущую, буквально, в сарае, и оставил ее жить у себя дома), о. Роман никогда не путал христианство с какой-либо социальной или политической идеологией: «Первоочередная задача Церкви не в том, чтобы укреплять институты и обеспечивать социальное благо. Или же, чтобы расшатать институты и разоблачить социальное зло... От институций и в пользу институций Церковь просит, прежде всего, возможности быть Церковью. Не подчиняясь власти и не борясь с ней напрямую, Церковь, которая стремится жить по своему призванию, без компромиссов, очищает общество и одновременно укрепляет его»¹⁵.

Его очень сильные, почти пророческие слова – если их читать сегодня, на расстоянии почти тридцати лет – дадут нам понять, как соединяются для о. Романо во Христе все пласты, все смыслы: «Прежде всего, сказать “Христос”, единственное спасительное слово: не излагать учение, не формулировать анализ реальности, а утверждать факт – факт присутствия Личности, которая, как таковая, обязательно изменяет наше существование и затрагивает нашу судьбу... Может показаться странным предлагать возрождение веры в качестве лекарства для мира, который, больше не веря ни во что, начал верить во все; и точно так же может показаться неуместным предлагать абсолютность Христа, когда перед нами стоят неотложные и столь конкретные и относительные решения.

Но эти возражения имели бы смысл только в том случае, если бы вера и Христос были просто учением или

абстрактной истиной; они имели бы смысл только в том случае, если бы решения, которые необходимо принять, не были бы человеческими решениями, то есть решениями, в которых на карту поставлена, прежде всего, наша человечность во всей ее полноте. В ответ на такие возражения следует нам вспомнить, что христианство — это не просто учение, и даже не религия, а прежде всего признание Христа... Возвращение к вере Христовой, таким образом, означает признание факта, который расширяет измерения человеческого разума, поскольку он открывает его для бесконечной реальности, которая, именно в силу своей бесконечности, является отрицанием всех предрассудков и всех предопределенных схем. Таким образом, вера, никак не отрицая культуру, является источником той подлинной культуры, которая утверждает целостность и неисчерпаемость человека. Если вера такова, важно выдвигать ее даже перед лицом условных решений, не потому, что божественное следует смешать с человеческим и заменить им ответственность, но потому, что человечность и справедливость — истинны и серьезны, только если признать, что в них обнаруживается и защищается неподвластность человека схеме или политическому проекту, только если признать, что они являются путем, позволяющим проявиться тайне человека. Иначе справедливость становится идеологическим проектом, готовым сбросить миллион голов ради построения будущей гармонии, а человечность — смутным чувством, любящим идеальное человечество, но не способным стерпеть близко стоящего человека»¹⁶.

«*Mea culpa*» и тайна страдания

Одну из наиболее впечатляющих отличительных черт самиздата отец Романо видел в готовности признать личную вину (*mea culpa*), которую авторы исповедуют в отношении революции и советского режима. Именно на этом аспекте и настаивал о. Романо: «Надежда Мандельштам говорила: “Чувство греха — это самое ценное в народе”. Чувство греха связано с надеждой, в противном случае, это еще один грех. Более того, это уже не чувство греха... Чувство греха не рождается из опыта нашей ничтожности. Чувство греха происходит из

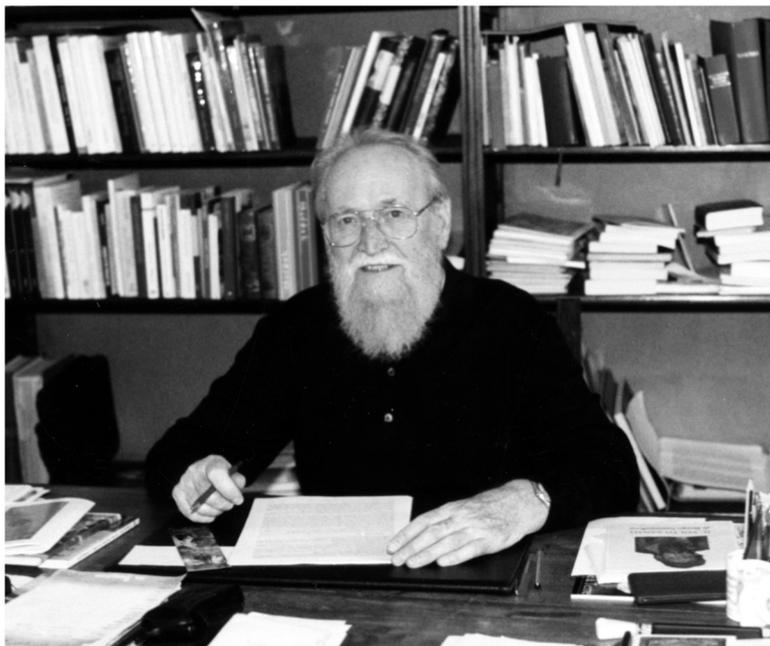
осознания собственного призвания быть человеком, осознания нашего величия. Достоевский говорил об ответственности каждого человека перед всеми людьми за всех людей и за все. Какая уж тут ничтожность...»¹⁷.

Защищая гонимых, пытаюсь организовать кампании солидарности в поддержку тех, кто находился в лагере или в тюрьме, о. Романо никогда не забывал об ответственности, которую их жертва налагала на каждого человека: «Опыт восточных христиан должен стать для нас, прежде всего, основой глубокого единения, общения с ними. Невозможно, чтобы страдания и тяготы, с которыми сталкиваются христиане, живя своей верой, не распахнули наши сердца и не заставили нас решительнее признать Христа смыслом нашей жизни. Их свидетельство возлагает на нас большую ответственность, ведь то, что им удалось преодолеть, то, что мы хотим отстоять для них, мы хотим обрести и для себя. Мы осознаем, что вместе с ними идем по общему пути: мы боремся с другими врагами, мы живем в других условиях, но цель, к которой мы стремимся, и истина, которую мы утверждаем, — одни и те же... Солидарность и общность жизни, о которых просят нас гонимые российские христиане, проистекают из стремления жить и свидетельствовать о встреченной истине, из верности призванию, тому, что Господь доверил нам, поскольку, как свидетельствуют нам эти люди, отмеченные и очищенные болью, новая жизнь может родиться только в человеке с обновленным сердцем»¹⁸.

Но на еще большей глубине о. Романо увидел и осознал тайну человеческого страдания, которое объединяет нас с жертвой Христа. В этом для него ярким примером была его мать, Элиза: «Я помню, что моя мать сказала, когда у нее только что умерла единственная дочь, моя сестра, ей было чуть больше двадцати лет: “Но почему, Боже, ты отнял ее у меня?” А потом склонила голову и добавила: “Да будет воля Твоя”. Много лет спустя она сказала мне: “Знаешь, самый счастливый момент в моей жизни был, когда я приняла этот крест во имя Христа, и Господь обнял меня таким образом и дал мне такое счастье, что еще немного, и я бы умерла от счастья”... Даже внутри по-человечески невыносимой боли Христос отвечает блаженством, которое может дать только Он»¹⁹.

Мост с Россией

Первый визит отца Романо в СССР датируется летом 1960 года. Он посетил Минск, Смоленск, Москву, Загорск, Новгород, Ленинград, Киев, Львов. Главное – встреча с христианами, но встречи происходят самые разные: с людьми, опустошенными идеологией, и вместе с тем неудержимо желающими найти ответ на главные вопросы жизни. Последняя поездка состоялась в 1970 году. Затем последовал длительный перерыв в двадцать лет, в течение которого отец Романо был «персона нон грата», но пользовался любой возможностью, чтобы передать в Россию помощь, в первую очередь духовную литературу, тем людям, с которыми в силу разных обстоятельств он входил в контакт. Мимолетные, но интенсивные встречи с отдельными христианами и целыми общинами возникали, таким образом, у итальянских студентов, туристов и рабочих во время, свободное от протокола организованных поездок и стажировок в СССР.



О. Романо в своем кабинете. Вилла Амбивери, Серiate, Италия. 1998

После перестройки центр стал продвигать туристические поездки, в которых участники имели возможность лично познакомиться с Россией изнутри, через общение со специалистами, публицистами, свидетелями. Но в приоритете оставалось все то же самое, и, когда отца Романо спросили: «Что, на ваш взгляд, нужно непременно увидеть в этой стране?», — он, не задумываясь, ответил: «Друзей. Не только церкви, искусство или святыни, но, я бы сказал, прежде всего, друзей, среди которых много православных. Это настоящая работа ради единства, снизу...».

Начиная с 1990-х годов, отец Романо снова получал визу и неоднократно бывал в России, Казахстане, Беларуси и Украине. Его приглашали для проведения духовных упражнений, выступлений на церковных и научных конференциях. В 2007 г. он присутствовал на епископской хиротонии одного из своих «чад» — монсеньора Паоло Пецци, митрополита Архиепархии Божьей Матери в Москве, который о нем скажет: «Благодаря отцу Романо состоялась моя встреча с историей, литургией и мученичеством, определившими Россию XX века. Могу сказать, что до моего приезда в Сибирь все мои знания о России я почерпнул из журнала “Христианская Россия”. Больше всего в отце Романо меня, пожалуй, поражало его стремление всё связать с Христом. Помню, в Новосибирском государственном университете проходила большая конференция, посвященная “христианскому притязанию” и распространению христианства в первые века. Отец Р. Скальфи тогда привел в изумление всех, и студентов, и преподавателей. Он не стал говорить о себе или о своем деле, которым занимался уже сорок лет. Нет, отец Романо говорил о Христе, о своих отношениях с Ним, о том, насколько важно свидетельствовать о церковном общении, о реальном вызове, который представляет для сегодняшнего мира, для сегодняшней России Христос, присутствующий здесь и сейчас»²⁰.

Икона — искусство вселенской Церкви

В 1978 году отец Романо положил начало иконописной школе, пригласив в Сериате иконописца — своего друга и собрата отца Игоря (Эгона) Сендлера, из иезуитской общины Святого Георгия в Медоне (Франция). В годы, когда

на Западе об иконе еще говорили просто как о примитивной, подражательной форме искусства, разные публикации фонда (работы Е. Трубецкого, Л. Успенского, альбомы-календари) способствовали знакомству с ее подлинным масштабом и значением. Начиная с 90-х гг. иконописной школе посчастливилось также иметь русских учителей, в том числе А.Н. Овчинникова из Научно-реставрационного центра им. И. Грабаря и архимандрита Зинова (Теодора). Но, отдавая должное традиции христианского Востока и, в частности, древнерусской иконописи, о. Романо видел в иконе, прежде всего, свидетельство единства неразделенной Церкви. Он часто подчеркивал: «Икона прежде всего позволяет нам заново открыть общие истоки нашей веры. Кроме того, она обязывает нас к религиозному мировосприятию, или, лучше, выражаясь словами Вл. С. Соловьева, к целостному познанию, призывая нас преодолеть рационализм и распасться перед Истиной, Любовью и Красотой. Обратная перспектива, которая от созерцателя бесконечно раскрывается навстречу Тайне, не допускает определение, не позволяет нам замкнуться в рамках нашей меры и побуждает открыться Бесконечному, Тайне, и в то же время осознать, что Тайна стала нашим спутником»²¹.

Как вспоминает Елена Тальябуе, одна из «сериатских» иконописцев, «наш день в Сериате во время курсов иконописи проходил под звон колокола, созывающего участников. Первый удар раздается в 8.00 утра, собирая всех на утреню, за которой следует “маленькое размышление” отца Романо. Предстать перед Христом и написать Его лик — большая ответственность, нужно полностью довериться Ему и кротко позволить Его присутствию направлять твою руку, чтобы не возгордиться личным мастерством и сознавать, что работаешь ради “красоты святой Церкви Твоей” (так говорится в молитве иконописца). Об этом отец Романо напоминал нам каждое утро, цитируя отцов Восточной и Западной Церкви, говоря нам о миссии, о единстве, о реальности как о том, что непрестанно выходит за свои пределы, о красоте жизни с Иисусом: “Вы здесь не для того, чтобы научиться технике, а для того, чтобы встретить Иисуса, чтобы Лик, который вы пишете, стал возможностью встречи для вас и для всего мира, это свидетельство, миссия...”»²².

Москва: создание «Духовной библиотеки»

Кроме издательской и просветительской деятельности, обращенной к итальянской публике, для о. Романо абсолютным приоритетом была работа для верующих в СССР. Через волонтеров и друзей он содействовал отправке туда книг на русском языке (в первую очередь изданий «Жизнь с Богом»). Его собственная издательская деятельность на русском языке относится к середине 1980-х годов, когда перестройка и ослабление цензуры открыли новые возможности: в эти годы происходит переход от тамиздата к реальному издательскому делу, которое из-за рубежа возвращается на российскую землю; потом, после нескольких лет печатания на русском языке в Италии, в начале 1990-х годов «Христианская Россия» способствует созданию в Москве культурного центра «Духовная Библиотека» (в будущем, «Покровские ворота»), который будет развивать издательскую деятельность уже в России.

В 1998 году отец Романо отметил пятидесятилетие священнического рукоположения в Москве, где он представил краткую историю Католической Церкви, написанную им на русском языке и озаглавленную «Я с вами во все дни до скончания века». Он посвятил эту книгу своей матери, а во введении написал: «Бог решил воплотиться, и с этой поры ход времен, по выражению Пастернака, “загорается”, и божественное присутствие освещает человеческие и космические события. Божественное присутствие в человеческом “без смешения и разделения” – вот что для нас история Церкви. Человеческое не перестает быть человеческим, со всей ограниченностью тварной природы, но никакое человеческое убожество не в силах уничтожить образ Божий. Божественное просвечивает через всякую человеческую ограниченность».

В ноябре 2004 г., когда он вынужден отказаться, по состоянию здоровья и из-за семейных проблем, от участия в открытии нового, просторного помещения культурного центра на Покровке, о. Романо, очень дороживший этим проектом и отдавший ему много сил и все свои сбережения, скажет: «Но это и правильно, ведь так понятнее, Кто руководит историей и ходом событий». Выражая свою благодарность всем, кто помогал создавать центр, он пишет: «У нас нет конкретных планов. Больше всего нас интересует воспитание в себе

все более экуменического и все более миссионерского духа, вверение всего Провидению и покровительству Божией Матери, внимательное отношение ко всем знакам, которые Провидение подает нам. Мы не спрашиваем, когда же наступит лучезарный рассвет полного единства между католиками и православными. Сроками ведает Бог. Нам достаточно знать, что мы идем по проложенному Богом пути, ведущему к процветанию Церкви и Церквей и в то же время приносящему великое благо обществу»²³.

Так его вспоминает Виктор Папков, директор культурного центра: «Он интересовался издательской деятельностью, расспрашивал о ходе отдельных проектов. Культурный центр был его большой мечтой, которая, наконец, на его глазах воплотилась в жизнь. Когда он только приехал сюда, здесь царил абсолютная разруха, были вскрыты полы и ободраны стены. И среди этой разрухи отец Романо был счастлив, как ребенок, потому что уже видел в перспективе, что здесь может быть, и был готов сделать все необходимое для этого.



О. Романо с митрополитом Минским и Слуцким Филаретом (Вахромеевым) на конференции «Православное богословие и Запад в XX в. История встречи». Серриате, Италия. 2004

В последний его приезд, хотя он уже был обременен недугами и с трудом передвигался, в глаза бросалось поразительное горение его души. Горение, которое и после десятилетия знакомства с ним не ослабело. Оно влекло всех, кто находился рядом, в перспективу живой встречи с Христом, к которой отец Романо всегда стремился привести человека. Объяснить его живость, его всеготовность, его нацеленность и устремленность, его неутомимость можно тем, что он всегда ощущал прикосновение к себе Христа, Который уже не отпускал от него Свою руку»²⁴.

«Свидетели Агнца»

В 2000 году вышел монументальный мартиролог, составленный отцом Романо, в котором день за днем приводились имена, истории, фотографии: то небольшое, что сохранилось о бесчисленных христианах — православных, католиках и протестантах, отдавших жизнь за Христа в Советском Союзе. Он называется «Свидетели Агнца».



О. Романо с В.М. Папковым посещает культурный центр «Покровские ворота» вскоре после его открытия. Москва. 2005

В свои почти восемьдесят лет отец Романо перерывал архивы и базы данных в интернете, переводил тысячи страниц, чтобы воскресить память о мучениках XX века. Это дань уважения их величию, но прежде всего — дар сегодняшней Церкви, чтобы через их свидетельство она вновь открыла для себя радикальность своего призвания и красоту своей миссии.

Во «Введении» к мартирологу он пишет: «Христиане, страдавшие в застенках, жили с сознанием и в радостном изумлении от того, что их крест соединился с Крестом Христовым. Сам Христос продолжал в них искупительное дело и в них свидетельствовал о Своей победе над злом. Именно это осознание “единосущности” с Христом позволяет мученикам спокойно встречать боль... Сила мученичества — не прометеевская сила. Мученик свидетельствует не столько о себе, сколько о невыразимой любви Христа, переживаемой даже в страданиях. Мученик осознает свою слабость и черпает свыше силы быть милосердным как к палачам, так и к своим оступившимся братьям»²⁵.

На пути к решающему «Рождеству»

В последние годы в проповедях и беседах отца Романо все чаще звучала тема «великой встречи», к которой он готовился, и которая состоялась в день Рождества 2016 г. Последний жест, уловленный теми, кто его окружал, было благословляющее движение его руки, в тот момент, когда молодой о. Паоло, отслуживший рождественскую службу у его постели, произнес слова пресуществления Святых Тайн. В этом жесте — синтез всей жизни.

Он уже говорил об ожидании этой встречи и о милосердном объятии Отца, выступая на Митинге в Римини 2003 года: «...Есть только один способ не состариться преждевременно: позволить эху истины и радости, сокрытым в сердцевине каждого фрагмента жизни, поражать тебя. Путь к святости как к красоте имеет свойство освобождать нас от ложного представления о том, что святость — скорее усилие, а не постоянное открытие в повседневной жизни Присутствия, которое делает жизнь прекрасной... Я давно убежден, что вопрос Христа Петру, предавшему Его несколькими днями ранее, был на самом деле проявлением бесконечного милосердия

Спасителя. Тут нет сомнений, но мне казалось, что ответ Петра продиктован неким бесстыдством. Как ты можешь говорить Ему: “Я люблю Тебя”, – ты, только что предавший Его на глазах у служанки? Но потом я понял: перед таким великолепием, такой человечностью, такой истиной можно ли думать о собственном грехе прежде, чем думать о Нем?»²⁶.

Жертва, связанная с отказом от путешествий (последнюю поездку он совершил в Бассано дель Граппа, где 17 октября 2014 года получил премию за вклад в развитие католической культуры), от общественной деятельности («Я превратился в буржуа», – часто говорил он, улыбаясь, но почти извиняющимся тоном), компенсируется сокровенным осознанием причастности к жертве Христа. Он ежедневно читает «Крестный путь». Почти незаметно для окружающих к нему стекаются все новые и новые люди из ближних и дальних мест, чтобы получить от него совет, суждение, слово утешения и прощения. Это станет очевидно только в дни после его смерти, когда перед гробом, выставленным в домовом храме виллы Амбивери в Сериате, пройдет бесконечная процессия людей, рассказывающих самые разные истории и повторяющих, как рефрен: «Отец Романо спас меня, спас моего сына, мой брак, мою жизнь...».

«Последняя моя встреча с ним состоялась осенью 2013 года в Сериате, – рассказывает о нем игумен Петр (Мещеринов), – мы тогда много говорили о проблеме христианской старости. Чем старше он становился, чем более угасали его физические силы, тем яснее через него просвечивал свет Христа. Он сказал мне важную вещь: пространство человеческих возможностей сужается, но одновременно углубляется обращение к Христу и пребывание с Христом. И я увидел, что возможна другая, христианская старость. Когда телесные силы угасают, силы духовные укрепляются, обновляются и становятся главными. В Ветхом Завете мы читаем про патриархов и праведников, как они, насыщенные днями, отходили к Богу. И я увидел такую же насыщенность днями в облике отца Романа. Не просто днями, проведенными на земле, а днями жизни в Боге. И я подумал, что такая старость является плодом всей жизни. И пусть она даже отягчена болезнями, но внутренняя жизнь, внутренний человек распускается, как цветок»²⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Об истории Руссикума см.: *Constantin Simon, S.J. Russicum: Pioneers and Witness of the Struggle for Christian Unity in Eastern Europe: The First Years 1929–1939; Russicum: Pioneers and Witness of the Struggle for Christian Unity in Eastern Europe: Leonid Feodorov, Vendelin Javorka, Theodore Romza: Three Historical Sketches. Roma, 2001–2002; Judin A. L'unità dei cristiani nell'esperienza del Russicum // La Nuova Europa, 2008. № 1. P. 98–115; Венгер А. Рим и Москва. 1900–1950. М., 2000.*

² Письмо о. А. Ламбрехтса к Д. Парравичини от 28 мая 2016 г. Архив автора.

³ *Colognesi P. Padre Scalfi. L'avventura di una vita. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2017. P. 28.*

⁴ Проповедь на 90-летие. См. *Scalfi R. La mia Russia. Milano: La Casa di Matriona, 2017. P. 14.*

⁵ *Ibid.* P. 15.

⁶ *Presentazione (О журнале) // Russia Cristiana ieri e oggi. 1960. № 1. P. 1.*

⁷ *Nota della redazione (От редакции) // Russia Cristiana ieri e oggi. 1963. №. 37. P. 14.*

⁸ *Nota di edizione (От редакции) // Russia Cristiana. 1977. №. 5. 1977. P. 2.*

⁹ *Editoriale (От редакции) // La Nuova Europa. 1994. №. 2. P. 3.*

¹⁰ Здесь автор приводит цитаты и соображения из статьи М. Антонова «Выход из тупика» // *Литературная Россия, 22 сентября 1989 г.*

¹¹ *Scalfi R. Ha un futuro la Russia?; Il tema religioso spirituale nella stampa russa (Есть ли будущее у России? Религиозно-духовная тема в русской печати) // L'Altra Europa. 1990. №. 1. P. 122–133.*

¹² *Scalfi R. La crisi della modernità e l'inizio di una nuova cultura (Кризис современности и начало новой культуры) // La Nuova Europa. 1992. №. 6. P. 12–14.*

¹³ *Falco Marino S. La nuova coscienza ecclesiale (Новое церковное сознание) // Russia Cristiana. 1975. №. 2. 1975. P. 3–4. В 60–70-е годы о. Романо использовал этот псевдоним, в надежде сохранить возможность путешествовать в СССР.*

¹⁴ Публичная лекция. Сериате, август 1984. Архив фонда «Христианская Россия».

¹⁵ «Editoriale» (Редакционная) // «L'Altra Europa». N. 3. 1989, P. 3–4.

¹⁶ *Editoriale (От редакции) // La Nuova Europa. 1996. №. 2. P. 3–4.*

¹⁷ *Il peccato è uno. Dimenticare Cristo (Грех – один. Забывать Христа) // Il Sabato. Settembre 1982.*

¹⁸ *Falco Marino S. La croce, via alla resurrezione (meditazione) (Крест, путь к воскресению. Размышление) // Russia Cristiana. 1980. №. 5. 1980, P. 38–39.*

¹⁹ Из проповеди. Цит. по: *Scalfi R. La mia Russia*, p. 95.

²⁰ Свидетельство монс. Павла Пецци на вечере памяти о. Романо Скальфи. Культурный центр «Покровские ворота», Москва. 12 февраля 2017 г.

²¹ «Un giovane di 90 anni» (*Быть молодым в 90 лет*). Интервью с Марио Витали // *La Nuova Europa*. 2013. №. 5. P. 9.

²² Архив фонда «Христианская Россия».

²³ Письмо к коллективу «Покровских ворот». 14 ноября 2004. Архив культурного центра «Покровские ворота».

²⁴ Свидетельство В. Папкова на вечере памяти о. Романо Скальфи. Культурный центр «Покровские ворота», Москва. 12 февраля 2017 г.

²⁵ *Scalfi R. I testimoni dell'Agnello. Martiri per la fede in URSS. Milano, 2000.*

²⁶ Выступление на «Митинге за дружбу народов». Римини. 29 августа 2003 г.

²⁷ Свидетельство игумена Петра (Мещеринова) на вечере памяти о. Романо Скальфи. Культурный центр «Покровские ворота», Москва. 12 февраля 2017 г.

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ

Стоявший на страже:
памяти протоиерея Анатолия Волгина
(1946–2021)

Настоятеля прихода храма преподобного Амвросия Оптинского митрофорного протоиерея Анатолия Волгина в городе Кувшиново Калининской области знали все. В прошлом, 2020 году он отметил 40-летний юбилей служения Богу и людям. 35 лет служения прошли в Тверской епархии, на кувшиновской земле. Нас соединяли долгие годы дружбы. Коренастый, невысокого роста, неспешный и вдумчивый во всем, за что брался, он навсегда останется в памяти тех, кто его знал. Он был неприметным, никогда не стремился к известности, его священническое служение проходило в российской глубинке. Он не нажил земного богатства, всегда довольствовался немногим — из средств передвижения у него был только мотоцикл «Урал» с коляской. Зато какие готовил кукольные спектакли к Рождеству! Сам мастерил кукол, а дети, его помощники на приходе и кукловоды, одевали их, а потом все вместе ставили рождественские спектакли. В Кувшиново было осуществлено несколько кукольных постановок. Эту форму театрального искусства он широко использовал. Будучи очень выразительной, она не так зависит от актеров, а кукловодов легко заменить. Текст же существует на фонограмме. Когда в 1976 году мы с композитором Олегом Степурко ставили для детей на квартире «Рождественскую мистерию», он деятельно помогал нам. Восторгу детей, да и взрослых, не было конца.

К счастью, сохранились его воспоминания, любовно собранные его прихожанами. Он вспоминал о своем детстве: «Родился в Москве 1 августа 1946 года. Мы жили на Трифоновской улице в одноэтажном доме, где проживали со старшей сестрой моего отца и его братьями. Папа и родственники обзавелись семьями, народились детки, квартиру уплотнили, подселив соседку с дочерью, и все жильцы оказались в невероятной тесноте. Папа, мама, две старшие

довоенные девочки и мы с братом — послевоенные, занимали семиметровую комнату. Отец благодаря высоким потолкам построил трехъярусные нары и как-то так сумел оборудовать помещение, что у сестер было место для учебы, а у нас, малышей, — для игр. Родителям даже выдали поощрительные грамоты за хорошую организацию жилищного пространства и детских уголков! Дом не имел удобств, воду носили с колонки напротив, отапливались дровами, готовили на керосинке. За нашим забором располагалась Лазаревское кладбище, там, говорят, был воровской притон. Сталин после войны провел амнистию, на свободу вышло много воров, бандитов-рецидивистов. И, несмотря на всеобщую нищету, в том числе и нашу, к нам дважды залезали грабители. Мой дядя гнался за ними и даже стрелял в них из именного пистолета. Он работал в уголовном розыске инструктором по самбо. Наш дом смыло наводнением, которое произошло ночью в январе 1950 года. Лопнула центральная водная магистраль, пролежавшая под нами, и за два-три часа дома не стало! Мама проснулась от



О. Анатолий с дочерью Ольгой (в замужестве Эппле)

тревожного сна, включила свет и увидела струю глинистой воды, вытекавшей из-под двери. Она открыла дверь, и ее чуть не сбил с ног поток мутной воды, хлынувший из коридора. Мама закричала, разбила двойные стекла окон и стала подавать через них нас – малышей, по пояс в воде взрослые несли детей по скользкой ледяной дороге. Пострадавших от наводнения постепенно расселили по коммуналкам в разных районах Москвы. Наша семья устроилась в Третьем Лаврском переулке в квартире, где проживали по соседству еще три семьи, всего 20 человек. После семиметровой комнаты двадцати-двадцатиметровая показалась нам хоромами!»

Анатолий был третьим ребенком в большой семье. Мне приходилось бывать в доме Волгиных. Это была обычная коммуналка из тех, о которых сегодня с тоской и ностальгией вспоминают коммунисты. Отец был разбит параличом, не поднимался с кресла. Хотя были и отличия: «В этой коммунальной квартире был водопровод, на кухне газовая плита, туалет, хотя один на всех двадцать жильцов, но городского типа. А еще был телефон! В те времена немногие могли похвастаться наличием телефонной связи! Лаврскими, Троицкими, Мещанскими наши улицы и переулки назывались потому, что до революции земля под ними принадлежала Троице-Сергиевой Лавре и сдавалась в аренду мещанам. Я, конечно, в детстве ничего этого не знал, мне казалось, что название связано с лавровым венком, или с лаврушкой для готовки, или чтобы как-то там почивать на лаврах. Дома родители-атеисты не могли правильно нам рассказать о происхождении названий. Недалеко от нас находился Уголок Дурова. Он был маленьким, и таким крупным животным, как слон и верблюд, в нем было тесно. Поэтому их время от времени выводили и прогуливали по нашим переулкам! Совсем близко с нами располагался дом-музей Васнецова, срубленный художником в виде старинного терема».

В нем рано проявилось стремление к рисованию и лепке. Благодаря случаю, его скульптуру заметила врач, пришедшая к отцу. Она разглядела в двенадцатилетнем мальчике талантливого художника. Благодаря ей, выдержав экзамены и огромный конкурс, он поступил в элитарную художественную школу имени Сурикова при Академии художеств СССР. Во многом взгляды Анатолия формировались под

влиянием тех перемен, которые происходили в стране во время правления Никиты Хрущева: «В шестидесятые годы в Советском Союзе стала резко меняться жизнь во всех ее областях. В политической жизни после XX съезда КПСС, разоблачившего культ личности в 1956, пошатнулись незыблемые коммунистические идеалы. Был открыт «железный занавес», а VI Всемирный фестиваль молодежи, прошедший летом 1957 года, стал взрывным событием для юношества, навсегда изменившим мир советских людей. В научной жизни происходило стремительное освоение космоса, начинал зарождаться бурный научно-технический прогресс. Были реабилитированы заклеянные как лженауки, кибернетика и генетика. С головокружительной быстротой развивались автоматика, радио и телемеханика. Менялось всё: образ жизни, вкусы, мода. Появился советский андеграунд. В подполье печатался “самиздат”. В среде художников начинались авангардные поиски новых форм и идей. В воздухе пахло весной перемен!

Будущее виделось фантастическим, как суперцивилизация. Молодежь живо воспринимала новое и, опережая время, неслась в мечтах в XXI век. Я тоже был молодым и бесшабашно с головой ушел в поиски революционных идей, новых форм, новой среды обитания. В Суриковской школе нам было душно от прессующих нас догм соцреализма. Приходилось раздваиваться: на уроках тени предков — Репина, Сурикова, Поленова, вне школьных стен — Шагал, Кандинский, Малевич. В последних классах СХШ сблизился со старшими ребятами, закончившими ту же школу, что и я. Их лидер, Лев Нусберг, создал группу “Движение”, к которой ненадолго примкнул и я. Среди разнообразных художественных открытий XX столетия конструктивизм представлялся мне тогда наиболее привлекательным направлением, которое могло завоевать и по-новому организовать окружающую среду и пространство. А идеи кинетики и синтеза искусств сулили множество неизведанных изобразительных возможностей. В это время, в возрасте 17–18 лет, я находился в периоде богоискательства. Я не был еще христианином, но верил во Вселенский Божественный Разум, и мои религиозно-философские идеи находили свое воплощение в моих космических фантазиях».

В эти же годы в нем формировалось отношение не только к искусству, но и к жизни. Немалую роль сыграло знакомство с иконой: «Чтобы быть свободным и иметь возможность заниматься любимым искусством, поступил в Полиграфический институт на художественное отделение. Там получил профессию художника-графика и стал успешно работать в разных издательствах, зарабатывая на жизнь книжными и журнальными иллюстрациями, оформительскими работами, плакатами, много передач проиллюстрировал на телевидении. В те же годы проснулся в обществе интерес к старинным иконам. Я со своим товарищем начал предпринимать поисковые экспедиции в Подмосковные области и привозил оттуда замечательные образы очень высокого ремесленного уровня. Мне, как художнику-графику, техничность старинных изографов была видна и понятна и приводила в восхищение».

Он крестился в 1967 году. Это был его свободный выбор. Крещение происходило в Пименовском храме, неподалеку от метро Новослободская. Его крестный, Глеб Сергеевич Лапшин-Ветский, познакомил его с Ольгой Николаевной Вышеславцевой, тайной монахиней, а она, в свою очередь, познакомила его со святоотеческим наследием и «катакомбной» церковью. Он вспоминал эти годы так: «В том же 1967 году у меня произошло еще одно важнейшее жизненное событие — я женился на своей сокурнице Нине Александровне Колчиной, которая стала моей спутницей на трудных путях жизни, уже пятьдесят третий год. Парадокс ее судьбы в том, что она выходила замуж за художника, а стала попадшей! При этом она с поразительной легкостью приняла и разделила мои духовные поиски, потом сознательно приняла православие, крестилась, а в 1980 году стала матушкой и согласилась разделить со мной тернистый путь священнослужителя в советское богоборческое время. И, хотя была дочерью замминистра среднего машиностроения, не роптала на свою судьбу и не искала, не стремилась к обеспеченной комфортной жизни, довольствовалась тем, что имела.

Осознанно принятое мной крещение полностью изменило мое сознание, видение смысла и цели жизни! Впервые, близкое соприкосновение с иконами привело меня к убеждению, что лучшей реализацией моих художественных

возможностей на пути служения Богу будет иконопись, во вторых, моему сознанию открылся смысл слов апостола Петра: «Вы царственное священство...», и я понял, что высшим призванием для мужчины в этой жизни является священство! И поставил для себя целью стать священнослужителем. Но в советское время это сделать было непросто». Духовником он избрал московского священника Николая Ведерникова. В течение девяти лет трудился у него алтарником сначала в храме Рождества Христова в Измайлове, а затем в храме Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском. Зарабатывал на жизнь тем, что писал иконы: «... я писал по заказам иконы аналойного размера и за скромные суммы реализовывал их. Иногда заканчиваешь писать образ, впереди заказов нет — что делать, как дальше жить, на что? И вдруг опять откуда ни возьмись новая просьба написать иконку! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! За годы, прошедшие до января 1980, я несколько раз предпринимал попытки принять священнический сан, но всякий раз светские власти вмешивались и не давали разрешения рукополагать меня в разных епархиях». Все его попытки рукоположиться наткнулись на противодействие светских властей, которые стремились не допускать к священническому служению молодежь с высшим образованием.

В 1980 году, наконец, нашелся епископ, который рукоположил молодого иконописца: «Наконец, архиепископ Курский и Белгородский Хризостом (Мартишкин) осуществил мою мечту, но спросил перед рукоположением меня: согласен ли я стать священником без прихода? Хотя это был страшный риск, быть тайным пастырем, я, не задумываясь, ответил, что готов! Господь уберег меня и семью (у меня было тогда трое детей) от исповеднического пути, и владыка рукоположил меня в сан дьякона в Рождественский сочельник, а в иереи — на второй день Рождества, после соборной двухнедельной практики отправил меня на приход в Казачью Лисицу.

Зима в тот год была лютая, храм не отапливался, пришлось хлебнуть горюшка! Прихожане могли еще немного согреться возле буржуйки посреди церкви, а в алтаре отопительных приборов не было. Я включил тепловентильтор, он тут же перегорел. В крошечном домике священника,

возле храма и кладбища, я в одиночестве коротал зиму и весну, поскольку семья осталась в Москве, сын учился в той же Суриковской школе, что и я. Правда, раза два в месяц я приезжал домой, а на весенние, осенние, зимние каникулы и все лето мы жили вместе на приходе. Много интересного и не совсем обычного можно было бы рассказать о жизни и служении на первом приходе».

Сегодня многие рассуждают о том, кто же из русских епископов был в 70-е и 80-е годы самой яркой фигурой. Для меня архиепископ Хризостом был и остается героической фигурой. Достаточно перечитать Отчетные доклады заместителя председателя Совета по делам религий Василия Фурова, которые он ежегодно готовил для ЦК КПСС, чтобы согласиться со мной. За десять лет служения в Курской и Белгородской епархиях владыка Хризостом рукоположил 150 молодых интеллигентных людей. За эти же десять лет Совет по делам религий был вынужден сменить десять уполномоченных! Молодой священник Анатолий Волгин был счастлив и трудился, не покладая рук: «Я стал священником, мог полностью отдать себя на служение Богу и людям, и это удовлетворяло меня полностью. Не искал хорошего, благоустроенного места, а ставил задачей преобразить в таковое данное мне. Через полгода владыка Хризостом перевел меня в маленький, вроде Кувшинова, городок Грайворон. Если я не скучал в Казачке, то здесь было трудов непочатый край. В чем заключается особенность священнического служения? В его универсальности. Священник, особенно в реалиях советской действительности, должен быть человеком-оркестром. И чтец, и жнец, и на дуде игрец! Мне приходилось, помимо непосредственных своих обязанностей, быть проектантом, строителем, снабженцем, иконописцем, прорабом, писарем, учителем. Еще взялся за создание большой теоретической и учебной работы по иконописанию. Для музыкантов здесь имеется прекрасное поле приложения сил и талантов».

В 1984 году владыку Хризостома все же отправили в ссылку — в далекий Иркутск. После смещения владыки Хризостома ситуация в епархии резко поменялась: «В Грайвороне я прослужил три с половиной года. В 1984 году владыка перевел меня служить в промышленный город Старый Оскол, где

пробыл еще полтора года. Не буду перечислять дел, переделанных на этих трех приходах, но архиепископ Ювеналий (Тарасов), сменивший на Курско-Белгородской кафедре владыку Хризостома, под давлением светской власти стал разгонять ставленников своего предшественника, кого куда, а меня — за штат, с правом перехода в другую епархию. Надо отметить, что в советские годы действующих храмов было очень мало, а вакансий и того меньше. Я отметил у управделами МП и стал ждать у моря погоды. Знакомый епископ давал мне заказы на аналойные иконы, таким образом в течение полугода обеспечивал семью.

Однако будущее было во мраке, и матушка Нина стала унывать. Как-то она молилась в Покровском храме, что в Медведкове, возле образа Николы, и поплакалась ему. Напомнила, сколько всего мы сделали для его храма в Грайвороне, и попросила не оставлять нас своими милостями. Вечером того же дня позвонил мне отец Владислав, который до меня служил в Василькове около восьми лет, и попросил принять приход, поскольку он переходит в другую епархию, а митрополит Алексей (Коношев) отпустит его, если только он найдет себе замену. Владыка Алексей отбывал срок в сталинских лагерях, затем воевал в Великую Отечественную, был ранен. Сначала мы с матушкой отказались ехать в неведомую деревню, но, узнав, что храм посвящен Николе Угоднику, резко переменили свое решение и поехали в Калинин предстать пред ясны очи митрополита Алексия. Поистине, Никола — скорый помощник...».

Тверская епархия поразила молодого священника нищетою: «Какие первые впечатления от приезда в кувшиновский край? Впечатление крайней бедности. Мы сначала всё возили из Москвы: и еду, и гвозди, и краску, ведь мы с 86-го по 90-е годы расписывали Никольский храм, и даже овощи везли из столицы, пока не обзавелись своим огородом. Я вовсе не расстроился, но было жалко бедный, бедный народ. Таскать множество всего на своем горбу пять км было трудно, приобрел двухколесный мотоцикл, стало легче! Потом купили “Урал” с коляской, несколько лет и зимой, и летом ездил на нем. Постепенно привык, привязался к людям, к месту».

Тем не менее, в течение 35 лет он прослужил в Кувшиново, построил и возродил несколько храмов. Дарил свою

любовь людям, они отвечали ему тем же. Спустя много лет о нем вспомнили искусствоведы и предложили экспонировать его работу: «Независимо от моих интересов в 2014 году новая художественная галерея устроила в Москве выставку “50 лет Движению”, на которую меня попросили восстановить старую работу – мобиль под названием “Начало”. Мы выполнили просьбу, и кинетический объект, освещаемый светомузыкальной установкой, экспонировался на выставке. Прошло время, и на меня вышли организаторы новой выставки, которая состоялась в середине февраля 2020 года в Петербургском Манеже (выставка была подготовлена совместно с Государственной Третьяковской галереей и представила выставочный проект “Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России”, посвященный одному из самых значимых направлений в современном искусстве – кинетизму.) Меня попросили опять восстановить модель моей работы, чтобы увеличить ее до четырех метров и разместить в начале выставочного помещения».

Композицию «Начало» он создал еще в студенчестве, в 1966 году. В работе отразились философско-религиозные поиски, захватившие художника в то время. Спираль разворачивается в пространстве из ядра, пронизанного крестом,



*Кинематическая композиция «Начало».
Выставка в в Манеже. Санкт-Петербург. 2020*

который виден только в центре. Сама спираль имеет три витка и делится на семь частей, у каждой из которых по семь отправных точек. Их этих точек исходят нити — скелет мобилиа. Завершается все кругом — символом вечности. «Семь» в библейской культуре означает полноту; семь, умноженное на семь, — это совершенная полнота. Выбор цвета конструкции тоже символичен. Белый содержит в себе весь цветовой спектр. Объект, представленный на выставке «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» — это увеличенная в несколько раз копия его юношеской работы. Ее специально для экспозиции в Манеже создала творческая мастерская «ARKI Arquitectura Kinetica».

Последние годы его жизни были до предела насыщенными: «Последние десять лет я увлекся изготовлением витражей для Амвросиевского храма и приписного к нашему приходу храма Германа и Нила Столобенских в Соснице на Селигере. Витражи меня заинтересовали тем, что существующее изображение на них остается глухим и невидимым, пока не коснется их свет. Свет оживотворяет витраж, как Дух Святой пробуждает к жизни творение». Помимо приходской настоятельской деятельности с июля 1996-го по июль 2011-го годов он выполнял послушание благочинного



О. Анатолий за работой над витражом. Кувшиново. 2015

Осташковского округа, в который входили Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Кувшиновский районы, всего 26 храмов. Также с декабря 2000-го по январь 2017-го годов нес послушание председателя Епархиального суда, был членом Богословской комиссии и членом группы по организации процесса создания иконостаса Спасо-Преображенского собора в Твери на Советской улице. Написал и издал целый ряд книг*.

Отец Анатолий с благодарностью вспоминал тех священников и епископов, с которыми его сводила жизнь: «Мне в жизни повезло, я имел счастье быть знаком с яркими священнослужителями нашего времени и удивительными христианами в миру, такими как митрополит Антоний Сурожский, протоиерей Александр Мень, протоиерей Дмитрий Дудко, протоиерей Владимир Смирнов, прекрасный православный писатель, протоиерей Николай Агафонов, богослов Борис Саввич Бакулин, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Илия (Ноздрин), архимандрит Алипий (Воронов) и другие замечательные насельники Псково-Печорского монастыря, архимандрит Серафим (Тяпочкин), схиигумен Савва (Потапов), архимандрит Таврион (Батозский), экзорцист, архимандрит Афиноген (Агапов), великолепный регент Лаврского хора, архимандрит Матфей (Мормыль), он преподавал мне первые уроки церковного чтения. Относительно священнического служения отмечу, что в кувшиновском крае или в любом другом месте, нам, священникам, положено — Богу служить, оглашенных крестить, крещеных миропомазывать, супружеские пары венчать, кающихся исповедовать, верных причащать, больных соборовать, умерших отпевать, дома освящать, проповедовать Слово Божие и толковать Его». О Борисе Савиче Бакулине он так писал мне в 2020 году в письме-отклике на мою о нем статью: «Дорогой, возлюбленный о Господе Сергей Сергеевич! Статью я прочитал, она мне понравилась. Вспомнил, как Борис Савич мне сказал знаменательную фразу: “Толя, самая счастливая пора моей жизни началась, когда мне исполнилось 60 лет”. Тогда ему было за восемьдесят. И еще я спросил Б. С., есть ли у него в Альметьевске друзья, близкие по духу люди? Он сказал, что это — книги в его библиотеке. В-третьих, я вспомнил его

* См. библиографический список его трудов в конце статьи.



О. Анатолий с приходскими детьми. Кувшиново. 2019

рассказ, как он принес в издательство очередной том своего словаря, митр. Питирим сразу открыл страницу на “Ж” и, пробежав наскоро глазами статью про свой журнал, вырвал ее с корнем из книги. Но том оставил себе и деньги заплатил. Получал Б. С. за свой неоценимый труд весьма скромное вознаграждение. Я в ту пору писал иконы на заказ и очень дешево их оценивал. В результате, выходила в месяц сумма около не то трех тысяч, не то трехсот рублей (не помню, как был курс), и он получал столько же. А жили мы на эти деньги довольно скромно».

12 января 2021 года в Кувшиново было совершенно отпевание отца Анатолия. Отпевали его семь священников. Похоронили возле Амвросиевского храма, которому он посвятил часть своей жизни. Поразительно его самоотверженное служение. Немногословный, иногда он поражал мудростью суждений. Когда во главе Тверской епархии поставили молодого епископа, я спросил его, как он расценивает это назначение. «Боюсь высоко превознесенной молодости!» — кратко ответил он. «В память вечную будет праведник!» Вечная память тебе, приснопоминаемый отец Анатолий!

Из воспоминаний друзей и прихожан об отце Анатолии

* * *

«Дорогие, любимые Оля, Анечка и Рома, я горюю, я плачу вместе с вами об этой невосполнимой, горькой утрате. Теперь ушла и Нина вслед о. Анатолия. Я вспоминаю и плачу, помню даже то, что было 50 лет назад: наш первый приход в Ивановский храм с мужем и крестной — Ольгой Николаевной Вышеславцевой. Нас встретил Толя, тогда студент Полиграфа, встретил так, точно только и ждал нашего прихода, а с ним и начала той дружбы, которая дальше крепко связала нас с Толей и Ниной, а наших детей с вами. Она, эта дружба дала так много радости, разделенной любви к Богу и между нами. Я помню Рому тех лет — белокурого ангела, ребенка редкой доброты и даже мудрости. Помню, Анечка, твое рождение и крещение, ты и тогда смотрела серьезным неподкупным взглядом. А Олино рождение так обрадовало Толю, что он советовал ей не вырастать, не взрослеть, он будет с восторгом за маленькой ухаживать. Это всё было.

Я помню наш первый — всей семьей приезд в Грайворон на Преображение. Толя уже священник, всем нужный, всеми любимый. Нина с выводком детей (уже трое) — хозяйка дома, в котором уже с десяток гостей, да еще мы приехали. Но мы желанные, нам тут же показывают огромный храм, где уже подправлены росписи, написана надвратная икона. Толя ведет нас в город в парк, залитый щедрым южным солнцем, с плакучими ивами над речкой. Красота, эта божественная категория никогда не оставляла вашу семью. И эту красоту о. Анатолий Волгин и Нина творили вокруг себя и щедро делились. Помню и волшебное Рождество в Грайвороне.

А потом началось Васильково, а с ним причастность к той глубине и красоте, которую Толя и Нина приняли, приумножили своим талантом и ввели в нее целый мир людей, от мала до велика. А мы были благодарными свидетелями превращения захолустного угла нашей России в духовный и культурный центр, очаг любви, согревающий стольких, приходящих к нему.

Это так много, так нечасто бывает. Никто другой в моей жизни так безоглядно, так щедро не делился всем, что

имеешь, как это делали батюшка Толя и матушка Нина. Это по-настоящему, это по-евангельски. Люди насыщались и шли дальше, не изнемогая в пути. А у дающих не убывало. Низкий им поклон и благодарность. Царствие небесное».

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА (УТЕНКОВА)

* * *

«Это был человек универсальных знаний. С ним можно было говорить о Толстом, Лескове и Достоевском, о тринитарных и христологических вопросах Вселенских соборов, о богословии иконописи, о философии, поэзии, которую он прекрасно знал, наизусть цитируя поэтов Серебряного века и современности. И в каждой из этих сфер батюшка имел глубокие энциклопедические познания. Но при всем этом, нигде не выпирало его собственное “я”, так вьевшееся теперь в современный лексикон. Это было видно, когда в фильме А. Полушина батюшка рассказывает о своем близком общении с духовными старцами, употребляя местоимение “мы”, а не “я”. И вообще, он как-то умел уйти “в тень”, не позиционировать себя на главные роли, не на словах, а на деле, незримо показывая добродетели кротости и смирения, не тыча ими в глаза окружающих. При всем при этом о. Анатолий был похож на небольшой ядерный реактор, использующий энергию исключительно в мирных целях, энергию, которой заряжались все возрасты и сословия, соприкасавшиеся с ним. Там, где появлялся батюшка, структурировалось пространство: куры начинали нестись, коровы доиться, люди — улыбаться, балы — кружиться, Рождественские ярмарки — петь и плясать. Но главным в его жизни всегда была Литургия, это был центр и смысл того самоотверженного служения, когда, забывая все свои болезни, по русским ухабистым дорогам, в любую погоду, в зной, слякоть и мороз, в ночь после всенощной или в ранние утренние сумерки, спешил на дальние приписные приходы, чтобы провести полноценную службу, с глубокой проповедью, иногда с крестным ходом, поисповедывать и причастить жителей окраины Тверского благочиния. Более того, наряду с основным, духовным окормлением, на послеслужебную трапезу батюшка привозил, например, десятилитровую мультиварку с тушеным мясом и салат из кальмаров.

И все это казалось естественным, само собой разумеющимся, как воздух. Это было потому, что батюшка ничего не делал наполовину, все было подчинено главному — жертвенному служению Богу и людям. Ф.М. Достоевский сказал, что человек — это тайна, и я разгадываю ее всю жизнь. Отец Анатолий Волгин, при всей его доступности и простоте, был и остается тайной. Тайной, которую знает только Бог.

А мы любили батюшку и будем любить. Любовью, крепкою, как смерть».

МАКСИМ ЧОПОРНЯК

КНИГИ АВТОРСТВА ПРОТ. А. ВОЛГИНА

*(часть под псевдонимом Анатолий Гин,
часть в соавторстве)*

1. Гин А., Андржеевская И. 150 творческих задач о том, что нас окружает. М.: Вита-Пресс, 2014.
2. Гин А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность. М.: Вита-Пресс, 2013.
3. Гин А. Сказки-изобреталки от кота Потряскина (для детей младшего школьного возраста). М.: Вита-Пресс, 2012.
4. Гин А., Кудрявцев А., Бубенцов В., Серединский А. Теория решения изобретательских задач. Учебное пособие I уровня. М.: Вита-Пресс, 2012.
5. Волгин А., прот. Чего мы не знаем об иконе. М.: Данилов монастырь, 2012.



ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ



*К столетию Русского студенческого
христианского движения за рубежом*



НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВ

Письма к будущей жене

Публикуемые письма представляют собой начало — первые 19 листов из 134 — серии писем отца Николая Афанасьева к Марианне Николаевне Андрусовой, своей будущей жене. Письма хранились в семейном архиве Афанасьевых, любезно переданном мне внуком отца Николая, Николаем Анатольевичем Афанасьевым. Оригинал, с которого сделана эта публикация, — машинопись, напечатанная заботливыми руками М.Н. Афанасьевой и снабженная ею обильными рукописными примечаниями и комментариями об упомянутых в письмах людях и событиях.

Письма охватывают сравнительно небольшой промежуток времени, чуть меньше года — с сентября 1924 по начало августа 1925. Переписка, таким образом, была очень интенсивной. Это неудивительно, если иметь в виду ее обстоятельства. Знакомство Николая Афанасьева, студента

Богословского факультета Белградского университета, и Марианны Андрусовой, дочери известного академика-геолога Николая Ивановича Андрусова, произошло в июле 1923 г. на студенческой христианской конференции в замке Штернберк (или Штернберг) в Чехии¹ (эта конференция подготовила знаменитый «учредительный» съезд РСХД в Пшерове в октябре 1923 г.). После встречи в Штернберке между Николаем Афанасьевым и Марианной Андрусовой завязалась переписка. Первая серия писем — от августа до сентября 1923 — не сохранилась². В публикуемой серии мы находим корреспондентов в середине их романа в письмах.

Публикация начинается открыткой и двумя короткими письмами Афанасьева Сергею Сергеевичу Безобразову (впоследствии — епископу Кассиану). Они относятся к февралю и марту 1925 г. — год указан в дате третьего письма — и тесно связаны с письмами будущего отца Николая М.Н. Андрусовой. Марианна Николаевна справедливо поместила их перед адресованными ей письмами своего мужа, так как они служат как бы введением к переписке.

Машинопись изобилует многоточиями: по всей видимости, Марианна Николаевна опустила места, которые казались ей маловажными. Вероятно, она предполагала публикацию писем. На это указывает тот факт, что первые письма, вместе с примечаниями Марианны Николаевны, переведены на французский: восемь страниц французской машинописи сохранились в той же папке, в которой хранился и русский оригинал текста писем.

Письма богаты фактами и располагают к обильному комментированию. Я сделал, однако, лишь самые необходимые примечания, облегчающие понимание событий и малоизвестных лиц, которые упоминаются в письмах. О лицах более известных легко найти справочную информацию в специальной литературе или Интернете.

* * *

Сокращения раскрыты без специальных указаний. Вставки публикатора помещаются в квадратных скобках, а предположительные чтения — в угловых. Если орфография автора расходится с современной, как правило, предпочитается современная. Пунктуация приближена к современной, но осо-

бенности авторской пунктуации, если они не противоречат кардинально современным правилам, сохранены. Примечания, принадлежащие самой Марианне Николаевне, сопровождаются ее инициалами (М.А.). Остальные примечания сделаны публикатором.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ

Три письма Н.Н. Афанасьева к С.С. Безобразову

26 февраля [1925 г.]. Открытка³

Дорогой Сергей Сергеевич,

завтра я напишу тебе подробное письмо, а пока прошу тебя о следующем. 17 февраля по старому стилю (2 февраля по новому) день именин М.Н. Андрусовой (ее адрес: 15, Rue Duguay-Trouin, Paris VI, около Люксембургского сада). Купи цветов на 30 франков или больше (деньги денежным пакетом высылаю сегодня) и поздравь от меня. Прости, дорогой мой, что тебя беспокою, но ни к кому, кроме тебя, не могу обратиться. Пишу заранее открытку, т.к. боюсь, чтобы деньги не запоздали. Целую тебя крепко,

Твой Н. Афанасьев

27 февраля

Дорогой мой Сергей Сергеевич, посылаю тебе деньги и вновь прошу сделать для меня эту большую услугу (*повторение просьбы и адреса⁴*). Если опоздаешь, все равно купи и передай.

Вместе с этим письмом посылаю тебе заявления, относящиеся к Академии. Мы все очень жалеем, что совсем нет сведений об Академии. К сожалению, ничего нельзя у нас сделать. Я разослал только по русским приходам воззвание о пожертвовании, но пока ничего не поступило⁵. У меня возникла мысль устроить концерт, кстати сюда приезжают художественники, но не знаю, как к этому отнесется о. Петр⁶.

Мои дела с кружком⁷ отвратительны — так оборвались, что вряд ли можно поправить. Резолюцию Бюро⁸ о том, что все доклады должны быть проникнуты духом любви, назвали подлой, заговорили о подозрительной роли Бюро и пустили

слух, что окончательно выяснилось о масонстве Бюро⁹. Я многое приписываю П.С. (Лопухину¹⁰) и думаю, не без основания — к сожалению, он сейчас во главе кружка и дает ему тон. Особенно я поражен С.М. (Зёрновой). Я даже не ожидал, что так она легко может отказаться от всего того, что раньше говорила. Даже Володя (Зёрнов) спросил: «Зачем ты, Соня, ездила на конференции»¹¹?

Но Бог с ними, мне ужасно тяжело, но сделать ничего нельзя. Прежнего кружка нет, есть что-то новое, для меня совершенно неприемлемое.

Будешь иметь несколько свободных минут, пиши мне, не забывай, дорогой Сергей Сергеевич. Целую тебя крепко.

Любящий тебя Ник. Афанасьев

16 марта 1925 г.

Дорогой Сергей Сергеевич, я начал сегодня писать тебе, но, к сожалению, пришлось до 11 часов просидеть в президиуме, оттого не мог окончить письмо. Но мне очень хочется написать тебе, хотя бы несколько слов. И прежде всего я еще не поблагодарил за цветы. — Ты сделал мне большое, большое одолжение, и цветы оказались очень хорошими и понравились.

Теперь немного о делах: я отнес Твое письмо Карусевич¹² и говорил с нею, пока она не дала никакого ответа, но обещала на этих днях. Относительно требника я писал уже Тебе и жду Твоего ответа, катехизис pošлю на этих днях, жду митрополита, т. к. в продаже его нет. Что же касается сбора учебников, выясняем, у кого есть.

Я очень рад всегда сделать что-нибудь для Тебя и всегда надеюсь, что Ты обратишься ко мне.

Целую, Тебя Любящий Ник. Афанасьев

Письма Н.М. Андрусовой

Монастырь Петковица. 21 сентября 1924 г.¹³

... Скоро неделя, как я в монастыре... я опьянен и пленен красотой окружающей природы...¹⁴ С одной стороны горные цепи, поросшие лесом. На одном из склонов приоткрылся монастырь. А чуть поднимешься выше, с другой стороны открывается равнина, уходящая за горизонт. Поля, кое-где прерываемые лесом. Все эти дни тихо, ветер не шелохнет. Та же тишина

обхватывает, когда войдешь в лес. И в этой тишине чувствуешь какую-то особую притаенную жизнь, как непрошенный гость, входишь в другое царство и нарушаешь его покой.

Не думать, не мыслить, забыть все, а вместе с этими цветами и травой наслаждаться осенним солнцем, которое так ласково и нежно. И лишь вечерами, когда так ярко сияют звезды, к родным и близким тянешься душой, и хотелось бы быть с ними. С ними пойти в эту освещенную полянку или с каким-то трепетом войти в этот таинственный лес.

И часто, часто повторяю я здесь мои любимые слова: «мира восторг беспредельный»¹⁵. И в этом царстве, среди этого праздника красоты, в определенный час зазвучит колокол, несколько черных фигур медленно потянутся в церковь. Тускло горящая свеча, едва освещающая сумрак церкви, заунывный голос чтеца, старинные напевы. Какой-то сладкой болью наполняется душа. Болью, о чем не знаю. Но среди молитвы неожиданно подымется недоумевающий вопрос. Зачем эти черные одежды, эти печальные напевы, низкие поклоны? Разве Христос не есть свет, радость, красота, радость, побеждающая скорбь и печаль, красота, сильнее смерти и победившая смерть. Порою кажется: вот эти люди, что они не увидели ли этой красоты и радости, или в ней увидели что-то такое, отчего вдруг сразу побледнели краски и поблекли цветы?

Пишу Вам это, а сам неожиданно вспомнил Франциска Ассизского, вспомнил его «Цветочки». Значит не все такие, но почему у меня здесь такое чувство? Сам не могу разобраться в своих впечатлениях: ведь я первый раз живу в монастыре, живу один в келье.

... Живу в келье владыки Вениамина¹⁶, а он перешел в архиерейский покой. Первое время по приезде я несколько ночей ночевал в одной с ним комнате. Я с ним, как и предполагал, встретился в Шабаце. Много с ним разговаривал, главным образом, о кружке. Видел Вашу подпись на письме от конференции к нему. Я очень рад, что в вопросе о политико-национальном характере кружковой деятельности я с ним совершенно согласен¹⁷.

Белград, 5 октября 1924. В Прагу

Часто пишу Вам о радости, и думаю, что могу Вам это писать, я сам много страдал, и сейчас не мало страданий.

И все-таки, как много у нас с Вами радостей, одно уже: верить и жить верой, верить не только в одно, но и одинаково (а мне думается, что мы так верим). В последнее время я чаще и чаще убеждаюсь, что легко первое, но как трудно второе. А разве те, среди которых Христос, могут не радоваться. Давайте обещаем друг другу, что не будем падать духом, будем уметь находить среди того, что посылает жизнь, радость солнечную, яркую, будем верить, что иго, которое мы взяли, благо, и бремя легко.

В пятницу прошлой недели у нас был доклад¹⁸ одного члена кружка, Апрелева, о его поездке на Афон... Живут там русские очень бедно, особенно нуждаются отшельники и, главным образом, в одежде (к отсутствию еды они привыкли). Я хочу попробовать собрать немного денег и просить консула нашего в Салониках купить им одежду...

10 октября 1924 г. В Прагу (но послано в Ним)

... Я немного уже писал Вам о монастыре. Прошло уже много времени, как я вернулся, но впечатление от поездки еще не совсем изгладилось.

12 октября

... В открытке я писал уже Вам, как скандально прошел экзамен (по русскому языку): из 14¹⁹ человек прошло только 4. Я едва-едва выдержал (при десятибальной системе получил 6), Николай Михайлович (Зёрнов) — 4, была даже одна двойка. Это небывалый случай на нашем факультете, не выдержало 75%. Сегодня должно быть собрание, чтобы обжаловать в факультетский совет.

... Может быть, Вы помните, какое странное, двойное впечатление оставил на меня монастырь. С одной стороны, мне было хорошо, а с другой, я не мог избавиться от какого-то тяжелого, гнетущего чувства. Было время, когда я признавал монашество только лишь психологически, но не метафизически, я не видел в монашеской жизни объективной ценности, а лишь особый уклад, особое своеобразие личной жизни и личного пути. Сейчас я по-другому думаю, а от старого осталось то, что я не вижу особой ценности в монашеской жизни перед жизнью в миру. Я часто писал Вам, как я тянусь к «солнечному христианству», где свет побеждает тьму, где

белый цвет господствует над черным. Все язычество было стремлением к радости, к красоте, и только в христианстве чаяние мира страждущего и страдающего нашло свое осуществление. «И радости вашей никто не отнимет» [Ин. 16: 22]. Как солнечный свет поглощает бледное мерцание звезд, так и та радость, которой жил грек и римлянин, не отвергнута в христианстве, она присутствует в нем, как и звезды продолжают светить и днем. Помните:

Все, чем красна Афродита земная
Радость лесов и лугов и полей,
Все совместит Красота неземная
Чище, светлей и полней
(Вл. Соловьев).

Я знаю, что и в монастыре есть эта радость, звучит она там полней и чище, и всякий раз, когда я вижу вл. Вениамина, я чувствую в нем ее.

Но или потому, что она дается лишь в конце, лишь силою нудится, как часто другое настроение является доминирующим, недаром черный цвет — монашеский цвет! Знаю хорошо и то, что по Петковице судить нельзя, там собственно и монастыря нет, все развалилось: остались всего лишь несколько монахов, которые друг друга терпеть не могут. Единственной радостью были службы, хотя и длинные. Я первый раз в своей жизни читал в церкви и прислуживал владыке. Он один служил все время. Куда-то исчезали сумрачные лица, душу обхватывала иная красота, особенно во время литургии. Вообще, если бы не вл. Вениамин, я не прожил бы [там] и одного дня.

... Я наслаждался природой, много бродил. Как странно, всю свою жизнь, мечтал жить в деревне, и все время за маленькими перерывами прожил в городе. Когда шел к реке и потом был в монастыре, старые мечты вновь всплыли, и я думал, что, если когда-нибудь вернусь в Россию, так устрой свою жизнь, чтобы быть в деревне, а не в городе.

Вскоре после приезда мне пришлось, как вы знаете, услышать доклад о поездке на Афон одного из наших членов²⁰. Я с захватывающим интересом прослушал весь доклад. Как в сказке воскресали перед взором изнеможденные, с горящими глазами, лица монахов, живущих десятки лет в лесной чаще, отвесные скалы со свешивающейся над бездной

тропинкой и в скале, как ласточкины гнезда, одинокие домики. Десятки лет проходят, как дни: молитва, несложный обед и искушения, искушения. Всюду бесы, каждый шаг подстерегают, каждую мысль подхватывают. Все до жути реально: там они избил отшельника, а здесь завалили его хижину таким камнем, что несколько человек не могут сдвинуть с места. В зимних завываниях ветра, в лунные ночи — они. Как-то внутренне не могу понять этого, да не хочу и задумываться. Когда представишь себе восьмидесятилетнего старца, прошедшего сорок лет в глухом лесу или на головокружительной высоте над морской бездной, с несколькими сухариками в день и незатейливой похлебкой, едва прикрытого лохмотьями, то невольно преклоняешься перед его любовью ко Христу и перед силой человеческой воли. Так надо жить или иначе — совсем другой вопрос, лучше подумать о том, как помочь им в том, в чем они нуждаются. Мы живем иначе, иным путем мы пошли, так сделаем по крайней мере так, чтобы они могли помолиться и за нас. Подумайте, они не всегда могут совершать Евхаристию, не всегда бывает вина. Вот они, по рассказам, только и говорят о радости своей жизни. Почти не люди, живые скелеты и только горящие, почти безумные глаза.

Мало любви в мире осталось, охладела она, рассказывают на Афоне, — перестали молиться люди, начало конца, но терпит еще Господь, есть еще праведники на земле, еще отмаливают они грехи. В самых неприступных местах Святой Горы, куда не может пройти человеческая нога, живут эти старцы, и когда умрут они, тогда будет кончина мира.

«Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас» — на эту молитву в самых диких местах отзовется отшельник; но не скажете ее, напрасно будете стучать в его одинокую келью, глухо и мертво будет кругом, не откроет Вам двери старец, ибо так часто в его хижину по ночам стучит бес. С радостью встречают Вас, ухаживают за Вами, как за ребенком. «Вот вчера не было у нас ничего, а как пришли гости, так и есть, что покушать. Матушка прислала». Удивленно смотрите на старца, но не земная, а небесная Матушка. Но все же люди, только недостатки их, слабости их сильнее видны, как днем виднее все неровности.

Год тому назад, на Пасху, от нашего факультета ехали студенты на Афон. Я отказался, и вероятно, не надо мне там быть.

Да, правы старцы, мало любви, но как много злобы, ненависти. Как страшно подумать, что мало верить во Христа, как верующие люди стараются причинить друг другу зло. Живем мы сейчас в такой атмосфере недоверия и злых напештываний. Вопрос о создании Академии породил множество толков. С разных углов несется шепот: «еретики, еретическая Академия». В протянутую руку кладут камень. Те, кто тянется в церковь, кто любит ее, как святыню, от людей, которые должны быть пастырями, слышат только одно: ма-сонские деньги, еретики профессора. От нас отвернулись наши иерархи. Карташев, о. Сергей, Василий Васильевич²¹ внушают им страх, в особенности Карташев. Какие только обвинения не выдвигают против Карташева, и не только религиозные, но и политические, его участие во Временном Правительстве, его приятие революции. Сергей Сергеевич²² сделал все, что возможно, чтобы как-нибудь примирить архиепископа Феофана, но чем дальше, тем хуже. Надо сказать, что немалую роль сыграла и группа студентов-богословов во главе с одним из наших приходских священников²³. Да что говорить о посторонних, много ли найдется в нашем кружке лиц, которые бы и в этом случае, если ректором не будет архиеп. Феофан, защищали бы необходимость Академии и не усумнились бы в ее православии! Можно сказать определенно, если вопрос об Академии будет поставлен на соборе, он будет провален. Но по последним сведениям из Парижа — если Вы об этом не знаете, то это совершенный секрет — митр. Евлогий не думает поднимать его, мотивируя тем, что еще не выкуплен дом для Академии. Открытие Академии откладывается на неопределенное время, а пока открываются пастырские курсы, что вправе сделать сам митр. Евлогий, не спрашивая согласия собора. По всей вероятности, о. Сергей переедет в Париж в очень скором времени, и, если даже не будет и пастырских курсов, то будет образован новый приход, с приходским священником о. Сергием²⁴.

16 октября в Ним (maison Brunel)

... В прошлом письме Вы укорили меня в моем отношении к Софье Михайловне. Признаюсь, мне было больно. Вы такая близкая мне, и, казалось, что Вы не знаете немножко меня: я не считаю²⁵ себя ни в чем виноватым перед С.М., тем

более, что я обещал Василию Васильевичу постараться изменить к лучшему мое отношение²⁶.

27 октября, в Ним (maison Brunel)

... Еще раз прошу забудьте о моих строках, а главное, не вздумайте рассердиться на Василия Васильевича. Я бы очень хотел, чтобы Вы его полюбили, он очень хороший, для меня один из самых близких людей...

... Только что вернулся с закладки храма²⁷. Радостно было, что ее совершал митр. Евлогий. Сегодня день именин моей мамы²⁸.

Кланяйтесь Наташе²⁹. Не зная ее, я через Вас полюбил ее.

С Софьей Михайловной у меня совсем хорошие отношения. Вчера был даже с ней в кафе после очень долгого промежутка времени. Это совсем хороший признак.

31 октября, в Ним

... Мне нужно обязательно написать сегодня письмо Василию Васильевичу, что вряд ли мне удастся, и Василий Васильевич будет недоволен, но кто виноват?

Я писал Вам... сколько неприятных минут я Вам причинил своими необдуманными словами...³⁰ Для меня Вы сейчас волшебная фея, которая дарит счастье и радость, так хорошо мне с Вашими письмами. Мне опять вспоминается, что как будто я убедился в том, какой Вы тяжелый человек, очень сомневаюсь, как я уже писал Вам, что это так, мне с Вами так хорошо, что я не хочу думать о других. Вероятно, опять будете бранить меня за эти слова, как уже было относительно конференции (?), но что я могу сделать, когда это так. Меня очень тронули Ваши слова о том, что Вы, как всегда, со мною во всем. Если бы Вы знали, как это именно мне нужно — чувствовать всегда Вас, знать о том, что Вы всегда согласны со мною во всем, как-то тогда мне ничего не страшно. Пусть это, как Вы пишете, слабая рука моей девочки, но мне и не надо сильной. Знаете ли Вы то чувство, когда с ребенком Вам менее жутко, чем со взрослым человеком? Я много раз испытал это, бывая ночью в глухом лесу или в особенности, когда случайно приходится проходить через кладбище, невольно забываешь о себе, думаешь о дорогом тебе существе. Вот Вы

для меня такой ребенок, не надо на эти слова сердиться, для меня это лучшее, что бы я мог сказать.

... Как я благодарен Наташе — простите, что я так ее называю, но я больше о ней ничего не знаю, кроме этого имени — за ее ласку к Вам. Вы правы, конечно, не нужно ее торопить, пусть и медленно, и серьезно идет она своим путем, но будем верить, что этот путь приведет ее туда, где мы с Вами³¹. Есть глубокая правда, по-моему, в ее словах о возрождении православия во Франции. Ведь когда-то из всех стран Западной Европы были и Франция, и Англия православны... Иногда меня страшит мысль о том, что все меньше и меньше будет христиан. Западная Европа, кажется, к этому быстро катится, одно утешение, что мы все тогда будем едины.

Вы спрашивали меня о моей маме и Зине... Я ужасно скорблю о них, могу только верить, что Господь сохранит их. Часто думаю, от чего так вышло, что они не со мною, обвиняю себя в этом, что не устроил этого, но другой раз думаю, что такова воля Божия. Быть может, из-за этого я так люблю Россию близкую, дорогую, так близкую, что не люблю говорить о ней с другими, конечно, к этим «другим» Вы не относитесь. Я боюсь мертвых слов и сухих формул о России: моя жизнь связана с нею.

... Сейчас я довольно аккуратно посещаю лекции. Кроме лекций, у меня еще служба (Союз городов)³². Мне удалось так устроиться, что я довольно легко могу уходить со службы, когда у меня днем лекции. Обычно до шести часов вечера все время у меня распределяется между службой и университетом. Сейчас редко выпадают дни, когда мне удастся провести вечер одному: или ко мне кто-нибудь придет³³, или самому надо куда-нибудь пойти, а в последнее время довольно часто были заседания президиума, и выходит так, что принадлежу себе только в одиннадцать часов вечера.

... Письмо Василию Васильевичу так и не напишется. Завтра начинаю I гл. Иоанна³⁴. Христос с Вами. Ваш Ник. Афанасьев

2 ноября, в Ним (но М.Н. уехала оттуда уже 3-го)

Милая моя Марианна Николаевна,

... Пишу в день смерти Вашего брата³⁵. Я хотел отслужить в церкви панихиду, но, во-первых, было поздно — отчего Вы,

зная, что в Ниме нет православной церкви, не написали раньше об этом² — а, во-вторых, я не знал даже имени, но, наверное, Вы зашли и помолились о нем в католической церкви³⁶.

... Сегодня утром ездил в Земун, надо переехать паромом Дунай³⁷. Вдали золотился лес, странными пятнами выделялись лиственные деревья среди хвойных. Так захотелось пойти с Вами в лес, побродить среди золотистых влажных листьев. Потянуло вон из города, в деревню. В суматохе дня забываешь о природе, но тем сильнее тоска, когда случайно увидишь жизнь природы. Детские мечты, детские грезы, кажется, что теперь дальше, чем когда-либо от них, а они все продолжают жить³⁸.

А вечером меня потянули в кинематограф. Был с Зерновыми, Софьей Михайловной и Марией Михайловной, и еще с одним из членов нашего кружка, которого Вы не знаете: Л.Г. Иванов³⁹. Увидел Марию Михайловну⁴⁰ — в последнее время стал довольно часто с ней встречаться — и вспомнил свой разговор с ней. Припомнил, что она мне рассказывала о том, что Вы беседовали с ней в Пшерове⁴¹, а когда я спросил, что именно, она отказалась рассказать. Я не настаивал: мои отношения с М.М. хотя и хорошие, но не такие близкие, но Вы, не правда ли, если припомните, расскажете мне. В кино было скучно...

Приписка 3 ноября

Вновь вернулась весна — так хорошо тепло. Приходил почтальон, а письма от Вас нет. Не стоило бы посылать Вам эти листочки, но небо так сине, солнышко так ласково светит, что нет возможности обижаться на капризную девочку⁴².

Василий Васильевич мне написал, что получил от Вас «благоуханное письмо», как я рад этому, мне бы очень хотелось, чтобы у Вас с Василием Васильевичем были добрые отношения⁴³.

8 ноября, в Булуриц

Сегодня первый полу-зимний день. С утра туман, в котором все кажется таким странным, чужим. Воздух резкий, невольно вздрагиваешь. Нет солнца. Но где-то ласково светит оно, и в его лучах нежится море, и моя маленькая девочка, опьяненная морем и солнцем, вероятно, забывает о своем большом друге... Пишу эти строки... чтобы подразнить Вас...

Но правда и то, что мне самому хотелось побродить с Вами у моря и под его шум рассказывать Вам много, много, и потом нарвать не одну, а целую гору красных гвоздик для Вас, чтобы не хватило страниц в Песне Песней⁴⁴. ... Как я рад, что детка моя утешена, но все-таки обезьянке придется совершить далекий путь из Белграда⁴⁵. У меня все эти дни, несмотря на то, что я очень устаю и не совсем хорошо себя чувствую, очень бодрое настроение. Столько приходится говорить, что я стал плохо соображать и голова стала пустой.

Жду от Вас то, что Вы хотели написать о кружке. Мне очень не хотелось бы, чтобы Вы составили себе неправильное мнение о моем отношении к кружку. Часто бывает желание уйти от активного участия в нем, иногда я ищу предлогов. Да, я в значительной степени охладел к нему⁴⁶ и сделался равнодушным, но это не мешает мне участвовать аккуратно во всех заседаниях и в президиуме. Но охлаждение к белградскому кружку совсем не означает охлаждения ко всему нашему движению, наоборот, я никогда еще не чувствовал себя так тесно связанным с ним. Главным образом из-за отношения нашего кружка в целом с другими кружками, я переменил свое отношение к кружку (белградскому). Во вторник, будет у нас первое заседание без гостей, будем выяснять разные вопросы.

Бедный Керн. Повидимому, у него с Софьей Михайловной окончательно оборвалось. С виду он не особенно печален, даже менее мрачен, чем ранее, но я все-таки очень боюсь: что-то он поговаривает, что ему надо много передумать, опасаясь, чтобы он не задумал идти в монахи. Было бы совсем неразумно уйти в монастырь из-за неудавшейся любви.

До сих пор в кружке (до случая с Керном) было благополучно, и «мечты» Василия Васильевича поженить нас, немножко осуществлялись, по крайней мере, было уже две «кружковых» свадьбы, и, может быть, будет третья⁴⁷.

... Вчера вечером я был у С.С. Безобразова. Какой он хороший человек, мне очень радостно, что он и Вам понравился (помните, Вы писали мне об этом с конференции). Я очень люблю беседовать с ним и бывать у него⁴⁸.

У нас здесь появился новый проект — летом собираемся ехать в Иерусалим. Мысль эту дал арх. Анастасий, который теперь едет туда⁴⁹. ... Но как бы я хотел поехать с Вами ко Св. Местам!

10 ноября, в Булурус

... Морю, моему родимому морю передайте мой привет. Морю, о котором я так давно тоскую и так давно хочу попасть к нему. Оно мое, родное и любимое, оно всегда было раньше со мною, и оно расскажет Вам о мне лучше, чем я сам, расскажет, какой я был раньше и о чем сейчас мечтаю.

... Я с радостью читаю Ваши строчки о детях. Это так понятно, что Вы их любите, дети всегда друг друга любят. Вы будете очень хорошей матерью — простите эту нескромность, но друзьям, правда, можно говорить открыто, — а это так редко в наше время⁵⁰.

С Академией, кажется, устраивается благополучно... Вы спрашивали меня, как я отношусь к Карташеву — я его очень мало знаю, один раз только его видел, но очень его ценю и уважаю. Скорблю очень, что он так много отдает себя политике, но может быть теперь, когда будет профессором Академии, меньше будет ею интересоваться. Мне беспрерывно приходится воевать из-за Карташева — уже по этому одному можете видеть мое отношение.

12 ноября, в Булурус

Милая, дорогая моя девочка,

... Как грустно, что нельзя распределить свое время, как хочется. Вот Вы пишете, что я долго буду сидеть за книгами, а мне так редко удастся и позаниматься, и почитать. Редко, редко теперь случается, что я иду куда-нибудь охотно, а все, скорее, по обязанности.

Вчера было заседание кружка, в котором мы пытались выяснить все те недоразумения, накопившиеся за последнее время. На мой взгляд прошло очень скверно. Ничего мы не выяснили, никого не убедили, и не пришли ни к какому решению. Я не участвовал в прениях, т. к. Сергей Сергеевич⁵¹, выступая с предложением, крайне смягченным в отношении несогласных с нами членов кружка, просил меня не возражать ему, т. е. я был в качестве зрителя, один раз только сказал несколько слов. Можно мне написать Вам в другой раз, я ужасно плохо соображаю, а мне необходимо подробно Вам написать, т. к. моя «борьба» может кончиться поражением. Хотя сейчас рано, нет 10 часов, заберусь в постель. Правда, и мне можно один раз пораньше лечь?

... *Приписка 13-го*

Придется послать письмо, не окончив его, сегодня неожиданно приехал вл. Вениамин, и будет заседание кружка. Как много оборвалось у меня с кружком, и вместо радости какая-то тяжесть. Зато так и хочется уйти из президиума.

16 ноября

... Я люблю Ваше имя — Марианна — оно всегда напоминает мне другое имя — Мириам, мне так странно чудесно называть Вас по имени...

... А разум, не стоит на него обращать много внимания, я теперь читаю немного по гносеологии и убеждаюсь в том, насколько он не всесилен.

... У нас здесь вл. Вениамин, его здоровье очень плохо, он приехал специально к врачу, который нашел у него сухой плеврит.

18 ноября

Только что просмотрел Ваши первые два письма из Пшерова и невольно сравнил их с последним Вашим письмом. Тихой радостью, полной света и солнца, яркой надеждой веет от него, эту радость я чувствую в каждой строчке Вашего письма, и напротив какой скорбью, почти отчаянием полно Ваше первое письмо. 9 сентября и 10 ноября — только два месяца, и как много за это короткое время передумано и пережито. И вспомнил слова: «и печаль Ваша в радость будет» (и Вы их любите). И все мы глупые маленькие дети и так часто мало верим, что Отец наш лучше знает, что нам надо. Я особенно люблю эти Ваши письма ... они были для меня началом новой полосы, началом настоящей переписки. Вот читаю некоторые Ваши строчки и не могу не улыбаться: «больше нельзя сказать „до свидания“, потому что его не будет, вероятно, никогда», и дальше: «подумайте подольше, действительно ли Вам серьезно нужно, чтобы я Вам писала, действительно ли я для Вас реально существую». И хотя мне почти ясно, что Вы тогда думали, ... но все-таки теперь Вы, а не я, должны себе ответить на это. И думаете ли Вы теперь, что свидания не будет никогда, а я жду, оно за Вами (помните у Пушкина)⁵².

18 ноября

С чего начать Вам рассказывать... В Белграде еп. Вениамин, с трудом удалось уговорить его пробить здесь несколько дней. Ему предлагают быть законоучителем в русском кадетском корпусе (такие еще есть), но он колеблется, надеется, что ему придется скоро ехать в Париж. Кстати, с Академией... все благополучно: ждут только 5-го декабря. Если дом будет выкуплен, в чем не сомневается ни вл. Евлогий, ни о. Сергей, открывают немедленно пропедевтические курсы (греческий, латинский язык, Ветхий и Новый Завет) в Париже и в Праге. О. Сергей переезжает в Париж, и там открывается второй приход (это должно Вас очень обрадовать) во главе с о. Сергием. Для заведывания курсами и для подготовки открытия Академии назначается коллегия из о. Сергея, Василия Васильевича и Карташева, которые и изберут остальных профессоров. На курсах в Париже будет 10 вакансий, причем будут платить стипендию, и притом очень маленькую — 200 франков. Кроме того, предполагено открыть с осени этого года дополнительные курсы для окончивших Белградский богословский факультет. Секретарем при коллегии будет Сергей Сергеевич, который выедет в Париж в конце декабря. Все эти сведения совершенно секретны, здесь знают об этом только Сергей Сергеевич и Николай Михайлович⁵³. Все убеждены, что вопрос об Академии затянулся на неопределенное время, и в связи с этим в значительной степени умолкли разговоры и та борьба, которая велась раньше. С одной стороны, я и радуюсь, что Сергей Сергеевич уезжает — ему здесь довольно тяжело живется в материальном отношении, но все-таки мне грустно, т. к. уезжает еще один⁵⁴ близкий мне человек, не говорю, что его отъезд — большая потеря для кружка. Сергей Сергеевич всегда был мне близок, а теперь в особенности, но наша близость какая-то странная при всем нашем идеологическом совпадении, мы никогда не говорим о личной жизни, впрочем, здесь, вероятно, виноват я: я не люблю ни с кем говорить о своих личных переживаниях (я думаю, что не надо делать оговорку, что Вы сюда не относитесь, это ясно само по себе). Не так давно он пережил очень тяжелую драму (тоже секрет⁵⁵), он почти официально был женихом Александры Владимировны, потом все это очень быстро расстроилось.

Когда Вы с ним ближе познакомитесь — а я бы этого хотел, — Вы увидите, что при всех его достоинствах, я бы сказал почти святости, у него нет решительности и смелости, он слишком мало мужчина. Думаю, что в этом одна из причин, почему Александра Владимировна ему отказала. Он всегда боится кого-нибудь обидеть, оттого очень часто его любовь к другим (особенно это ясно в кружке) принимает несколько сентиментальный характер. А мне кажется, что христианская любовь всегда скорей сурова, чем сентиментальна. Мне представляется так, может быть, у него с родителями произошел какой-нибудь конфликт, и здесь он, как всегда, не смог быть решительным, а начал колебаться, и это обидело Александру Владимировну⁵⁶. Первое время я грустил, что расстроился их брак, а потом подумал, что к лучшему, но рана у него до сих пор не зажила. Знаете ли Вы, что он был женат в России, и недавно (в прошлом году) его жена умерла, это был совсем необычайный брак, я Вам об этом, если захотите, как-нибудь расскажу. Я очень ценю и люблю Сергея Сергеевича, другого такого кристально-чистого человека, настоящего христианина трудно найти в наше время.

Вы, вероятно, страшно удивлены таким количеством драм...⁵⁷ Да, жизнь странно ломает всех: все проходят через страдания, но все-таки всех ждет своя радость, надо только уметь найти ее и взять.

Теперь о кружке. В последний раз заседание было с вл. Вениамином, он говорил о церкви с дисциплинарной ее стороны. Собрание было неожиданное, второе на прошлой неделе, а потому далеко не все собрались, было тихо и мирно, но зато перед этим было очень трудно и тяжело. Сергею Сергеевичу было поручено сказать от имени президиума, что недопустимо со стороны членов кружка открытое заявление об еретичности и масонстве тех или иных членов кружка, в особенности Василия Васильевича, о. Сергия, что сомнения и разногласия могут возникать, но их надо стараться [скорее] ликвидировать в самом кружке, чем выносить вовне, а тем более вести открытую борьбу. Наиболее одиозные⁵⁸ три лица: один из приходских священников о. Владислав⁵⁹, И.П. Расторгуев⁶⁰ — он был в Пшерово в прошлом году — и В.К. Губанова⁶¹. Но Сергей Сергеевич в последний момент решил, что нельзя так резко говорить, лучше не упоминать

о прошлом, а стараться установить сейчас доверие. С меня Сергей Сергеевич взял обещание, что я не буду ему возражать, — я действительно ничего не говорил. В результате вышло ужасно бестолково. Сергей Сергеевич действительно ни о чем не сказал, он просил только, чтобы было оказано больше доверия, но т. к. никто из членов президиума не знал о перемене мнения Сергея Сергеевича, то другим не было сказано, что предварительно было решено на президиуме. Прения пошли неправильно, никто не знал, чего добивается президиум, но картина выявилась далеко не радостная — число членов кружка, несочувствующих связи с другими православными кружками, значительно, но при том далеко не все высказались. Сейчас начинает возобладать мнение, что лучше оставить все, как было, т.е. примириться с тем фактом, что у кружка два лица — одно истинное, которое знаем мы, а другое, которое знают вне Белграда. Не могу Вам написать, как мне неприятна эта дипломатическая игра, эта боязнь посмотреть правде в лицо, хотя, может быть, я и неправ — пусть делают, я не буду противиться с тем фактом [*sic!*], что у кружка два лица, но в «игре» тоже не хочу участвовать.

22 ноября

... Меня очень заинтересовало то, что Вы пишете о Василие Васильевиче. Я не замечал расхождения между внутренним и внешним Василием Васильевичем — напишите мне и об этом, и о том, почему к нему плохо относятся в Праге, не из любопытства об этом прошу — Вы сами знаете, как близок мне Василий Васильевич. Вот не знал, что он за Вами «ухаживал» (терпеть не могу этого слова), причем настолько, что Вам пришлось дать «подписку», даже мне ничего не написал, обыкновенно он все мне рассказывает. Конечно, я шучу (приходится делать оговорку). Спасибо Вам за доброе отношение к нему⁶².

25 декабря

Я вполне серьезно принял Вашу надпись на карточке, да, встреча была — я как раз об этом писал Вам немного раньше⁶³. Кто знает, может быть, так и надо было, Господь лучше знает, и примем это сейчас без боли, тем более, что сделаны были все усилия. И неправы Вы, когда пишете, что я «не

приехал к Вам», Вы сами знаете, как я этого хотел, но я не мог приехать. Я тоже хочу Вас видеть, а если редко об этом пишу, то только потому, что не хочу Вас огорчать. Но верьте мне, что я исполняю свои обещания — мы увидимся, пока только не знаю, когда, но увидимся.

30 декабря

Мое светлое солнышко, с какой радостью прочел я Ваше письмо от 22–24 ноября, и как хорошо, что Вы прислали вид Вашей дачи, теперь немного яснее могу представить себе Вашу комнатку, где по вечерам одна маленькая девочка так часто грустит, не всегда чувствуя, что другая тень, невидимая, старается утешить и одобрить ее, рассказать, как чудесен Божий мир, в котором даже печаль чудесно превращается в радость. Да, я всегда с Вами, и по утрам, когда, заплетая косы, Вы думаете, будет ли письмо или нет, и ночью, когда счастливой вновь задремлете, и под ласковые лучи солнца, заглянувшие в Вашу комнатку, пусть всегда оно несет мой привет.

... Вы знаете, что моя жизнь состоит из службы, лекций, заседаний кружка, президиума. Я начал уже готовиться к экзамену по истории сербской церкви и очень серьезно, совсем нет пособий ни на одном языке, приходится чуть ли не самому рыться в источниках, а лекции, когда даже и бываю, не могу слушать, так скучно читаются. Читаю сравнительно много педагогических книг, занимают меня вопросы теории познания. Я постепенно ухожу из-под влияния Канта, и, что недавно казалось таким незыблемым и ненарушимым, колеблется и разрушается. Мир, не как мое представление, мир реальный, чудесное таинственное бытие вскрывается, я не господин мною созданного мира призраков, красивой игры фантазии, а как человек среди родного для меня бытия, существующего в себе, но и для меня — тысячи ниточек тянутся ко мне от всякой травки и засохшего листка.

И медуза Ваша, прозрачная, с розовыми щупальцами и красными крапинками, существует для меня такой, какой Вы ее видите⁶⁴. И в этих Ваших словах о медузе и о том, что все дышит для Вас и живет жизнью чудесной, опять я слышу ответ на мое и мой отзвук на Вашу жизнь. Не правда ли, как будто в сказке, родной далекой, которую няня или бабушка

рассказывает в детской под тихий свет лампадки. И белая акация, опьяняющая, душистая, заглядывала в окно.

... Я очень прошу Вас молиться обо мне. Когда радостно мне, я как будто чувствую Вашу молитву, а когда мне тяжело, мне кажется, что Вы... но нет, это неправда.

Ваше отношение и чувство ко мне, это мое богатство и моя радость, и мне все кажется, что тот, кто хоть немного узнает об этом, немножко отнимет от него у меня... Я ужасно скупой...

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Афанасьева М.Н.* Воспоминания // Вестник РХД. 2020. №211. С. 100.

² См. прим. 13 ниже.

³ Слово «открытка» написано карандашом рукой М.Н. Афанасьевой.

⁴ Фраза в скобках вставлена М.Н. Афанасьевой при перепечатке. В дальнейшем она нередко дает свои уточнения в скобках.

⁵ Речь идет о сборе пожертвований на основание Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, который фигурирует здесь и ниже в письмах как Академия.

⁶ О. Петр Беловидов, настоятель белградской церкви. Умеренно «карловацкого» типа. — *М.А.*

⁷ Имеется в виду Белградский православный кружок.

⁸ Бюро РСХД.

⁹ В церковной эмиграции, особенно в Сербии, была велика и крайне преувеличена боязнь масонства. — См. *Афанасьева М.Н.* Воспоминания, с. 116. См. также ниже письмо от 12 октября 1924 г.

¹⁰ Лопухин Петр Сергеевич (1885–1952). О нем см.: *Зеньковский В.В.* Из моей жизни. Воспоминания. М. Дом русского зарубежья им. А. Солженицина. Книжница, 2014. С. 42–43, 98–103, 386 (прим. 151), а также на сайте Русское церковное зарубежье: http://zarubezhje.narod.ru/kl/1_013.htm. Здесь и чуть ниже фамилии в скобках явно добавлены М.Н. Афанасьевой.

¹¹ Конференции РСХД.

¹² Неразборчиво. Не знаю, кто это. — *М.А.*

¹³ В Прагу. Это письмо №2 из сохранившейся серии писем Николая Николаевича Марианне Николаевне Андрусовой. Письма от августа 1923 г. до сентября 1924 г. не сохранились. В этой новой серии писем, после «небывшей» в Пшерове встречи, частые упоминания о бесконечных недоразумениях. Главная причина этого в том, что после небывшей встречи Н.Н. и М.Н. осознали свою взаимную любовь,

но избегали произносить это волшебное слово. М.Н. — в силу обещания, данного матери («не связывать себя до встречи»), Н.Н., смутно чувствуя это, — из глубокой порядочности и нежелания связывать «своего маленького друга». Другая более простая причина — неаккуратность почты, особенно на юге Франции (дело было до Манделя [Жорж Мандель — министр почт во Франции в 1934–1936 гг. — В.А.] и бесконечные пропажи писем. В течении нескольких месяцев — обращение по-прежнему: имя-отчество, подпись — фамилия. Понемногу появляется «мой друг», «мой маленький друг» и т. д. — М.А.

¹⁴ Многоточия здесь и далее поставлены в машинописи.

¹⁵ Мира восторг беспредельный / Серду певучему дан. — Строки из песни Гаэтана в поэме Александра Блока «Роза и крест».

¹⁶ Еп. Вениамин (Федченков).

¹⁷ Н.Н. должен был ехать на Вторую Пшеровскую конференцию (8–15 сентября 1924), но не смог поехать, потому что ему и некоторым другим (например, А.В. Оболенской) было отказано в чешской визе (по-видимому, по оплошности Л.Н. Липеровского, невероятного путаника). Тогда Н.Н. решил использовать отпуск, взятый для поездки в Чехию, и поехал в монастырь Петковица (Босния), по приглашению еп. Вениамина, очень его любившего.

Шабач — место на Дунае, до которого можно было ехать на пароходе.

Письмо от конференции — Второй Пшеров, на которой была я.

Политико-национальный характер кружков: уже с прошлого 1923–24-го года Н.Н. страдал от того, что белградский кружок (главным образом, под влиянием П.С. Лопухина) начал слишком много заниматься политико-национальными и, в частности, монархическими вопросами. Этим полна вся дальнейшая переписка Н.Н. со мною. — М.А.

¹⁸ В кружке. — М.А.

¹⁹ Цифра исправлена, но непонятно 24 исправлено на 14 или наоборот.

²⁰ Апрелева, <нрзб, скорее всего — «бывшего» морского офицера. Я его встретила в Милькове (Валаамский монастырь в Сербии [В Милькове в 1920–30 гг. жило несколько валаамских монахов — В.А.]) в 1927 г. Он сам был немного неуравновешен. — М.А.

²¹ Зеньковский.

²² Безобразов (еп. Кассиан). — М.А.

²³ Отец Владислав, трагически окончивший свою жизнь в тюрьме при Тито. — М.А.

²⁴ Булгаковым.

²⁵ В тексте ошибочно «не считая».

²⁶ Н.Н. был лучшим другом «Косточки» Керна. Он возмущался тем, что С.М. очень неровно относилась к любви Керна к ней.

В.В. [Зеньковский] рассказал М.Н. [Андрусовой] об этом, упрекая Н.Н. в несправедливости и просил М.Н. «воздействовать» на Н.Н. В результате — новая серия недоразумений между Н.Н. и М.Н. — М.А.

²⁷ Новая церковь в Белграде. Есть две фотографии закладки. — М.А.

²⁸ Параскевы Яковлевны. — М.А.

²⁹ Брюнель, вполн. Евдокимовой. — М.А. — Она была подругой Марианны Николаевны по Парижу и первым годам РСХД. У нее М.Н. гостила в Ниме, куда были адресованы письма Н.Н. См. о ней: *Афанасьева М.Н.* Воспоминания. С. 114–120.

³⁰ Все в связи с «affaire Kern-S.M.» — М.А.

³¹ Наталья Юльевна Брюнель (Евдокимова). Род. 6 ноября 1900 г. — скончалась 18 ноября 1945 г. Отец — провансалец-протестант, мать — из армяно-грузино-польской семьи Каргановых, вышла замуж 18 лет и втянулась в протестантскую атмосферу Нима. Наташа полюбила православие в русской церкви во Флоренции, где она училась, затем — rue Daug, кружок, Первая Пшеровская конференция, в 1923–24 г. подружилась с Павликом Евдокимовым, который ее стал усиленно торопить принять православие, чему (т.е. ускоренному темпу) я противилась. Отсюда — весьма сухие отношения между мною и Павликом. — М.А.

³² Благодаря любезности заведующего белградским отделом Союза городов (Земгора — В.А.) Брянского, которому приношу здесь благодарность за то, что мой муж смог жить три года, не нуждаясь, и одновременно окончил Белградский Факультет (Богословский факультет Белградского университета — В.А.). Работа была сложная и ответственная (главным образом заведывание и счетоводство русских учебных заведений в Сербии), и часто Н.Н. сидел за нею до 12 часов ночи. — М.А.

³³ Уже тогда у Н.Н. была la maison du bon Dieu — Ноев Ковчег, как и во все дни сорока одного года нашей жизни (с исключениями). — М.А.

³⁴ Н.Н. и М.Н. сговорились читать Евангелие одновременно те же главы. — М.А.

³⁵ Леонида Андрусова, погибшего в армии Юденича 2 ноября 1919 г. — М.А.

³⁶ Что М.Н. и сделала. — М.А.

³⁷ Н.Н. прожил в Земуне первый год учения на Богословском факультете. Мост через Дунай (или точнее слияние Савы и Дуная) ему приходилось переезжать каждый день. Жил он в страшной нужде, на одном лишь «льготном размене». Под этой фикцией размена русских денег на сербские скрывалась стипендия, которую король Александр — царство ему небесное — дал русским студентам. Размер ее был, кажется, 400 динар (=180 франков Пуанкаре, т. е. око-

ло 90 франков 1920 г., т. е. около 100–110 новых франков), ел одну фасоль, стирал белье в пепле (отчего оно разваливалось) и ходил в старой шинели, котрую носил как крест. — М.А.

³⁸ Н.Н. провел детство и отрочество в среде небольших помещиков. Сестра его матери была замужем за черногорцем Таровичем, у которого было маленькое имение под Одессой. Родственники со стороны отца жили в деревне (помещики?) в Галиции (тогда Австрия). Н.Н. провел у них год по болезни, после окончания гимназии. Мы в 1925 году мечтали устроиться — на время, конечно, — немного по-деревенски, где-нибудь на окраине города, в сербской провинции. Наняли бы домик с садиком, выписали Прасковью Яковлевну и Зину. Я мечтала об «автомобиле» того времени — том удивительном животном, которое было «автомобилем» Самого Господа и носит крест на спине. В 1929–32 году мы много думали о «курином хозяйстве» под Парижем. Все это оказалось неосуществимым, во-первых, потому что было трудно сочетать с работой и наукой, особенно под Парижем. Денег на это не было. А главное, во Франции оказалось, что никакой «деревни» во вкусе Н.Н. нет, а климат Франции (кроме Côte d'Azur) он не переносил — только в Париже за работой. — М.А.

³⁹ Впоследствии принял монашество под именем Серафима, был архимандритом монастыря Ладомирово в Словакии и архиепископом Чикагским и Детройтским РПЦЗ. О нем см.: Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. М.: ПСТГУ, 2015. С. 468 и по указателю имен, а также на сайте Религиозные деятели русского зарубежья: http://zarubezhje.narod.ru/rs/s_007.htm

⁴⁰ Зёрнову.

⁴¹ На Второй Пшеровской конференции М.Н., главным образом, хотела узнать, как здоровье Н.Н., а М.М. пустилась петь ему дифирамбы. И Н.Н. и М.Н. из всей семьи Зёрновых больше всего любили Маню. — М.А.

⁴² О причинах капризов М.Н. см. выше. — М.А.

⁴³ Благоухание, должно быть, происходило от влюбленности. С В.В. у М.Н. уже давно были прекрасные отношения. — М.А.

⁴⁴ Очевидно, присланную Н.Н. красную гвоздику М.Н. заложила в Песню Песней. — М.А.

⁴⁵ Обезьянка — подружка Мишки М<арианны>Н<иколаевны> — приехала в Париж в начале 1925 г. и существует по сю пору. — М.А. — непонятно, о какой обезьянке и Мишке идет речь. Возможно, об игрушках.

⁴⁶ Вместе с Н.М., С.М. и М.М. Зёрновой, В.В. Зеньковским и С.С. Безобразовым, Н.Н. был одним из основателей (в 1922 г.?) Белградского кружка. Года два он играл в нем важную роль и il faisait la pluie et le beau temps [«делал, что хотел»]. Например, после Пер-

вого Пшерева он уговорил кружок принять в члены М.Н. Поворчали (мы де ее не знаем), но приняли [непонятно, идет ли речь о заочном приеме в Белаградский кружок М.Н. Андрусовой — В.А.]. В 1923–24 году начались крупные расхождения Н.Н. с кружком на тему особенно национально-политической роли кружка. По мере того, как влияние П.С. Лопухина, человека уже более пожилого и не богослова, стало усиливаться в кружке («враг Николая Николаевича» — преувеличенно говорила Ася Оболенская), Николаю Николаевичу становилось все тяжелее. — М.А. — Кружок стал собираться у Зёрновых в ноябре 1921 г. Зеньковский и Безобразов присоединились к кружку чуть позже (см.: За рубежом. Хроника семьи Зерновых. Париж: УМСА-Press, 1973. С. 28–33. О П.С. Лопухине см. выше прим. 10. Любопытно, что он, как и Н.Н. Афанасьев, нашел свое последнее пристанище на Сент-Женевьев-де-Буа.

⁴⁷ Не знаю кто. Не из главных членов кружка. <Фамилия неразборчива>? Лопухины? — М.А.

⁴⁸ М.Н. познакомилась с С.С. на Втором Пшерева. — М.А.

⁴⁹ Из-за этого возникло великое недоразумение между корреспондентами: М.Н. отказалась от поездки под разными предлогами, на самом же деле из-за данного матери в сентябре глупого обещания. — М.А.

⁵⁰ Из-за этого места чуть не дошло до разрыва. М.Н. вообразила, что Н.Н. видит ее «толстой мамашей», женой какого-нибудь Ивана Ивановича. — М.А.

⁵¹ Безобразов.

⁵² Я жду его. Он за тобой, мой друг. — М. А. Вероятно, из стихотворения «Для берегов отчизны дальней». Тогда правильно: Но жду его; он за тобой...

⁵³ Зёрнов.

⁵⁴ После Василия Васильевича и, может быть, уже Аси? — М.А.

⁵⁵ О жениховстве С.С. и Аси я узнала еще в июне 1923 г. у Оболенских. Для меня долгое время С.С. был только «жених Аси». — М.А.

⁵⁶ О причинах этой драмы гадают и по сю пору. Самое простое — это то, что С.С. был вдовец, и не мог бы быть священником, если бы женился на Асе. Конечно, может быть, было возможно аннулировать его первый брак (впрочем, у нас «совсем особенный брак» не является причиной аннуляции). — М.А.

⁵⁷ Нисколько. Первые годы эмиграции были полны «драм»: разбитые войной семьи, <неразб.> молодых людей, чем девиц в эмиграции. — М.А. — Неразборчивое слово читается, скорее всего, как «после», что не подходит по смыслу. Правильнее было бы «больше».

⁵⁸ Слово «одиозные» неразборчиво и не совсем удачно. Скорее: «непримиримые». — М.А.

⁵⁹ О. Владислав — см. выше. — М.А. — См. прим. 23.

⁶⁰ Расторгуев И.П. («знаете, обдрипанный такой», говорилось о нем в Пшерове). Был впоследствии преподавателем в Тетово, на склоне Шар-Планины. — М.А.

⁶¹ Губанова В.К., «Лерочка», впоследствии жена диакона Ноеске (немца), очень молоденькая. О Губановых см. ниже. — М.А. — Валерия Губанова появится в последующих письмах. О ней см. сайт «Деятели русского религиозного зарубежья» (http://zarubezhje.narod.ru/tya/kh_014.htm), а также *Зеньковский*. Из моей жизни. С. 291.

⁶² В.В. пугали с его братом [Александром Васильевичем Зеньковским, экономистом, в эмиграции жившим в то время в Праге — В.А.] и считали «ухажером». Вокруг него как «дядюшки» крутились девицы со своими сердечными делами. В том числе и я. Моя мать очень боялась влияния на меня В.В., и я почти серьезно дала подписку, что не выйду за него замуж. — М.А.

⁶³ Речь идет о «небывшей встрече» в Пшерове, после которой наша переписка перешла в другой «стиль». — М.А.

⁶⁴ Таинственная медуза, приплывшая по «бездне дивной синевы» была так хороша, что больше никогда в жизни я такой не видела. — М.А.

*Публикация, вступл. и примеч.
Виктора Александрова*

ПЕТР КОВАЛЕВСКИЙ

Из дневников 1925 года
(отрывки о Русском студенческом
христианском движении)

Мы продолжаем публикацию отрывков из дневниковых записей Петра Евграфовича Ковалевского (1901–1978), историка, автора книги «Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970)», долгие годы служившего иподьяконом в соборе Александра Невского на Дарю и преподававшего латынь в Свято-Сергиевском православном богословском институте, посвященных становлению Русского студенческого христианского движения (РСХД) во Франции*. Мы предлагаем вниманию читателя дневниковые записи 1925 года; в них можно найти сведения о поездке Петра Ковалевского в Прагу на заседание Бюро студенческих кружков и в Германию на местный съезд РСХД в Бад-Саарове, подробный и взволнованный отчет-свидетельство о II местном съезде РСХД во Франции в Аржероне. В Париже в рамках РСХД Петр посещает все собрания Братства святой Троицы, ставшего идейным ядром французского движения, и заседания воскресного парижского кружка. В дневниках уже появляются записи о внутренних сложностях и нестроениях движенческой жизни («уже начинаем ссориться, а потом мириться»), порой звучат и сомнения автора в правомерности выбранного руководителями РСХД направления жизни объединения, нет ли в нем перевеса «душевного» над «духовным». Уже в прошлом осталась «наивность» первых собраний, теперь она сменилась сосредоточенной церковной работой, трезвыми размышлениями о братской любви между очень разными и несхожими между собой людьми. «О любви и о трудности людям сойтись, ибо внутренняя жизнь сложна», говорит на общем собрании парижских кружков в конце 1925 года председатель РСХД Василий Васильевич Зеньковский.

* Отрывки из дневников П.Е. Ковалевского, посвященные РСХД, за 1923–1924 годы см. в № 214 «Вестника РХД» за 2021 год (с. 130–183, *публ. Н.В. Ликвинцевой*).

Текст публикуется впервые, по авторизованной машинописи из архивного собрания Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, из фонда 69 «Семейный фонд Ковалевских» (Архив ДРЗ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 13, 14). Иностранные слова вписаны автором в текст машинописи от руки, их переводы даются в постраничных сносках и выполнены публикатором. Публикация подготовлена в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации, с сохранением особенностей авторской стилистики. Мы выражаем глубокую признательность Шеветоньскому монастырю восточного обряда Воздвижения Креста Господня (Бельгия), обладающему самой значительной архивной коллекцией дневников П.Е. Ковалевского и правами на их публикацию, за любезно предоставленное разрешение опубликовать данные отрывки.

НАТАЛЬЯ ЛИКВИНЦЕВА

Пятница, 3/16 января.

Вторая поездка в Прагу. Сегодня отъезд. Утром служба, архиепископ приезжает в субботу, так что я его не увижу ни здесь, ни в Праге. — Поехал рано на вокзал. Народу немного, поместились очень хорошо в одном купе с Павлом Евдокимовым. Провожала Наташа Брюнель. Г.Г. Кульман¹ ехал с тем же поездом в международном вагоне. Ехали хорошо, на границе не задерживали, можно было хорошо выспаться от Kehl'я* и до Штутгарта.

Суббота, 4/17 января.

Едем по Германии, места не живописные, прямо удивляешься, что привлекало сюда русских до войны. Право, нет ничего хорошего. Научились ли мы ценить наше, а не немецкие курорты и источники? На границе не смотрят, поезд не торопится, по Чехии — 8 человек в купе. Местность скучная, в Мариенбаде — прямо провинциальное захолустье с лесочками да несколькими березками. В Прагу приехали точно. Днем случилось неприятное происшествие. В Нюрнберге мы во время остановки вошли в вагон к Кульману, нас сейчас же захватили контролеры и оштрафовали на 80 марок, но снизили, наконец, до 12, так что Густав Густавовичу, который нас пригласил, пришлось заплатить около 100 франков за

* Кель (нем.), город в Германии.

несколько минут нашего собеседования с ним. В Праге встречали Д.И. Лаури и Лева Зандер и Лев Ник. Липеровский² и повели сейчас же к себе. Меня ждет, оказывается, уже со вчерашнего дня владыка Сергей³ к себе и хочет, чтобы я обязательно жил у него. Вечером читали дома всенощную. Были к чаю разные люди, пришедшие послушать об Академии, во главе с Вас. Вас. Зеньковским, а Константин Струве⁴ пришел повидаться со мной. Приехал также белградец Н.Н. Афанасьев. На вид, более замкнутый, чем Зернов⁵.

Воскресенье, 5/18 января.

Заседание Бюро студенческих кружков прошло очень дружно и с большой пользой для дела. Съехались представители из многих стран. В понедельник был прием в Женском фауэй* в честь делегатов с чаем и угощением. — Я встретился с Мар. Вас. Черносвитовой⁶, нашей учительницей музыки из Петербурга. Ее сын кончает университет и очень много работает. Ездил к ним в гости в деревушку Мокропсы, через Вшеноры. Местность там дикая. От станции надо идти до селения по снегу. Дома почти крестьянские. Удобств никаких. На станции платформа обледенелая, стоять невозможно, и рискуешь ежеминутно свалиться под поезд. Вспоминали с Мар. Вас. старые времена. — Заходил к Струве, который живет за городом, но недалеко, только трудно найти дом, так как есть №-ра, а улиц нет. Лев⁷ опять плохо себя чувствует и его отправляют в горы на лечение. Заходил и к отцу Сергию⁸, как в Университет, так и на квартиру. Он собирается приехать в Париж в Академию не раньше мая, так как должен кончить курс. Владыка Сергей меня очень искушал все эти дни. Один вечер оставил у себя ночевать, и с ним, и с Адей Струве⁹ мы просидели за беседой целую ночь. Владыка «ради смирения вселял в меня гордыню», но безуспешно. В понедельник, на Праздник Крещения, прислуживал за литургией. — На собраниях, которые происходили в этом году в комнате 36 Studentský Domov**, а не на Aleševu Nabřeží***, был только один неприятный инцидент из-за Марцинковского¹⁰, который неудачно выступил в пользу большевиков. Вас. Вас.¹¹ дипломатично и осторожно ликвидировал дело, и

* От foyer (*фр.*), общежитие.

** Студенческий дом (*чешск.*).

*** Набережная Алеша (*чешск.*)

все кончилось ко всеобщему благу. А.И. Никитин докладывал о Софии и о работе в кружке о. Г. Шавельского и о. Василия Флоровского¹². Было прочитано много докладов и сообщений. С болгарами полное согласие, особенно благодаря нашему милому о. Софронию Чавдарову¹³. В Берлине работали все время три кружка на исторически-богословско-социальные темы. Руководители: Карсавин, Бердяев, С. Франк и о. Колпинский¹⁴. О. Григорий Прозоров тоже заинтересовался движением после Фалькенберга¹⁵. — Центральный вопрос — соотношение Церкви и Государства. — В Секретари по Германии переизбран Ф.Т. Пьянов¹⁶. Замечается, как в Германии, так и в других местах, стремление к оцерковлению жизни¹⁷. Очень важно основание Академии. На нее многие возлагают великую надежду. Братство тоже многих интересует, как «орден» и как действующая церковная сила. — В Праге работает Объединенный комитет, в котором очень энергично действует Г.А. Бобровский¹⁸. О. Сергей Булгаков помогает в работе. Есть борьба с теософическим учением. Был устроен детский вечер. Очень горячо обсуждался вопрос: «раз мы христиане, то обязательно — и антибольшевики!» О Пшибраме говорил Давидович, а о Брно — Лепнев. И. Смолич¹⁹ поднял вопрос о возможности или невозможности участия членов Кружков в политических обществах и могут ли входить в Движение нерелигиозные кружки. Ответ — отрицательный в принципе, но возможно согласование с местными условиями. Н.Н. Афанасьев докладывал о Белграде. С.С. Безобразов²⁰ возглавляет национально-православный кружок. Есть русско-сербское единение. С.М. Зернова²¹ читала доклад на тему: «Царский путь». В Загребе есть 14 человек и женское общежитие. Всю работу выносит на своих плечах А. Тугаринов²². — Во Франции решено устроить конференцию, как всегда, летом. Последнее собрание было посвящено резолюциям и финансовой стороне, которая вполне благополучна. — Обратно ехали с Павликом Евдокимовым очень удобно, так как вагон попался новый. На границе даже не осматривали багажа, а чиновник только сказал: «Ce sont des étudiants qui vont pour se perfectionner en Français*». Павлик мечтает попасть в Академию так же, как

* Это студенты, которые едут совершенствовать свой французский язык (*фр.*).

и его брат Владимир²³. Они одни из первых кандидатов. Из Праги очень многие стремятся в Париж, тянет их Франция как центр культуры, но тут несомненно и желание получить работу (а в Чехии это очень трудно). Многие меня расспрашивали, как можно тут устроиться. Особенно один студент, Георгий Шумкин²⁴, который имеет очень интеллигентский вид: высокий, ходит в русской рубашке. — С Павликом очень сблизился за эти дни: он, к сожалению, только до болезненности самолюбив и обидчив. — В Праге завязал очень дружеские отношения с ОРЕСО (Центральное Объединение Русских Студентов), и после разговора с В.А. Лазаревским²⁵, с которым просидели, по крайней мере, 4 часа в кафе, взялся за международное представительство ОРЕСО в Париже.

Воскресенье, 25/12 января.

<...> — Приготовлял в кафе доклад для Братства: негде посидеть спокойно между работой, а домой ехать нет возможности. Вечером докладывал о Литургии от Входа до Евангелия, а потом помчался в Vois Colombes* на заседание Фотиевского Братства: много решительных действий и много интересного. — Вернулся ночью.

Пятница, 7/30 января.

<...> Вечером ходил в Братство Св. Троицы и читал там о съезде в Праге. Отслужили молебен. Таисии Ивановне плохо и очень большой жар.

Воскресенье, 19 января / 1 февраля.

<...> — Вечером читал доклад в Кружке о поездке в Прагу. Собрались все поздно, так что занятий по литургике не было.

Воскресенье, 26 января / 8 февраля.

<...> Вечером занимался Лесковым²⁶, а вечером — два собрания: Свято-Троицкого Братства; я читал о Литургии, от Входа до Евангелия; Морозов²⁷ — о книге проф. Бердяева; потом — собрание до полуночи Редакционной Комиссии. На Братстве мое выступление вызвало много вопросов, и, кажется, заинтересовало.

Пятница, 31 января / 13 февраля.

Вечером — собрание Братства Св. Троицы из-за хиротонии Льва Николаевича. Пели всенощную и не было других дел. Потом беседовали.

* Буа-Коломб (*фр.*), пригород Парижа.

Воскресенье, 2/15 февраля.

Утром на обедне — хиротония Льва Николаевича Липеровского: сперва в иподьякона на часах, потом, на литургии — в дьякона. Максим²⁸ прекрасно возгласил «Повели», а я немного срезал «Повелите»; все прошло прекрасно, Братство стояло в ризнице и смотрело на посвящение. На Василенко²⁹ хиротония произвела особенно сильное впечатление, и с ним чуть не сделалось дурно. <...>

Пятница, 7/20 февраля.

Все время дома, лихорадочно спешу с Лесковым и поправляю, и переписываю. Вечером у нас в Братстве Св. Троицы всенощная из-за родительской субботы и обсуждение устава и его необходимости.

Пятница, 14/27 февраля.

Днем был в Школе восточных языков у Dominois*. На собрании Братства была полная служба по триоди и минеи, пели хорошо. Отец Лев пишет, что он в Ментоне обвыкся и служит под руководством отца Николая.

Воскресенье, 16/29 марта.

Утром служба в Кламаре, меня заменял Сергей Третьяков³⁰ в иподьяконстве. Причащались всем Братством. Пели недурно; я пономарил. Лев Липеровский служил. Обедали ввосемьмером в «Министер», а потом нудное заседание техников Объединения. Днем в 1 ч. приготавливал доклад в 8 ч., доклад о Достоинстве и молитвах за Церковь и о Лестнице Духовного Восхождения. Масса новых людей, есть случайно попавшие и теперь уже привязавшиеся. Дело многих привлекает.

Четверг, 20 марта / 2 апреля.

<...> Вечером на собрании Кружка и собрании Братства. Обсуждали положение с устройством в Аржероне съезда.

Четверг, 10/23 апреля.

<...> Вечером у нас было большое сборище: два Кружка, гости Н.А. Бердяев и С.С. Безобразов. Собралось 26 человек, приготовили массу угощений, пасху, куличи, яйца. Был обмен мнений о докладе до 11 ½. Говорили об отношении к инославию и иноверию.

Пятница, 25 апреля / 8 мая.

<...> Днем прибирал библиотеку, вечером спешно красил полки, а потом был на Комитете по устройству Аржерона.

* Доминуа (*фр.*), фамилия профессора Сорбонны.

Был владыка Вениамин³¹, обсуждали темы докладов и поручили мне финансово-хозяйственную часть, как и на прошлом съезде.

Воскресенье, 18/31 мая.

<...> Вечером был на собрании Кружка. Я читал о Никейском соборе (остались довольны), а Г. Вад. Морозов — об Игнатии Богоносце.

Понедельник, 19 мая / 1 июня.

<...> Вечером был в Братстве. Путь к сближению и дружбе близится к концу: уже начинаем ссориться, а потом мириться. За литургией хиротонисали в дьякона Н.Н. Сухих³², главного инженера Общества Самолет, кончившего Университет. Он все время плакал от умиления.

Поездка в Германию.

Четверг, 22 мая / 4 июня.

Утром в Версале. Все благополучно*. Днем — у сербов и в немецком и бельгийском консульствах. Все прошло хорошо, только за билет до Берлина взяли 440 фр., да это еще не в Nord-express'e**, как я хотел. Вечером пришлось выехать заранее, так как уже не было плацкарт. Сел хорошо, в купе еще один русский немец, один бельгиец и одна полька с девочкой; ехали быстро. На границе строго проверяли документы, но багажа не смотрели.

Пятница, 23 мая / 5 июня.

Утром — в Кельне. Чудная погода, не выходил из вагона, а предпочел пойти в Митгора выпить кофе. В Германии все время подсаживались люди, но мало говорили. Я то читал, то смотрел, то питался. День однообразный и серый по впечатлениям. В 10 ч. вечера приехали в Берлин. Уже отъезжаю от Зоо, как слышу на платформе: «Не видали ли русского епископа?***» Я высовываюсь. Это — жена С.Л. Франка³³, зовет слезать, едва успеваю выскочить, и сейчас же первые безотрадные впечатления от русских в Германии. Огорчение из-за отсутствия еп. Вениамина велико. Без него «ничего не

* В записи за предыдущий день: «Получал визы в Версале, но паспорт просрочен, а нового не дадут до вечера. Стоит ли ехать с таким запозданием?»

** Северном экспрессе (*фр.*).

*** П.Е. Ковалевские поехал вместо епископа Вениамина (Федченкова), по его просьбе.

устроится». Особенно горюют маленькие Франки, которые любят владыку. Ночую у С.Л., все приготовлено для дорогого гостя, настроение беспомощное. Всю ночь просыпался, так как не хотел проспаться 6-часовой поезд.

Суббота, 24 мая / 6 июня.

Из-за отсутствия сообщения (в Берлине никто не торопится) опоздал на одну минуту. Пришлось ждать местного поезда, сперва на Erkner, потом на Fürstenwalde и только оттуда на Saarow*. Добрался без приключений, рассчитав, что в момент моего приезда должен будет уехать еп. Тихон³⁴. Так и оказалось, но только, вместо одного, собрались уехать все. Успел в последний миг спросить благословение на чтение всенощной, и все двинулись в нерешительности в обратный путь, на съезд. Оказалось, что на Троицу не будет священника. Это многих смущало, и меня, по правде, не менее других, но решили с Львом сделать все возможное для благообразной службы и хотя бы петь вечерню и изобразительные. Сразу новые лица, новые знакомые: Мария Мих. Зернова³⁵, которую узнал по сходству. Много старых приятелей, Вас. Вас., Семен Людвигович, Лев Платонович. Устройство примитивное: мужчины спят в сарае-бараке, на койках; у меня начался страшный насморк, как в Фалькенберге. Распределение дня неопределенно. Обедают от 1 ч. до 2 ½. Были доклады о Берлине, много спорного, а еще более — равнодушия и полной апатии, неинтерес полнейший, никто не хочет сговариваться, никто не хочет уступать друг другу. Вечером была всенощная, никто не пел. Вера Ал. Угримова³⁶ подпевала, я старался, но без музыкальности, был хрип и горло болело сильно. Разошлись рано, спали хорошо. Настроения праздничного нет.

Воскресенье, 25 мая / 7 июня. День Святой Троицы.

Утром все проспало. На службу пришло 3 человека! Ходил с Вас. Вас. за березками, места чудесные. Особенно одна горка, куда ходили Г.Г. Кульман, Мар. Мих. Зернова и я. К вечерне пришли почти все. Отец Лев читал молитвы и служил особенно усердно и благоговейно. К обеду приехал о. Григорий Прозоров, его я знал понаслышке. По виду он не произвел того впечатления, которое осталось после его

* Эркнер (нем.), Фюрстенвальде (нем.), города в Германии; Bad Saarow — Бад-Сааров (нем.), коммуна в Германии.

прекрасной исповеди. Это была первая радость, и можно, значит, завтра говеть и причащаться. Днем гуляли, было заседание центрального бюро по делу Хоповской конференции, где будут участвовать почти все сербские иерархи. Ассигновали суммы и обсуждали приглашение гостей и разрабатывали поездки. Вечером была утренняя, которую служил о. Лев. Но исповедоваться никто не решился. Только в 10 часов, после долгого неприятного неопределенного состояния решили втроем исповедоваться: В.А. Угримова, Мар. Мих. и я, надеясь, что пример заразит и других. Но чувство полного отсутствия единодушия было очень тяжело. Отец Лев сказал за утреней чудное слово, а за всенощной отец Григорий.

Понедельник, 26 мая / 8 июня. День Св. Духа.

Отец Григорий служил литургию. Многие пели и даже хорошо. Приехали обе княжны Кропоткины и Стефанович (Кока)³⁷, младший иподьякон преосвященного Тихона. К исповеди и причастию подошли почти все. Многое этим было улажено. Говорил о. Григорий о движении. Его приветствовали и проводили. Говорил проф. Новицкий, чудесный, добрый человек, он всех веселил душой. Рассказал об иконостасе преп. Серафима в Bad Nauheim^{*}; лекцию прочел милую, простую о математике и иконографии, как источнике познания Бога. Все были на лужайке и начали друг с другом сближаться. Подружился я с Ник. Дм. Тальбергом³⁸, спорил с ним горячо о церковных делах. Он противоположных со мной взглядов. Параллельно вел агитацию за Академию. Вечером был поставлен вопрос о братстве. Говорил Вас. Вас., Лев Ник., кое-что и я. Все загорелись, даже Карсавин, молчавший в своем углу, засуетился и резко высказал несколько соображений. Завязалась живая беседа, все объединились и в «чаемом братстве» нашли исход своим чувствам и примирению. Лев предложил всех поминать на молитве, и спор зашел из-за часа, когда это привести в исполнение: одни говорили «завтра», а другие «сейчас же», и на этом сошлись. Комитет закрыли и предоставили кружкам работать самостоятельно, имея только технический центр. Все так вдруг сблизилось, что не могли разойтись, и ходили до 2-х часов ночи, но на завтра — уже разъезд.

* Бад-Наухайме (нем.), город в Германии.

Вторник, 27 мая / 9 июня.

Утром волновался, боялся опоздать на поезд. Ехало нас человек 12, остальные остались до 10 часов. — Берлин неузнаваем. После прошлогодних волнений и отчаяния, с выбором Гинденбурга³⁹ восстановилось доверие, и кажется, что все, вручив судьбу испытанному старцу, успокоились и забыли свои недавние страсти. На вокзале в Берлине Ник. Дм. Тальберг целовался со мною трижды, просил писать и, видимо, сожалел, что мы так скоро расстались. Я должен был ночевать у Угримовых. Вечером берлинский кружок устроил торжественное собрание у С.Л. Франка, не было доклада, поговорили о съезде и о новой книге Карсавина об Ангелах⁴⁰. — Возвращался ночью домой с Мар. Мих. Зерновой. Мы с ней очень сошлись эти дни и подружились. Вечером был разговор с матерью Угримовых⁴¹. Это интереснейший и образованнейший человек.

Среда, 28 мая / 10 июня.

Пришлось встать очень рано, взял такси до Потсдамского вокзала, так как опаздывал. С моим обратным французским билетом, который был, правда, изумительно невзрачным, произошла целая история, его никак не хотели признавать. На бельгийской границе придирка к немцам невероятная. Их багажи особо проверяются. Вчера в бельгийском консульстве при мне с них требовали по три анкетных листа, три фотографии и месяц срока для разрешения. Рядом со мной в коридоре стоит немец, с которым я все время беседовал; у него не только не проверяют документа, но особо внимательно относятся чиновники-бельгийцы. Я был заинтересован. Немец спросил, кто я, и, узнав, что я русский, сказал: «Ну, русскому я могу рассказать. Мы были совершенно удушены границами и барьером, а в то же время Германия должна была развиваться и начать внешнюю торговлю; тогда на казенный счет несколько сот коммерсантов были отправлены в бывшие Африканские Немецкие колонии и агитировали за английское подданство. Теперь Германия имеет агентов для начала коммерческих сношений, английских подданных, для которых “не надо виз”. Надо было иметь немецкую дисциплину, чтобы поехать по призыву государства, бросив все свое, и став чужими подданными ради блага страны!» — На пограничной станции Herbesthal* на платформе слышу шум.

* Хербесталь, деревня в Бельгии.

Американец, как две капли воды похожий на дядю Сэма: с козлиной бородкой, длинный, в цилиндре, отбивает у таможенников свою пишущую машинку. Все пассажиры пришли, чтобы увидеть, кто победит. В конце концов, американец, оказавшийся русским, доказал, что машинка была им вывезена из Бельгии и торжественно понес ее в купе. — Возвращаюсь в Париж с радостным чувством. Не зря проехался, так как внес свое в дело примирения и объединения, и удалось довести до конца церковное дело, которое могло провалиться.

Воскресенье, 1/14 июня.

<...> Вечером я был на собрании нашего кружка, где мне пришлось председательствовать. Читал Б.П. Вышеславцев⁴² «О любви у св. Максима Исповедника». Много новых лиц, некоторые очень заинтересовались кружком. Для них Л.Н. устраивает особый кружок из 5–6 человек для изучения Священного Писания.

Четверг, 5/18 июня.

В Академии ужасные внутренние неурядицы. Многие не могут друг с другом разговаривать! Сидел дома, а вечером ходил в Братство, где была утренняя, которую служил о. Александр⁴³. Обсуждали посылку делегатов. Как у наших нет широких взглядов на значение движения для Церкви. Посылают Андрея Яковл.⁴⁴ и Морозова. В кружке говорили о съездах. Было человек 12. Говорили Адлер⁴⁵ и другие на богословские темы.

Пятница, 6/19 июня.

Утром у меня первый урок литургики. Я читал довольно сухо и скучно, и многие с трудом следили. После имел большую беседу с о. Димитрием⁴⁶. Он меня совершенно убил, сказавши насчет Керна⁴⁷: «Да он не духовен, он ведь теперь в полном отчаянии». Вообще о Белграде говорил много тяжелого. У них все на взаимности и душевности, а прочного церковного ничего нет. Вечером был на Dupuytren*, разбирал книги и говорил с Ольгой Михайловной о Керне. Она мне рассказала много страшного о Зерновых. Они взяли опасный путь привлечь к Церкви через личную симпатию и взаимность. Это для моего ума и сердца неприемлемо. Николай теперь отходит от главенства, но он тверд в смысле привязанности к движению. Начинаю все больше и больше сознавать

* Дюпоитрена, улица в Париже.

ошибочность моей ставки на Белград. Неужели вся суть в двух Зерновых, а остальное...

Суббота, 7/20 июня.

Много думаю о Керне. Не могу еще прийти в себя и от роли Зерновых; тяжелые переживания; не знаю, что думать, все путается. Был вечером на Дарю, затем у Слезкиных, говорил с ними тоже о Керне и о Белграде, о способе ему помочь. Пишу твердо, сурово. Горько за него, ведь там на него уповали, и вдруг, такое искушение и такой прилог. Пересматриваю отношение ко всему движению. Неужели всюду душевность, а духовности настоящей нет?!

Понедельник, 9/22 июня.

Днем было собрание Комитета по устройству Аржеронской конференции. Предложено было избрать президиум, в который вошли о. Александр, Карпов⁴⁸ и Евдокимов. Мне поручили заняться дальнейшими хлопотами. Но они все страшно заняты. Никто ничего не будет делать! Я в ужасе, считаю дело пропавшим. — Лекции в Академии продолжают, но придется скоро кончить, так как в пятницу экзамены.

Воскресенье, 15/28 июня.

<...> Вечером — кружок. Много интересного. О. Александр читал о талантах.

Суббота, 5/18 июля.

Весь день провел в подготовке Съезда; хотя все было предусмотрено еще до поездки в Англию, но в последнюю минуту возникли всевозможные вопросы, и пришлось много ездить и со многими говорить. <...> В этом году план был разработан детально. Если доклады были намечены о. Александром и президиумом, то техническая сторона Съезда легла целиком на меня. Я старался, чтобы было представлено почти все молодое поколение, как объединенное в кружки, так и неорганизованное, не только из Франции, но и из др. стран. Переговоры с кружками были довольно сложны. По моей идее, на Съезд должен был быть отбор, самые деятельные и идеологически сильные, и притом, разных настроений и направлений мысли, а не просто вся масса интересующихся. Конечно, надо было привлечь колеблющихся и неуверенных, но интересных людей, так как нет более сильного средства, как недельное житье в православной обстановке. Большую борьбу пришлось выдержать за название «Православный

Съезд». Мне кажется, что это второй этап к оцерковлению молодежи, потом она должна съездить на Афон или в Палестину и выйти на работу. Движение я рассматриваю как прицерковную светскую школу, подготовляющую церковных работников. К сожалению, большинство не согласно со мной; белградцы стоят за Движение (название, которое мне претит), как постоянное объединение. Движенцы остаются ими, по их мысли, всю жизнь. Это я считаю бессмысленным. Пройдя искуc, надо открыть дорогу молодежи (оставив, конечно, руководителей, очень церковных людей), а то «старика» вытеснят молодежь и сами не будут знать, что делать. Так как кружки не могут заменить Церкви и не должны быть параллельной организацией, а подготовительной. Путь, пройденный от Jean de Beauvais* за эти два года, необыкновенно знаменателен. Теперь не только можно говорить о Православии со студентами, но и о церковности.

Дай-то Бог, чтобы эта неделя принесла пользу всем участникам Съезда, и чтобы были приняты добрые решения.

Приезд студентов пропедевтического класса Академии и делегатов из провинции, несомненно, даст возможность обменяться мнениями. Н.Н. Глубоковский⁴⁹ обещал обязательно приехать.

Владыка Митрополит посетит Съезд и останется ночевать. Службы и Литургия будут каждый день. С Богом!

Второй Аржерон, 7/20 – 13/26 июля.

Перед самым отъездом на Съезд Лев Липеровский вручил мне целую пачку писем из заграницы и провинции о приезде делегатов. К счастью, большинство было утвердительных, но все же пришлось написать еще в самый день отъезда больше 10-ти разъяснений и дополнений тем, которые приезжали с опозданием. Из Лилля, по рекомендации Аладжиди, приехал Алексей Можайский, Дим. Шаховской из Брюсселя хлопотал за Н. Игнатьева, Пьянов – за Крашенникова⁵⁰. Надо было также скомбинировать поездки тех заграничных делегатов, которые ехали дальше на Съезд в <нрзб.> и перенести их расходы на Англию. Я решил, как казначей Съезда, свести счета таким образом, чтобы поддержка со стороны американцев не превысила 3 000, вместо 5 620, по смете Г.Г. Кульмана.

* Жан де Бове, улица в Париже, там проходили первые собрания парижского Кружка РСХД.

Конечно, такие расходы, как поездка митрополита во 2-ом классе (вместо 3-го), я увеличил сам, так как считал это необходимым. Впрочем, Бюро интересовалось только программой и всю организационно-денежную часть всецело доверило мне.

Собрались все на Gare St Lazare* не очень рано, а некоторые приехали в последнюю минуту, и было очень трудно с билетами, так как до La Haye-Malherbe** запас истощился, а писать было очень долго. Окончательно никто не запоздал и в 1.18 отъехали благополучно в St Pièrre***. Конечно, вещи были перепутаны, и при высадке кое-кто волновался за свои чемоданы, особенно потому, что во время пути все время было хождение из вагона в вагон (в гости), и многие потеряли свои места.

В Louviers**** длительная остановка; многие пошли осмотреть собор, а я остался с вещами. Так как едет 62 человека, то чемоданов порядочное количество. На Gare Malherbe***** — обычное оживление, начальник станции отказывается от контроля, и я собираю билеты и тут же предупреждаю его о продлении. Он очень удивлен, что St Lazare не выдал нам коллективного билета, но, как и в прошлом году, нам в этом отказали. До замка шли бесконечной лентой, растянувшейся до версты. Наташа Брюнель и Милица Лаврова⁵¹ уже все подготовили, и можно было распределить проф., гостей и делегатов по комнатам. В замке, кроме церкви и трапезной (в тех же комнатах, как и на первом съезде), поселили старших, духовенство, всех женщин-участниц, а во флигеле (le rommier doux*****) — мужчин. Иконостас Евграфа⁵² повесили на том же месте в белой комнате. Федя Титов, делегат из Монтаржи, привесил колокол к входной двери и созывал всех к службам. Вечером был молебен, ужин и общее знакомство. Хотя все дни Съезда прибывали все новые и новые члены, и в конце число участников дошло до 90, сразу определились группировки, и многие даже в дортуаре держались

* Вокзал Сен-Лазар (*фр.*)

** Ла Э-Малерб (*фр.*)

*** Сен-Пьер (*фр.*)

**** Лувьер (*фр.*)

***** Вокзал в Малерб (*фр.*)

***** Яблонька (*фр.*)

вместе. Из духовенства приехали еп. Вениамин, о. Александр Калашников и о. Д. Соболев, а несколько позже о. С. Булгаков. Владыка Митрополит не только посетил Съезд, но остался на два дня. Из профессоров были: Н.Н. Глубоковский, А.В. Карташев⁵³, С.С. Безобразов, Н.А. Бердяев и Б.П. Вышеславцев. Из иностранцев только Г.Г. Кульман и А.А. Мироглио⁵⁴. Делегаты были: из Нанси — Азанчеев, Лилля — Можайский, Лиона — Шмук⁵⁵, Монтаржи — Ф. Титов, Монпелье — М. Яшвиль и Фидлер, Марсея — Е. Ге<нрз> и М. Лавров⁵⁶, Белграда — С.М. Зернова, Брюсселя — Д. Шаховской, Николайченко, Г. Цебриков, Игнатъев Н.В.⁵⁷, из Берлина — Крашенников, Ф.Т. Пьянов, из Праги — М.С. Булгакова, Юрий Степанов и И.П. Георгиевский⁵⁸, из Лондона — Кс. Брайкевич⁵⁹. Гостями были: П.К. Иванов, А. Михайлов, Н.К. Краевич, Н.Н. Вышеславцева, Маргарита Бюнтинг, Леонид Иванов, Николай Игнатъев (от митрополичьего штата), В.С. Мальшева и Н.В. Лаврова⁶⁰. Кроме того, из двух присланных правыми Григоровича Фурсамовича и Недригайлова⁶¹ в прошлом году как «наблюдатели», один вернулся уже как сочувствующий и заинтересованный работой. Св.-Троицкое Братство было почти в полном составе и несло главную ответственность за программу Съезда. Были оба Агищевых, оба Сериковых, Милица Лаврова, оба Зандера, Наташа Калашникова, Ельпидинский, о. Лев Липеровский, Г. Морозов, Ник. Федоров⁶² и я сам. Клармарский кружок оказался тоже весь в наличности: Ольга Веригина, Ася Оболенская, Максим, Евграф, Гика Кривошеин, Адя Карпов, Петр Лермонтов, Сергей Матвеев, и к ним присоединился Адлер⁶³ из Воскресного Кружка. Воскресный Кружок был в составе: Наташи Брюнель, Г. Блесс, В. Крашенниковой, Б. Недригайлова, С. Рышковой, Н. Харитоновской, А. Челищевой и А. Чекана⁶⁴. Библейский Кружок послал: Н. Яремченко, Б. Очередица, Авг. и Клавдию Перешневых, Н. Рышкову и Н. Кедрову⁶⁵. Наконец, на Съезд приехал весь наличный состав студентов Богословского Института: В. Бобковский, А.И. Греве, В. и П. Евдокимовы, Ив. Егоров, С. Отман, Вс. Палашковский, В. Ревенко, В. Ржецкий, Мих. Соколов, Ал. Ставровский (представлявший и Фотиевское братство), Павел Щуров⁶⁶. Клармарский Кружок собирался каждый день после обеда в своей среде и

обсуждал доклады, остальные кружки собирались раз или два для обсуждения своих дел перед информацией о жизни отдельных объединений.

Вторник, 8/21 июля.

Ввиду того, что Н.А. Бердяев запоздал, Бюро утром решило перенести на первое собрание доклад еп. Вениамина, который к тому же должен был уехать на день ранее окончания.

О. Александр Калашников сказал вступительное слово, а потом владыка Вениамин — о воспитании христианского характера и подготовке христианина к общественному служению. Мысли доклада были интересные, но спорные, он напирал на монашеское служение в ущерб общественно-церковному, но в то же время защищал церковный быт, против которого вооружаются наши революционеры-интеллигенты. После обеда было сообщение об Академии, ее целях и работе. Было рассказано о сборе средств, покупке Подворья и первом Акте, начали также информацию с мест, которая шла все после обеда. Особенно горячее обсуждение было после итогов работы Братства, которые не удовлетворили кламарцев и Дим. Шаховского, которые на несколько ладов развивали ту же тему: к чему братство, когда оно не реальное активное ядро, а какой-то идеальный дружеский союз. Спорили страстно А. Ставровский, С. Матвеев и Г. Кривошеин.

О работе Парижского Воскресного Кружка говорил Пав. Евдокимов и Коля Агищев, от Клармарского Кружка выступал Андрей Карпов, о жизни Академии рассказывал Евграф; о Марселе — М. Лавров, о Монпелье — М. Яшвил, который тоже хочет поступить с осени в Академию; о Лионе — А. Шмук. Несколько очень метких, но подчас резких замечаний вставил к слову Максим.

Среда, 9/22 июля.

Окончательно установили порядок дня (Правление собиралось вчера дважды, и меня так часто отрывали из-за приезда делегатов или по хозяйственным делам, что я не слышал ни докладов, ни информации). А.И. Чекан взялся за хозяйственную (питательную) часть с Н. Брюнель и снял с меня часть забот. Сегодня уже 72 человека. Будим всех в 6 ч. утра, в 7 — литургия (сегодня служил о. Д. Соболев). Пение, благодаря братьям, наладилось очень хорошее. В 8 ½ — чай, от 10 до 12 — лекция и обсуждение. В 1 ч. — обед в трапезной, в

полуподвальном помещении. В 4 часа — чай с хлебом и вареньем. От 5 до 7 — собрания с сообщениями с мест, в 7 ¼ до 8 — ужин. В 8 — вечерня и вечерние молитвы, в 11 — тушат огни. Самое важное в деле объединения время: между 2 и 5, когда все делают прогулки и обсуждают доклады. Настроение очень хорошее, несмотря на разнообразие взглядов, мнений и настроений. Чувствуется, что собрался настоящий «собор» лучших представителей молодежи, горячо обсуждающих жизненные для них вопросы.

Утром приехал Митрополит, за которым был послан автомобиль в Louviers. Встретили его очень торжественно. Он попал к концу доклада А.В. Карташева «о ближайших судьбах Русской Православной Церкви и значении братских объединений», который был горячим призывом к братскому соборному деланию. Он говорил о великой духовной роли верующей части русского рассеяния и молодежи. Просвещение должно быть церковным, мы должны оцерковить жизнь через участие Церкви во всех отраслях. Без Церкви нельзя строить государства. Многие социальные вопросы жизни народа должны быть подняты Церковью. А.В. говорил также об идее единства (духовного) Востока, об общении Церквей, о великом историческом моменте, который мы переживаем и который зовет нас на подвиг. Необходимо напряжение всех духовных сил, нельзя быть больше нейтральным. Необходима «братская армия», завоевывающая общество и народ. Много, что нельзя иерархии, может сделать церковный народ.

Доклад вызвал очень оживленный обмен мнений. Говорили П.К. Иванов, о. Димитрий, Б.П. Вышеславцев. После обеда обсуждение продолжалось и был поставлен вопрос о Троицком Братстве, соответствует ли оно идеалу Карташева. Защита членов Братства не удовлетворила Кламар и академистов, и был горячий спор о целесообразности устройства братств на место кружков.

Владыка Вениамин сделал чрезвычайно интересный доклад об Англии и поездке с Патриархами, а главное — о посещении им и М. Евлогием некоторых провинциальных соборов, куда М. Антоний не пожелал ехать, сославшись на болезнь ног⁶⁷. Встреча повсюду была не только хорошая, но исключительно горячая. Особенно близко к сердцу принял вопрос о поездке («смотринях») православных архиереев

еп. Гор (б. Оксфордский)⁶⁸. Серьезные вопросы во время поездок не подымались. Собрания были исключительно многолюдны, и создалось впечатление, что целью было общение, а не богословские споры и обсуждения. Особенно англичан интересовали пределы участия православных мирян в жизни Церкви. 29-го июня Патр. Фотий⁶⁹ прочел на собрании символ без filioque в присутствии всех английских иерархов.

Четверг, 10/23 июля.

После литургии был доклад Б.П. Вышеславцева: любовь и разум в богопознании. Много блестящих мыслей и красивых фраз, цитаты и ссылки фонтаном на Николая Кузанского (Doctor ignorantiae), Майкова (мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца), Дионисия Ареопагита⁷⁰, древних поэтов. Говорил о звездном небе, которое понятно для всех, но не может быть доказано. Подробно остановился на «сердце» в Библии. Заявил, что для мыслящего человека атеизм есть своего рода безумие и закончил утверждением, что если свободу понимали до сих пор, как отрицание Бога (свободо-мысле), то пора прийти к убеждению, что истинная свобода — в утверждении Бога.

Все отдельные члены Съезда так сжились друг с другом, что чувствуют себя единой семьей. Все ярче и определеннее чувствуется важность для людей выехать хотя бы на одну неделю из обычной обстановки и погрузиться в монастырскую жизнь, соединенную с общением и десятками интересных и жаждущих духовного знания и опыта людей.

После доклада Вышеславцева было обсуждение и продолжалась информация с мест и о жизни заграничных кружков.

В жизни Съезда произошло еще одно неприятное событие. Ночью полил невероятный ливень и была гроза. Наш павильон был залит, и кровати плавали в воде, а, кроме того, из-за грозы испортилось мясо, но все были так увлечены общей жизнью и переживаниями, что перенесли неприятность незаметно.

Н.Н. Глубоковский несколько раз выступал с дополнениями. Владыка Митрополит, который уехал с еп. Вениамином встречать патриархов, беседовал с отдельными лицами и говорил на собрании.

Суббота, 13/26 июля.

Утром, после литургии, был доклад о. Сергия Булгакова: «Аскетизм в миру», который очень многих взволновал и

затронул. Интересный доклад вызвал горячее обсуждение, в котором приняли участие А.В. Карташев, С.М. Зернова, С.А. Отман, Д. Шаховской, Г. Морозов и мн. другие. Мне пришлось ходить дважды на вокзал из-за коллективного билета, отъезда некоторых членов и встречи других. Количество участников с 82 достигло 90. Праздновали 50-летие Карташева, пели ему многая лета.

Вечером была торжественная всенощная, а потом до 12 ночи — исповедь у трех священников. Этот последний вечер был особенно для все полон духовных переживаний. Говорили о докладе отца Сергия, о его словах о семье как о малой церкви, и настроение было исключительно спокойное. Небольшой инцидент произошел только с одной из участниц Съезда, Маргаритой Бюнтинг, которая упала в темноте и сильно поранила себе руку, но наши врачи ее скоро перевязали. Все же до самого конца Съезда она ходила с рукой на перевязи.

Вечером мы долго не спали. В нашей комнате между пятью был очень оживленный духовный разговор (нас трое, Павлик и Николай).

Воскресенье, 13/26 июля.

Последний день Съезда был очень торжественным. Утром — литургия, которую служили 3 священника. Хор был хороший. Причащалось больше 60 человек. Потом до обеда не было официальной программы, и все ходили по парку. Трапеза была праздничная. Не хотелось разъезжаться. Оставили с грустью Аржерон, где провели удивительные по настроению 6 дней. Обратный путь был благополучен, но на St Pierre поезд из Руана пришел уже набитым, и с трудом удалось разместить всех по вагонам. На Gare St Lazare пошел первым к контролерам из-за коллективного билета. Оба контролера оказались русскими. Они мне предложили встать рядом с ними и указывать на членов нашей группы. Почти час мы толпились в *sale des pas perdus*^{*}, все надо было друг другу кое-что передать и сговориться о встречах в Париже в течение ближайшей недели.

Счет мне удалось свести так удачно (я взял, вместо 45 по 50 фр. со студентов, на что никто не обратил внимания, а плативших целиком просил вносить по 100, вместо 90), что были оплачены поездки всех делегатов из провинции и из-за

* Зал ожидания (*фр.*).

границы, и субсидия от иностранных друзей была сильно сокращена против сметы.

Съезд несомненно удался. Интерес, который он возбуждал, большой, а главное, многие делегаты с мест стали убежденными сторонниками духовной работы среди студенчества и молодежи.

Возвращение со второго Аржерона.

Понедельник, 14/27 июля.

Начинается опять парижская жизнь. Долго ли она продолжится, удастся ли поехать на юг? Что будет с диссертацией? Встали с тяжелой головой, много сделано, многое нужно пересмотреть. Аржерон прошел, а что он принес — не знаю: трудно пока уяснить себе его результаты. Поленился и не поехал в Академию на лекции, студенты были рады и проболтали час с С.С. Безобразовым о съезде. На Подворье я приехал к 3 часам, мало кого застал; говорил с о. Сергием Булгаковым, о его переживаниях за последние дни съезда. Потом окунулся сразу в студенческое мировоззрение и миропонимание. В дортуаре собрались многие и беседовали. Некоторая недомолвка между о. Димитрием и С.С. улаживается. Остался и к ужину, видел владыку. <...>

Среда, 16/29 июля.

Был на лекции и у владыки, который говорил об Аржероне, и у Серг. Серг. Сегодня провожали патр. Фотия, который не находил слов благодарности нашему митрополиту. В Академии духовное и умственное утомление, все устали за съезд и учатся с усилием; по 7 лекций в день из-за Ник. Ник. Глубоковского. — Днем рассчитывался с Кульманом, который был доволен сметой. Бедная Ольга Веригина, ей очень трудно, ей не позволяют бывать в Кружке и в Медоне. Требуют, чтобы она работала на всех, а она не может ничего найти. Вечером долго обсуждали вопрос об отношении к Имке и к Движению. — У нас ночует дядя Ваня.

Четверг, 17/30 июля.

<...> ...вечером был в Клараре на Кружке: присутствовало 10 человек, пели многая лета Гике Кривошеину, которому 25 лет, и много спорили с ним. <...>

Четверг, 24 июля / 6 августа.

Все бегаю по библиотекам, делам; вечером — братство у Сериковых. Тесно, но уютно. С Наташей — обмороч.

Обсуждали вопрос о расширении и гостях, который нас долго мучает. У нас последний кружок Кламара и 11 человек, большая радость.

Вторник, 29 июля / 11 августа.

<...> В 6 бегал в Кламар за Веригиной. Все меня оставляли на вечер, но у меня Братство дома. Собралось человек 12. Пели вечерню, слушали авву Зандера; решили приглашать гостей.

Воскресенье, 2/16 августа.

На rue Daug^{*} толпа неимоверная, полна вся улица. Обедали, как не было давно, все впятером. Был вновь на выставке, а потом ездил поздравлять в Bourg la Reine^{**} А.В. Карташева с днем Ангела; кроме С.С. и меня никого не было. Время провели в беседе, чаепитии и за обильным угощением; были и деловые разговоры. Снимал хозяев в саду. Домик славный, много зелени, близко от вокзала и очень просторно, комнаты хорошие. — На Dupuytren было заседание президиума, решали вопросы, касающиеся конференции в Хопове, а особенно занимались визами. Вечером — на Кружке. Еп. Вениамин читал о Церкви.

Воскресенье, 10/23 августа.

<...> Не был на собрании кружка, на котором о. Сергей читал о празднике Успения.

Пятница, 15/28 августа. Праздник Успения.

Был на Daug, где соборная, но не архиерейская служба. Обедали все вместе впятером и с Николкой Игнатьевым. Днем сидели дома. Я ездил с матерью на панихиду по Людмиле Аникитовне. В церкви тишина, спокойствие, чудное настроение. Вечером братство, мирно, тихо, обсуждали доклад Г. Морозова и Сериковой о Царстве Божиим. Особенно благодатное собрание. О. Александр прочел акафист Успению.

Четверг, 2/15 октября.

<...> Вечером был в Братстве у Льва, говорили о Хопове⁷¹ и о необходимости и нам говорить об идеологии.

Пятница, 10/23 октября.

Утром пришла Ольга Веригина. Оставили ее обедать. Она очень живо и интересно рассказывала о Хопове. И на мать, и на меня, и на Максима, почему — не знаем, это посещение

* Улице Дарю (*фр.*).

** Бур-ля-Рен (*фр.*), пригород Парижа.

произвело грустное впечатление. Какое-то томление духа, но не знаю, почему. Был в Банке и всюду, чтобы осведомиться: в воздухе плохо, франк слаб. Если уйдет Caillaux⁷², кредит полетит. Вечером был еще в Братстве. Было важное обсуждение, и после споров и огорчений решили все-таки приглашать новых членов-гостей, причем самые упорные противники оказались наибольшими защитниками этого допущения.

Четверг, 30 октября / 12 ноября.

<...> Вечером было собрание Братства. Был Андрей Як. Ельпинский, говорили о его пострижении; он кланялся каждому в ноги, и каждый отвечал ему земным поклоном. Говорил о своих намерениях; они хорошие, семейные, хозяйственные, но ничего монашеского нет. Тяжело, что он идет в монастырь не ради монашества, а по долгу. Ал. Ив. Чекан говорил о только что почившем епископе Ионе Тянь-Дзинском⁷³. Царство ему Небесное! А на земле – слава. Он мало известен, а какой чудный пример для современников. Епископ молодой, без связей, который сумел, несмотря на тяжелое каноническое положение, в маленьком городке поставить себя так, что его чтили и уважали не только русские, все без исключения (к нему за всякими советами обращалось левое городское управление и без него не начинало никакого дела), без него в крае ничего не предпринималось. Он умел держать в руках не только китайцев, но и советских представителей, и его слово было непоколебимо. Если он просил чего-нибудь, то прибавлял: «Вы должны это исполнить, ибо епископу Божией Церкви отказать нельзя». Духовный сан, благодаря ему, стоял так высоко, что все считали его первым человеком в крае. За ним шли тысячами и русские, и язычники. Смерть его удивительна. Утром он узнает, что умрет днем (он был болен дифтеритом), зовет монахов и духовенство, составляет завещание, зовет народ, говорит с арх. Мефодием⁷⁴; за 20 минут до смерти сам облачается в омофор и мантию, начинает сам читать отходную. За 5 минут до смерти приказывает отворить настежь двери и благословляет собравшийся народ (до 4 тысяч человек). Потом со свечой в руке умирает. Дивны дела Твоя, Господи! Тяжело потерять такого пастыреначальника Православия.

Четверг, 6/19 ноября.

<...> Вечером я был в Кружке Братства, читал доклад о «нищих духом» и детях (тексты). Обсуждали вопрос незнания

и неведения в аскетической практике борьбы с соблазнами разума. В нашем Клармарском кружке событие за событием. В 7 часов прибегает, запыхавшись, Ольга Веригина и сообщает, что она решила через неделю венчаться с Ал. Ник.⁷⁵, несмотря на уговаривания и запрещение ее матери. С Домной Алексеевной обморок, Константин⁷⁶ возмущен, и Ольгу не пускают домой. Она пришла посоветоваться с моей матерью и искать Льва. Как все это неожиданно, и для чего: разрыв с семьей, спех, желание делать по-своему. Бедный Ал. Ник., я его жалею; он здесь ни при чем, но его страшно невзлюбили. Он совершенно не подходит к Ольге, человек скучно добродетельный, без порывов, она же с духовными высокими запросами. Мы огорчены. Пропадет особенная Ольгина сила, а жить будут, Бог даст, хорошо, она до него опустится, пожалуй. Один сильный характер в нашей среде и зря пропадает. Страшно я огорчен, ведь можно и с Ал. Ник. устроить благороднее и не рвать с родными. Каково ему самому! В тот же день Сережа объявил официально, что женится на Ольге Ник. Можайской⁷⁷. Предложение сделала она, он бы никогда не решился, обескураженный предыдущими отказами. Как бы только из-за светской беготни не забыл бы он храма Божия, а из Академии и то хочет уйти. Так как у Ольги Веригиной ничего нет, то свадьба будет без всякого блеска, без платья, без певчих и присутствующих; два шафера — я и Максим (?), а может быть, я один, поют братья (?). Венчать в день под пост. Как это Ольга, такая уставщица и законница, а хочет венчаться вне правил. <...>

Четверг, 13/26 ноября.

<...> Вечером собрание Братства Св. Троицы. Молебен и краткое слово об Ангелах о. Александра.

Пятница, 14/27 ноября. Ап. Филиппа.

Утром занимался домашними делами; в 11 поехал делать покупки для угощения после венчания. Приготовил 12 литров с шампанским и Сугасао* крющона и несколько пирогов и других печений. Оставался к обеду на Подворье. Скоро стали прибывать люди на свадьбу Ольги, а ничего не было еще приготовлено, спешно таскали столы и с трудом к 2 ½ удалось привести все в порядок. Неожиданно явился Карпов, а за ним люди несли чудное вино, литров 12, мараскин, коньяк,

* Кюрасао (фр.).

бананы, ананасы, сахар. Началось спешное приготовление второго кружона. К началу свадьбы еще ничего не расставлено, не разрезано, не устроено. Алексей Ник. покушался два раза пройти в церковь до срока. Невеста вошла с старшим шафером и посаженным отцом. Народу много. Старшая подруга по родству Суворина — обида для Анночки Сабуровой⁷⁸, которая готовилась держать букет. Ни матери, ни брата не было. На первом же возгласе Ольга кланяется истово и вся загорается от свечи. Фата пылает, люди бросаются, тушат. Свадьба идет, поют прекрасно, стройно, 20 шаферов, я бегаю все время вниз, чтобы окончить приготовление к угощению. Так и не был шафером. После конца о. Сергей ведет новобрачных к алтарю. Потом поздравления, кружон, который, особенно мой, вышел очень приятен. Бедные голодные Толстые никак не могли уйти из трапезной и все «грелись», сломали два стакана. Алексей ждал тщетно полчаса невесту, наконец, она вышла, и под звуки «ура» они уехали в Версаль на такси. У нас был Сережа Игнатович, вечером говорили о свадьбе. У Можайских опять был пожар на квартире.

Среда, 19 ноября / 2 декабря.

<...> У нас был вечером Кружок, на который собралось до 15 человек; был в первый раз Юр. С. Арсеньев⁷⁹, который вел оживленный спор о Церкви с Евграфом. Коля Зернов поучал всех и выразил огорчение, что такие таланты пропадают даром! Соня пришла к ужину и осталась до 11. Приходили Можайский со свадебным визитом и Ал. Андреевна.

Четверг, 20 ноября / 3 декабря.

<...> После всенощной был у Милицы, страстный спор о жизненности Братства, о необходимости иметь друг к другу хоть бы желание помощи. Шумели до 11 часов и вышли утомленными из светлички, где особенно мило.

Четверг, 11/24 декабря.

<...> Вечером было общее собрание Кружков, очень оживленное и кипучее. В.В. Зеньковский говорил о движении, ему возражали почти все; некоторые, как Соня или Ольга Можайская, страстно, одни стояли за деятельность, другие — против движения, третьи — за цели. В.В. говорил о любви и о трудности людям сойтись, ибо внутренняя жизнь сложна, о единстве в неверии, ибо там подбор худших, а в Церкви все — и дурные, и хорошие, без различия; упомянул

о правиле блаж. Августина в главном быть вместе, в спорном свободным и во всем руководствоваться любовью. Одни требуют взаимности, другие — нет, надо всегда знать, когда подходишь к человеку. Не надо наивности. Многие высказали все, что было на душе, и поэтому собрание было очень хорошее. Настроение в городе торжественное, как в пасхальную русскую ночь. Все движется, выходят целыми семействами в церковь, всюду полно за 1 1/2 часа до начала, все веселы, но важно чувство чего-то великого и торжественного на всех лицах. Шли с Евграфом на Messe de Minuit* в нашей Медонской церкви. Кюре говорил о гибели Франции из-за нежелания иметь детей, а те, которые живут, погибают в лаических школах, и души их сухи и убиты.

Пятница, 12/25 декабря.

Местное Католическое Рождество. Было экстренное собрание Братства по случаю введения устава и обсуждения дальнейшей работы. У нас к чаю были Тепловы и Миша со своей невестой; она все время волновалась за него и на него умиленно смотрела. Ал. Гр. рассказывал много интересного о каких-то древних раскопках.

Четверг, 18/31 декабря.

<...> Вечером у нас был Кружок и доклад Н.С. Арсеньева⁸⁰, говорившего о современном моменте и наших обязанностях. Я был у Наст. Георгиевны, волновались с ней о визах и говорили о тяжелом русском житии. Я не мог съездить в Братство, так как чувствовал себя плохо, и сидел в Кружке.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Евдокимов Павел Николаевич (1900–1970), православный богослов и церковный деятель, в эмиграции с 1920, с 1923 жил в Париже, первый секретарь РСХД во Франции (1924), окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт (1928) и защитил докторскую на филологическом факультете университета в Экс-ан-Провансе (1942), с 1953 преподавал в Свято-Сергиевском институте (с 1959 профессор). Автор множества книг и статей о православии и духовной жизни, написанных на французском языке.

Брюнель (Brunel) Натали (1900–1945), француженка, перешедшая в православие летом 1928 года на летнем местном съезде РСХД во Франции и ставшая затем женой Павла Евдокимова.

* Полуночную мессу (*фр.*).

Кульман Густав Густавович (Kulmann, 1896–1961), швейцарский юрист, секретарь американской YMCA для работы среди русских эмигрантов в Германии, один из основателей РСХД и издательства YMCA-Press; в 1928 г. принял православие; женился на М.М. Зерновой; с 1936 г. работал в Комиссии по делам беженцев в Лиге Наций.

² Лаури Дональд (Lowrie) (1899–1974), американский религиозный деятель, активист YMCA, автор книг о русском православии. В 1922–1930 гг. секретарь YMCA по студенческой работе в Чехословакии, участник первого Пшеровского съезда РСХД, в 1930–1932 секретарь YMCA по студенческой работе в Белграде. Помогал русским эмигрантам при основании РСХД, Свято-Сергиевского института, издательства YMCA-Press (руководил издательством с 1946 по 1952). С 1947 старший секретарь YMCA во Франции.

Зандер Лев Александрович (1893–1964), религиозный деятель, философ, богослов, один из основателей и активный деятель Русского Студенческого Христианского Движения. Эмигрировал в 1922 через Китай в Чехословакию, затем во Францию.

Липеровский Лев Николаевич (1887–1963). Военный врач и религиозный деятель, эмигрировал в 1920 через Сибирь, дальний Восток и Китай, в 1922 участвовал в съезде Всемирной студенческой федерации в Пекине, затем жил в Праге, с 1925 в Париже. Активный участник РСХД. С 1925 дьякон, с 1934 священник, с 1946 протоиерей.

³ Епископ Пражский Сергей (Королев) (1881–1952). В эмиграции с 1922, был настоятелем Св.-Николаевского храма в Праге и викарным епископом митр. Евлогия для приходов в Чехословакии. В 1950 вернулся в СССР, был архиепископом Казанским.

⁴ Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962), философ и богослов, в эмиграции с 1920, в 1924 профессор Русского педагогического института в Праге, пожизненный председатель РСХД. С 1926 в Париже, профессор Свято-Сергиевского института. В 1942 рукоположен в священники, с 1944 протоиерей.

Струве Константин Петрович, будущий архимандрит Савва (Струве, 1900–1949), сын П.Б. Струве, окончил в 1928 первый выпуск Свято-Сергиевского православного богословского института, принял монашеский постриг, с 1930 настоятель прихода в с. Ладомирово (Словакия), член монашеской братии обители прп. Иова Почаевского, с 1944 архимандрит и настоятель обители.

⁵ Афанасьев Николай Николаевич (1893–1966), богослов, историк Церкви, с 1940 священник, с 1963 протопресвитер. В эмиграции сначала жил в Югославии, где окончил богословский факультет Белградского университета (1925), в 1930 переехал в Париж, преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте, в 1941–1947 был настоятелем русской церкви в Тунисе, затем вернулся во Францию.

Зернов Николай Михайлович (1898–1980), церковно-общественный деятель, философ, историк, богослов, активный член РСХД. В эмиграции с 1921, окончил в 1925 богословский факультет Белградского университета, затем переехал во Францию, в 1925–1932 секретарь РСХД, один из первых редакторов «Вестника РСХД». Женился на Милице Лавровой. С 1934 жил в Англии, преподавал в Оксфордском университете, секретарь англикано-православного Содружества св. Албания и прп. Сергия.

⁶ Черношвитова Мария Васильевна (1875–1970), певица, пианистка, преподаватель музыки, литератор. Эмигрировала в Прагу, в конце Второй мировой войны переехала в Париж, а в конце 1950-х в США.

⁷ Струве Лев Петрович (1902–1929), сын П.Б. Струве, брат Константина Струве, студент Высшей торговой школы в Берлине, был болен туберкулезом.

⁸ Речь идет о прот. Сергии Булгакове, преподававшем тогда на русском юридическом факультете в Праге и переехавшем в Париж для преподавания в Свято-Сергиевском православном богословском институте в июле 1925.

⁹ Речь идет об Аркадии Петровиче Струве (1905–1951), еще одном младшем брате Константина Струве, активном участнике РСХД и секретаре епископа Пражского Сергия (Королева).

¹⁰ Марцинковский Владимир Филимонович (1884–1971), религиозный деятель, публицист, проповедник, мыслитель. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, с 1913 участник Российского студенческого христианского движения, YMCA в России, библейских кружков. В 1920 принял крещение от евангелического проповедника. В 1923 эмигрировал, жил сначала в Польше, затем в Праге. Один из организаторов первого Пшеровского съезда РСХД. С 1930 до конца жизни жил в Палестине (Израиле), руководил еврейско-арабской христианской евангелической общиной.

¹¹ Речь идет о В.В. Зеньковском.

¹² Никитин Александр Иванович (1889–1949). В эмиграции с 1920, жил в Болгарии, с 1922 секретарь Болгарского студенческого христианского движения; один из организаторов первого Пшеровского съезда РСХД; в 1930-е гг. жил в Париже, старший секретарь РСХД и секретарь местного РСХД во Франции; с 1945 жил в Германии.

Протопресвитер Шавельский Георгий Иванович (1871–1951), до революции профессор богословия и протопресвитер военного и морского духовенства, в Гражданскую войну протопресвитер военного духовенства Добровольческой армии; в эмиграции в Болгарии, профессор богословского факультета Софийского университета.

Флоровский Василий Антонович (1852–1928), митрофорный протоиерей, отец Г.В. Флоровского; с 1920 в эмиграции в Болгарии, помощник настоятеля русской Св.-Николаевской церкви в Софии.

¹³ Архимандрит Софроний (Чавдаров) (1888–1961), с 1931 епископ Болгарской православной церкви, с 1935 митрополит Велико-тырновский.

¹⁴ Речь идет о русских религиозных философах Л.П. Карсавине, Н.А. Бердяева и С.Л. Франке.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952), религиозный философ, историк-медиевист. В 1922 выслан из Советской России, жил в Германии, с 1926 во Франции; в 1928 переехал в Литву, где в 1949 был арестован НКВД. Погиб в лагере для инвалидов Абезь в Коми АССР.

Колпинский Диодор Валерианович, священник (1892–1932). Был католическим священником восточного обряда в Петрограде, в 1921 эмигрировал и перешел в православие, служил в Германии, в 1927–1928 был настоятелем Покровской церкви в Вене, в 1928 снова перешел в католичество, последние годы жил в Шанхае.

¹⁵ Прозоров Григорий Николаевич (1864–1942), митрофорный протоиерей, в эмиграции в Берлине, в 1924–1927 помощник настоятеля Св.-Владимирской церкви в Берлине, в 1927–1931 ее настоятель, затем перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, был настоятелем прихода МП в Берлине.

Дневниковые записи П.Е. Ковалевского о его участии в местном съезде РСХД в Германии в Фалькенберге в 1924 г. см.: *Ковалевский П.Е. Из дневников 1923–1924 годов // Вестник РХД. 2021. № 214. С. 151–156.*

¹⁶ Пьянов Федор Тимофеевич (1889–1969), религиозный и общественный деятель, в эмиграции с 1921, жил сначала в Югославии, затем в Германии, в 1923–1927 был одним из руководителей РСХД в Германии, с 1927 жил в Кламаре, под Парижем, в 1927–1935 был секретарем РСХД. Помогал матери Марии (Скобцовой) в создании общества «Православное Дело», был секретарем правления. В 1943 был арестован вместе с другими участниками «Православного Дела», до 1945 содержался в Бухенвальде, выжил и вернулся во Францию. После войны продолжал деятельность «Православного Дела», в последние годы жил в Русском доме в Нуази-ле-Гран.

¹⁷ Стремление к оцерковлению жизни стало одним из главных девизов РСХД начиная с первого, Пшеровского съезда.

¹⁸ Бобровский Георгий Анатольевич (1902–1958), участник Первой мировой и Гражданской войн, в эмиграции в Чехословакии, учился на архитектурном факультете Пражского университета, был активным участником РСХД, с 1928 секретарь РСХД в Чехии, с 1930 дьякон. Занимался организацией скаутского движения сначала в

Праге, затем в Париже, где окончил Свято-Сергиевский богословский институт. В 1952 переехал в США.

¹⁹ Возможно, Александр Семенович Давидович (1892–?), горный инженер, в эмиграции в Чехословакии, в 1923 окончил Высшую горную академию в Пршибраме, позже переехал в США.

Смолич Игорь Корнильевич (1898–1970), офицер, историк, богослов, общественно-религиозный деятель; с 1923 в эмиграции жил в Берлине, окончил историко-филологический факультет Берлинского университета, активный участник РСХД; с 1931 профессор Берлинского университета; в 1964 Свято-Сергиевским православным богословским институтом удостоен звания почетного доктора церковных наук.

²⁰ Безобразов Сергей Сергеевич (1892–1965), богослов, один из первых преподавателей Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета, с 1947 епископ Кассиан и ректор института.

²¹ Зернова Софья Михайловна (1899–1972), сестра Н.М. Зернова, активно участвовала в РСХД и благотворительной деятельности в эмиграции, помогала детям и безработным. Окончила философский факультет Белградского университета, в 1925 переехала в Париж, основала там Центр помощи русским беженцам.

²² Тугаринов Александр К., в эмиграции жил в Югославии, активный член РСХД, участник 1-го Пшеровского съезда, один из руководителей кружка РСХД в Загребе.

²³ Евдокимов Владимир Николаевич (1895–1982), брат П.Н. Евдокимова, религиозный деятель, жил во Франции, активно участвовал в РСХД.

²⁴ Шумкин Георгий Николаевич (1894–1965), митрофорный протоиерей (1954); в эмиграции в Чехословакии, активный член РСХД, окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже (1928), с 1925 дьякон, с 1927 священник, духовный руководитель летних лагерей РСХД для девочек. После 1946 в юрисдикции МП.

²⁵ Лазаревский Владимир Александрович (1897–1953), журналист, редактор, переводчик, общественный деятель. С 1920 в эмиграции, окончил русский юридический факультет в Праге, с 1926 в Париже, выпускающий редактор газеты «Возрождение», с 1931 секретарь Объединения русских, окончивших высшие учебные заведения за рубежом.

²⁶ П.Е. Ковалевский работал в это время над диссертацией о Н.С. Лескове.

²⁷ Морозов Георгий Вадимович (1900–1993), иконописец, член общества «Икона», с 1920 жил в Париже.

²⁸ Ковалевский Максим Евграфович (1903–1988), математик, духовный композитор, регент; младший брат Петра Ковалевского, средний из трех братьев (Петр самый старший).

²⁹ Вероятно, Николай Дмитриевич Василенко (1898–1952), инженер-электрик, казак, изобретатель, в эмиграции жил во Франции, дружил с П.Е. Ковалевским.

³⁰ Третьяков Сергей Сергеевич (1907–1973), в эмиграции с 1920, жил в Париже, художник, с 1921 иподьякон Св.-Александровского собора.

³¹ Епископ Вениамин (Федченков) (1880–1961), в 1923–1924 гг. был руководителем православной миссии в Прикарпатской Руси. В 1925 по приглашению митр. Евлогия переехал в Париж и был инспектором Свято-Сергиевского православного богословского института; в 1931 стал основателем и первым настоятелем храма Трехсвятительского подворья в Париже, оставшегося в юрисдикции Московской патриархии после перехода митр. Евлогия в Константинопольский патриархат. В 1947 еп. Вениамин вернулся в СССР, почил в Псково-Печерском монастыре.

³² Сухих Николай Николаевич (1874–1934), в 1912–1917 главный инженер в правлении общества «Самолет», в эмиграции с 1920, с 1924 во Франции. В 1925 рукоположен сначала в дьякона, затем в священника, с 1930 иеромонах Серапион, настоятель Св.-Николаевской церкви в Тулоне.

³³ Франк (урожд. Барцева) Татьяна Сергеевна (1886–1984), была выслана из Советской России вместе с мужем, С.Л. Франком, до 1937 жила в Берлине, затем во Франции, с 1945 в Лондоне.

³⁴ Епископ Тихон (Лященко Тимофей Иванович) (1875–1945), с 1924 епископ Берлинский, викарий Западно-Европейской епархии для приходов в Германии, с 1926 откололся от митрополита Евлогия и был назначен Архиерейским Синодом РЗЦ епархиальным архиереем новосозданной Германской епархии, а митрополитом Евлогием запрещен в священнослужении. С 1936 архиепископ в РЗЦ, в 1938 уволен на покой.

³⁵ Зернова Мария Михайловна, в замужестве Кульман (1902–1965), педагог, возглавившая впоследствии Содружество молодежи и Юношеский клуб при РСХД, сестра Н.М. Зернова и С.М. Зерновой.

³⁶ Угримова Вера Александровна, в замужестве Решикова (1902–2002), хормейстер, педагог, религиозный деятель, мемуарист. В Москве окончила Музыкальный ритмический институт, в 1922 была выслана с родителями в Германию, участвовала в РСХД, с начала 1930-х гг. жила во Франции, организовывала детские спектакли и музыкальные программы; в 1947 вернулась в СССР, преподавала иностранные языки, занималась переводами.

³⁷ Стефанович Константин Львович (1906–1966), художник-график, актер, в эмиграции жил в Берлине, в юности прислуживал епископу Тихону (Лященко).

³⁸ Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1967), церковно-общественный деятель, историк Церкви. До революции служил в Министерстве внутренних дел, в эмиграции был членом Высшего монархического совета, активным церковным деятелем РЗЦ и сотрудником монархической периодики, жил в Белграде, с 1947 в США, профессор по кафедре истории Церкви в Троицкой семинарии в Джорданвилле.

³⁹ Пауль фон Гинденбург (1847–1934) в 1925–1934 был рейхспрезидентом Германии.

⁴⁰ Речь идет о книге Л.П. Карсавина «О Началах» (Берлин, 1925).

⁴¹ Угримова Надежда Владимировна (урожд. Гаркави) (1874–1961), жена высланного и России агронома А.И. Угримова, мать А.А. Угримова и В.А. Угримовой.

⁴² Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954), русский религиозный мыслитель, в эмиграции с 1922, сначала в Берлине, затем в Париже; преподавал нравственное богословие в Свято-Сергиевском православном богословском институте, был одним из редакторов журнала «Путь» и издательства «УМСА-Press», после Второй мировой войны жил в Швейцарии.

⁴³ Священник Александр Васильевич Калашников (1860–1941), рукоположен уже в эмиграции, во Франции жил с 1923 года, был сначала разъездным священником, с 1924 года духовным руководителем Братства Святой Троицы, активно участвовал в РСХД; с сентября 1924 по май 1928 был настоятелем церкви св. Константина и Елены в Клармаре, с 1928 протоиерей.

⁴⁴ Ельпидинский Андрей Яковлевич (1894–1959), в 1925 студент Свято-Сергиевского православного богословского института, принявший монашеский постриг. Иеромонах Андроник (с 1937 архимандрит) в 1931–1949 был начальником православной миссии в Индии; с 1949 в США.

⁴⁵ Адлер Александр Севастьянович (1903–1954), литератор, в эмиграции во Франции, примыкал к парижской группе евразийцев.

⁴⁶ Священник Димитрий Николаевич Соболев (1890–1961), с 1954 протоиерей. В 1925 был в юрисдикции митрополита Евлогия настоятелем Св.-Николаевско церкви в Лилле, затем разъездным священником во Франции; в 1931 уволен от приходской службы за нарушение церковной дисциплины, перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, был помощником настоятеля Трехсвятительского подворья; в оккупированном Париже арестован нацистами за помощь евреям, вернулся из заключения в концлагере Дора, служил в Париже и в Нуази-ле-Гран.

⁴⁷ Керн Константин Эдуардович, впоследствии архимандрит Киприан (1899–1960), богослов, историк церкви, литургист. В эмиграции с 1920 в Сербии, в 1926 окончил богословский факультет Белградского университета, с 1927 иеромонах, в 1928–1930 начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, с 1936 в Париже, преподавал в Свято-Сергиевском институте.

⁴⁸ Карпов Андрей Федорович (1902–1937), философ, художник, участник РСХД. В эмиграции с 1920 в Париже, окончил философское отделение Сорбонны. Перед смертью выпустил книгу «Диалоги Платона». Умер, заразившись тифом во время поездки в Грецию. Некролог о нем в журнале «Путь» (1937, № 54) написал Н.А. Бердяев.

⁴⁹ Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937), историк церкви, академический богослов, в эмиграции профессор богословского факультета Софийского университета.

⁵⁰ Аладжиди Николай Григорьевич (1903–1993), инженер, религиозный деятель; в эмиграции жил во Франции, был членом строительного комитета по сооружению храма в Лилле, а затем товарищем председателя лилльской приходского совета.

Можайский Алексей Николаевич (1898–1992), инженер-химик, с 1925 муж О.М. Веригиной. Участник Первой мировой и Гражданской войн, в эмиграции во Франции с 1921, жил в Лилле, был старостой лилльской православной церкви. В 1925 окончил Высшую промышленную школу с дипломом инженера-химика, работал инженером, во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, помогал скрывать евреев.

Шаховской Дмитрий Николаевич, князь (1902–1989), с 1961 архиепископ Иоанн. Участник Гражданской войны, в эмиграции в Бельгии, окончил в 1926 историко-филологический факультет Лувенского университета, редактировал литературный журнал «Благонамеренный». В 1926 принял на Афоне монашеский постриг и поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. С 1927 иеромонах, служил в Сербии в РПЦЗ, затем вернулся во Францию в юрисдикцию митр. Евлогия, служил во Франции, в 1932–1945 настоятель Св.-Владимирской церкви в Берлине, с 1946 в США, в 1950–1975 епископ Сан-Францисский. Поэт и писатель, писал под псевдонимом «Странник».

⁵¹ Зернова Милица Владимировна, урожд. Лаврова (1899–1994). Врач, доктор медицины, религиозный деятель, иконописец, активная участница РСХД, с 1927 жена Н.М. Зернова. Окончила медицинский факультет Парижского университета, в 1932 защитила докторскую диссертацию. В 1938 переехала с мужем в Великобританию.

⁵² Евграф Евграфович Ковалевский (1905–1970), самый младший из двух братьев Петра, один из основателей Фотиевского братства, в будущем создатель Французского православного богословского

института св. Дионисия в Париже, епископ Иоанн Сен-Денийский и основателей «Французской католической православной церкви», которая после смены нескольких юрисдикций осталась неканонической. Евграф занимался иконописью, походный иконостас его работы использовали для церковных служб на съездах РСХД.

⁵³ Карташев Антон Владимирович (1875–1960), историк, богослов, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, общественный и церковный деятель. Был последним обер-прокурором Святейшего Синода и министром исповеданий во Временном правительстве.

⁵⁴ Речь идет об Абеле Мироглио (Miroglio), французе, стоявшем у истоков создания первых студенческих христианских кружков во Франции, свободно говорившем по-русски, секретаре Французской христианской студенческой федерации.

⁵⁵ Азанчеев Павел Борисович (1900–1979), в эмиграции окончил Политехникум УМСА в Германии, в 1923 переехал во Францию, жил в Нанси.

Шмук Анна Эдуардовна (?–1928), участница РСХД, жила в Лионе, основала Христианский кружок.

⁵⁶ Яшвиль Михаил Львович, князь (1902–1950), в эмиграции с 1920 во Франции, окончил Агрономический институт в Монпелье в 1924 и Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже в 1928, с 1929 священник, служил в Ле-Крезо, Тулоне, Ромба; знаток колокольного звона, член Свято-Троицкого братства.

Фидлер Георгий Иванович (в крещении Павел, 1900–1983), религиозный деятель; участвовал добровольцем в Первой мировой войне, в эмиграции с 1920 г., вел пасторскую работу в лютеранской церкви, участвовал в РСХД, в 1926 принял православие; автор ряда богословских работ, написанных и опубликованных по-французски.

⁵⁷ Цебриков Георгий Михайлович, прот. (1900–1950), в эмиграции жил в Бельгии, активный член РСХД, с 1925 дьякон, с 1929 священник, настоятель университетской церкви в Лувене; в 1930 перешел в католичество, стал священником восточного обряда, служил в Вене, затем в Париже; в конце 1930-х вернулся в православие, но был лишен сана указом митр. Евлогия; во время Второй мировой войны принят в клир РПЦЗ в сущем сане; в конце войны протоиерей, проживал в Германии.

Николайченко Павел Николаевич (1890–1954), есаул, казак, общественный деятель, участник Первой мировой и Гражданской войн. В эмиграции жил в Бельгии, работал поваром, служил псаломщиком в Св.-Николаевской церкви в Брюсселе.

⁵⁸ Булгакова Мария Сергеевна (1898–1979), дочь прот. Сергия Булгакова, медицинский работник, переводчик. В эмиграции в Праге, с 1925 в Париже, где в 1932 окончила медицинский факультет.

В первом браке замужем за К.Б. Родзевичем, во втором за В.А. Сцепуржинским.

Степанов Юрий П., активный участник РСХД, проживал в Брно, в середине 1920-х гг. секретарь РСХД, член Объединенного комитета РСХД в Чехословакии.

Георгиевский Иван П., активный член РСХД в Чехословакии, во второй половине 1920-х гг. товарищ председателя Объединенного комитета РСХД в Чехословакии.

⁵⁹ Брайкевич-Кларк Ксения Михайловна, церковно-общественный деятель, в эмиграции жила в Великобритании, председатель лондонского кружка РСХД, секретарь Содружества св. Албания и прп. Сергия.

⁶⁰ Иванов Петр Константинович (1876–1956), русский религиозный писатель, журналист, в эмиграции жил во Франции, автор книг «Смирение во Христе» (1925), «Тайна святых» (1949).

Вышеславцева Наталья Николаевна (урожд. Алексеева, 1886–1959), жена Б.П. Вышеславцева, церковный деятель, входила в Сестричество при соборе на Дарю в Париже, одно время была там помощницей казначея.

Маргарита Николаевна фон Бюнтинг (1907–1938), дочь убитого в революцию тверского губернатора.

Мальшева Вера Сергеевна (1886–1964), ученый-почвовед, сестра милосердия, в эмиграции жила в Париже, работала в метеорологической лаборатории, затем в Институте палеонтологии человека, преподавала на русском физико-математическом факультете Сорбонны.

⁶¹ Недригайлов Борис Владимирович (?–1934), с 1925 член центрального совета Русской монархической партии во Франции и член приходского совета собора на Дарю, работал шофером.

⁶² Агищев Николай Борисович (1899–1978), в эмиграции жил в Париже, член Братства св. Троицы, в 1931 окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт и технический институт, работал инженером-электриком в Париже, перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, с 1967 дьякон, с 1973 протодьякон. Сериков Георгий Сергеевич (1902–1991), композитор, пианист, религиозный деятель; окончил консерваторию в Лозанне, в эмиграции жил во Франции, активный участник РСХД, с 1938 священник, с 1966 протоиерей.

Серикова Екатерина Сергеевна (в замужестве Меншикова, 1901–1986), сестра Г.С. Серикова, общественный деятель, доктор медицины; эмигрировала с семьей в 1920, жила во Франции, окончила медицинский факультет Сорбонны; активная участница РСХД, с 1928 заведовала студенческим клубом при РСХД и практиковала в благотворительной Амбулатории при Сергиевском подворье; неко-торое время жила в Алжире.

Зандер Валентина Александровна, урожд. Калашникова (1893–1989), дочь о. Александра Калашникова, супруга Л.А. Зандера, активная участница РСХД и член Братства Св. Троицы, педагог, в 1949 одна из организаторов и секретарь Высших женских богословских курсов при Св.-Сергиевском православном богословском институте; занималась иконописью.

Калашникова Наталия Александровна, в замужестве Терентьева (1900–1998), дочь о. А. Калашникова, сестра В.А. Зандер, преподаватель, общественный деятель, преподавала русский язык и литературу в старших классах французских школ, активный член РСХД.

⁶³ Веригина Ольга Михайловна (в замужестве Веригина-Можайская, 1903–1997), церковный и общественный деятель; в эмиграции с 1920, с 1924 жила во Франции, делегат первого Пшеровского съезда РСХД, активная «движенка», преподавала в приходских школах, писала стихи.

Оболенская Александра Владимировна (1897–1974), княгиня, активный член РСХД, с 1937 монахиня Бландина, одна из основательниц Покровского женского монастыря.

Кривошеин Всеволод Александрович (1900–1985), с 1960 архиепископ Василий. В эмиграции с 1920 в Париже, в 1921 окончил филологически факультет Сорбонны, участник первых съездов РСХД, в 1925 поступил послушником в Св.-Пантелеймонов монастырь на Афоне, в 1927 принял там постриг, в войну нацистские власти вынудили его покинуть монастырь; с 1951 в Оксфорде, иеромонах, с 1958 епископ Волоколамский, викарий Западноευропейского Экзархата МП, с 1960 епископ Брюссельский; автор трудов по патрологии и аскетике.

⁶⁴ Рышкова-Чекунова Светлана Яковлевна (урожд. Офросимова, 1903–1981), иконописец, художник, поэтесса, в эмиграции жила во Франции, член общества «Икона».

Чекан Александр Иванович, впоследствии протопресвитер (1893–1982), участник Гражданской войны, в эмиграции с 1921 в Болгарии, окончил историко-филологический факультет Софийского университета, в 1920-е гг. председатель Союза русских студентов в Софии и Союза русских студентов в Болгарии, активный член РСХД. Затем переехал во Францию, с 1934 священник, активно занимался благотворительностью.

⁶⁵ Яремченко Николай Иванович (1900–1952), антиквар, коллекционер, общественный деятель, в эмиграции жил во Франции, держал антикварный магазин, собрал коллекцию древних икон, активный член РСХД, член общества «Икона».

Очередин Борис Иннокентьевич (? – после 1942), поэт, прозаик, актер-любитель, член РСХД.

Перешнева Августа Михайловна (1897–1964), член РСХД, в эмиграции жила сначала в Праге, затем в Париже, в 1933 работала в секретариате по внешним делам РСХД.

Перешнева Клавдия Михайловна (1900–1985), сестра А.М. Перешневой, член РСХД, жила сначала в Праге, затем в Париже, работала машинисткой в издательстве YMCA-Press, в 1927 казначей РСХД.

⁶⁶ Возможно, у автора опечатка и речь идет не о В. Бобковском, а о Георгии Анатольевиче Бобровском (1902–1952), который окончил Свято-Сергиевский институт в 1928 г., был секретарем РСХД в Чехии, с 1930 дьякон, служил в Праге, после 1945 во Франции.

Греве Алексей Иванович (1895–1983), с 1959 архиепископ Никон. Участник Первой мировой и Гражданской войн, в эмиграции сначала в Бельгии, затем во Франции, в 1928 окончил Свято-Сергиевский институт, с 1928 иеромонах, в 1928–1935 настоятель Св.-Николаевской церкви в Братиславе, затем служил в соборе на Дарю в Париже, затем в Брюсселе; с 1946 епископ, служил в США.

Егоров Иван Иванович (1892–1943), бывший военный танкист, окончил первый выпуск Свято-Сергиевского института, принял монашество с именем Ювеналий, иеродьякон, уехал на Афон, где и скончался.

Отман-де-Вилье Сергей Альбертович (Серж), виконт де Сен-Жорж (1902–1968), преподаватель, церковный деятель, литератор; учился в Свято-Сергиевском православном богословском институте, преподавал в школах, писал по-французски о православии, переводил на французский язык литургические тесты.

Палашковский Всеволод Сергеевич (1904–1979), в эмиграции во Франции, окончил филологический факультет Сорбонны (1925) и Свято-Сергиевский институт (1932), прислуживал в соборе на Дарю, член Братства св. Фотия; в 1931 перешел в юрисдикцию МП, профессор литургии во французском Православном богословском институте св. Дионисия, с 1955 священник, служил в Скорбященской церкви в Париже, затем в Нуази-ла-Гран, с 1967 протоиерей.

Соколов Михаил Алексеевич (1901–1981), с 1968 митрофорный протоиерей. Участник Гражданской войны, эмигрировал с Черноморским флотом в Бизерту, с 1922 во Франции, в 1928 окончил Свято-Сергиевский институт, с 1929 священник, в 1928–1942 настоятель Св.-Сергиевской церкви в Коломбеле, с 1941 протоиерей, в 1942–1962 настоятель Св.-Серафимовской церкви в Париже, с 1962 в США.

Ставровский Алексей Владимирович (1905–1972), в эмиграции с 1920, закончил гимназию в Константинополе, слушал лекции в Софийском Ближневосточном институте политических и экономических наук, а затем на философском и богословском факультетах

Берлинского университета. В 1920-е гг. был близок к евразийству. С 1924 во Франции. В 1925–1931 основатель и руководитель Свято-Фотиевского братства. Окончил филологический факультет Сорбонны. В 1931–1938 член епархиального совета Литовской епархии Московской патриархии. После войны жил в Аргентине, в конце жизни в Мадриде.

Щуров Павел Алексеевич (1903–1933), иеромонах Иов. Окончил Морской корпус в Бизерте (1925), переехал во Францию, в 1925–1928 учился в Свято-Сергиевском институте, поступил в братию монастыря прп. Иова Почаевского в Ладомирово (Чехия), где принял монашеский постриг.

⁶⁷ См. отрывки из дневниковых записей П.Е. Ковалевского о его поездке в Англию в июле 1935 совместно с владыками Вениамином (Федченковым), Антонием (Храповицким) и Евлогием (Георгиевским): «Владыка сказал после обедни такое чудное слово...»: митрополит Евлогий и приходская жизнь собора на Дарю в дневниках П.Е. Ковалевского 1923–1925 годов // Вестник РХД. 2021. № 213. С. 110–113.

⁶⁸ Чарльз Гор (Charles Gore, 1853–1932), англиканский епископ, богослов, в 1911–1919 епископ Оксфордский.

⁶⁹ Патриарх Александрийский Фотий (Пероглу, 1853–1925).

⁷⁰ Николай Кузанский (1401–1464), немецкий богослов XV века, энциклопедист, математик, кардинал, один из первых немецких гуманистов эпохи перехода от позднего Средневековья к раннему Возрождению. *Docus ignorantie* (лат.) — доктор незнания; от названия трактата Николая Кузанского «*De docta ignorantia*» (Об ученом незнании, 1440).

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), русский поэт.

Дионисий Ареопагит, св., афинский мыслитель, священномученик I в., ученик апостола Павла. Ему приписывают корпус богословских текстов «Ареопагитики», который обычно публикуют под именем Псевдо-Дионисия Ареопагита.

⁷¹ В Леснинском монастыре в Хопово (Югославия) в сентябре 1925 года состоялся III общий съезд РСХД, П.Е. Ковалевский на нем не присутствовал.

⁷² Кайо Жозеф (Caillaux, 1863–1944), французский политический деятель, в апреле-октябре 1925 занимал пост министра финансов Франции.

⁷³ Речь идет о святителе Ионе Ханькоусском (1888–1925), епископе, викарии Пекинской епархии (РПЦЗ), канонизированном в 1996 РПЦЗ, общецерковное почитание с 2016 года.

⁷⁴ Архиепископ Мефодий (Герасимов Маврикий Львович, 1856–1931), с 1929 митрополит Харбинский.

⁷⁵ Об Ольге Михайловне Веригиной и Алексее Николаевиче Можайском см. прим. выше.

⁷⁶ Веригина Домна Алексеевна, урожд. Мосальская (1872–1960), мать Ольги Веригиной, до замужества была солисткой цыганского хора, в эмиграции жила во Франции.

Веригин Константин Михайлович (1899–1982), брат Ольги Веригиной, инженер-химик, парфюмер, спортсмен. Участник Гражданской войны, в эмиграции с 1924 во Франции, окончил Высшую школу химии при Католическом университете в Лилле, с 1926 жил в Париже, работал на парфюмерной фабрике; автор ряда авторских духов, участвовал в создании духов «Chanel № 5», несколько лет был президентом клуба французских парфюмеров.

⁷⁷ Можайская Ольга Николаевна (в браке Емельянова, 1896–1973), сестра А.Н. Можайского, поэтесса, переводчица, в эмиграции жила во Франции, преподавала русский язык, член правления Союза русских писателей и журналистов, жена В.Н. Емельянова (во втором браке).

⁷⁸ Суворина (урожд. Мосальская, во втором браке Фе) Мария Петровна (1888–1927), в первом браке жена Б.А. Суворина, во втором браке Э.Ф. Фе, певица, исполнительница цыганских романсов, в эмиграции жила в Париже.

⁷⁹ Арсеньев Юрий Сергеевич (1890–1970), поручик, юрист, переводчик, брат Н.С. Арсеньева, в эмиграции с 1920, жил в Югославии, Германии, Франции, участвовал в РСХД, в 1930 примкнул в Союзу младоросов, в последние годы жил в США.

⁸⁰ Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977), философ, богослов, культуролог, историк религии. Выпускник Московского университета, эмигрировал в 1920 в Варшаву, затем в Берлин, с 1921 жил в Кенигсберге (Германия), преподавал русскую литературу в Кенигсбергском университете, с 1924 профессор, доктор философии, одновременно профессор догматического богословия православного богословского факультета Варшавского университета. В 1945 переехал в Париж, а в 1948 в США, профессор Свято-Владимирской духовной семинарии.

*Публикация, вступл. и примеч.
Натальи Ликвинцевой*



МЕМОУАРЫ



Священник Владимир Зелинский

Оглядываясь на жизнь

Глава третья В сторону тайны*

Порог

Чтобы рассказывать о себе, помимо грешного и дешевого удовольствия от такого занятия, нужно иметь еще и мотивы, оправдывающие общение с тобой. Говорить о том, что было пережито, значит и других приглашать не только разделить твой опыт, но и вдуматься в свой. Люди и времена, среди которых мы жили, вымываясь из памяти, оживают в неожиданных деталях, обрывках воспоминаний; из совсем посторонних они, благодаря соприкосновению с чужим опытом, могут стать и твоими. Движение памяти происходит в двух направлениях: к себе и от себя. Ты либо протягиваешь ее собеседнику, либо замыкаешься в ней, не чувствуя запертых дверей. То, что мы вспоминаем, бывает замкнутым или открытым. Собираясь со всем этим расстаться, спрашиваешь: что оставишь? Как одна из вечерних молитв обращается к Творцу: «Что Ти принесу? или что Ти воздам?»... Ты был со мною каждое мгновение, но я был далеко, как говорит Августин. Но вот постепенно начинаю узнавать оставленные

* Первую главу воспоминаний см. в № 214 «Вестника РХД», вторую главу — в № 215 и №216.

Тобой следы во всех фрагментах жизни, во встреченных людях. И пытаюсь их прочесть, увязывая между собой.

Записывать основные события своей жизни должен каждый человек, говорит Блок, начиная свой незавершенный Дневник. Нужно уметь удерживать в себе свое прошлое. Оно — дар Божий, но, чтобы уметь им распоряжаться, нельзя заполнять его исключительно собой.

Я — здесь не обойдешься без этого местоимения, хотя, согласно Симоне Вейль, оно порочно само по себе, — оборачиваюсь к главной точке своей жизни, стараясь взглянуть на нее со стороны. Тот внятный «язык пространства, сжатого до точки», которым можно эту точку выразить, так окончательно еще не сложился во мне. Точка не имеет пространства, оно располагается вокруг нее. До 28 лет с половиной я блуждал или меня носило за пределами главной встречи, и весь предыдущий, «цветущий» возраст, кроме детства, считаю худшим в своей и часто вообще в человеческой жизни. Это период утверждения, замыкания в себе самом, наполнения себя миром в том его смысле, который подразумевает ап. Иоанн, говоря: *не любите мира*. Не насыщайтесь миром, не напивайтесь им, не пытайтесь им разбогатеть, овладеть им насилием или лаской, чувственно или мысленно. Я стыжусь того возраста, никак бы не хотел туда возвращаться. Как, впрочем, ни во что прошедшее. За исключением главной точки.

Родившись в среде, куда боги не залетали даже по праздникам, я полагал (за меня полагали), что всякая религия (о ее существовании я еще не знал) есть выдумка для утешения убогих и темных. На мой вопрос, едва пятилетнего, что это за полуразрушенная башня, которая торчит за забором, мимо которого мама водила меня в детский сад, мама ответила: «здесь церковь когда-то была». — «Почему была?» — «Да потому что, после революции церкви позакрывали», — ответ был понятен и меня устраивал. Из него я узнал о «феномене религии», но поскольку в детском мире все вообще ново и немного загадочно, даже не спросил, что такое церковь. Однако знал, что страна, в которой мы, я и прочие дети, явились на свет, родилась от революции, разрушившей прежнюю плохую страну. Неоспоримая, кремлевская правота, соединенная со священным чином революции, снимала вопросы. Это была недоломанная колокольня

разбитого храма Успения Богоматери в Газетном переулке; это выяснилось лишь много лет спустя. В нем служит сейчас мой друг о. Владимир Лапшин, и я счастлив, что там несколько раз привелось послужить и мне. Так словно выстроился мост, из которого я перешел из самых ранних лет в самые поздние. Центр Москвы, метров 400 от Кремля. Совсем рядом, только Тверскую перейти, с домом 2 по Камергерскому переулку (тогда — проезду МХАТа), откуда мама вела меня из небольшой, уютной комнатки в тесной и злой коммуналке, жизненного пространства ее, бабушки и меня, на жесткую детсадовскую пятидневку. После разрушенной колокольни мы проходили мимо одинаковой сероватой массы людей, которые, не ленись, что-то расторопно, ладно работали. От них шло дуновение тоски и дисциплины, они вызывали любопытство и отталкивание. Даже ребенку ощущалось, что им было плохо. Это были пленные немцы, строившие здание будущего министерства внутренних дел России, Огарева 6.

Выдумкой, понятно, было именно то, что меня окружало, источаясь из всех радиоточек, парадных портретов, транспарантов, воспитательских, учительских, родительских уст. Дурман был нашим воздухом, образом мира, в котором детсадовская пища, угрюмость серых немцев на стройке, убитое тело бывшего когда-то храма, скандалы-войны и с соседями, и в семье, состоявшей из матери и бабушки, все это уверенно возвещало, что за пределами вот такого, предложенного тебе мироздания окон в иные измерения нет и быть не может. Мироздание складывалось в единую схему, в которой ничему, стоявшему по другую сторону видимого, не было места. Однако теперь, на пороге ухода/прощания с ним, отмечаю, что уже больше полжизни живу среди соотечественников, где трудно встретить кого-либо, совсем лишенного «иных измерений». Где они их нашли, по какому мосту перешли грань в потустороннее, отделяющую его от сугубо здешнего, душного, тусклого? Мы родились в мире, отсеченном от запредельного; так, по крайней мере, было в Москве, там, где я вырос, и лет до семнадцати исключений не знал. Но мало кто рассказывает о таком переходе. Кроме разве поразительного свидетельства будущего митрополита Антония, впервые открывшего Евангелие и увидевшего Христа перед собой. Или петербургского мыслителя, сделавшего свое обращение

сюжетом двух-трех успешных на Западе книг. Все, кто пытается о своем переходе поведать, попадают во что-то невнятное. Перемещение из одного мира в другой совершался как бы сам собой. И в этом даже жила своя правда. О ней, как правило, не очень говорят, не по косноязычию только, не по отсутствию навыка (иные становятся потом проповедниками и вполне овладевают таковым ремеслом), не по простой стеснительности, которой многие лишены, во всем остальном доходя до почти болтливейшего бесстыдства... Дело скорее в другом. Может быть, в инстинктивном, целомудренном послушании словам Господа, поведенным из нескороающего куста и обращенным к Моисею. «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято».

Это очень непросто оказалось – снять обувь. Мы всегда во что-то грузное обуты. Обуты в слова, изношенные другими, в полуфабрикаты мыслей, которыми все пользуются, даже, казалось, в самые интимные ощущения, но бывшие в словесном употреблении тысячи и тысячи раз. Сами слова про обращение – тоже ведь обувь, казалось бы, подходящая, и ее надо оставить у порога. Но она прирастает к нашим ногам. Едва попытавшись ее снять, сразу ощущаешь, как трудно на месте таком стоять босиком. Не то чтобы «земля горела здесь под ногами», просто нас тотчас относит в знакомую надежную сторону, где стараешься найти обувь поновей и удобнее. Ты приближаешься к тому кусту издалека – со стороны восточных религий, древнерусской живописи, охраны памятников старины, знаменного распева, высоты религиозной философии, постоянной прописки на территории «Третьего Рима» или «русского мира».., и, даже вдруг приблизившись, как бы войдя, нередко потом возвращаешься в эти увлекательные страны. Все это земли, лежащие пусть и близко, но поодаль. От горящего куста их отделяет не одно расстояние, но и ряд перегородок, пусть даже сделанных из самых качественных материалов. Или ров, который надо было с размаху перескочить, чтобы оказаться на «земле святой». Многие так и не добираются, оставаясь вблизи, не в огне, но в тепле, от него исходящем.

Хорошо помню это ощущение первого шага, «святая земля» не обожгла подошвы, однако, устоять на ней оказалось невозможным. Потому что всякое стояние-пребывание

укладывается во время, а времени в этом пространстве не было. Или, если взять другой образ, был момент, когда я ощутил, как перегородка между здешним миром и тем, нездешним внезапно, бесшумно, мягко завалилась набок, словно старый высохший забор, на который вдруг пахнул сильный свежий ветер. На пороге московского храма св. Николая в Хамовниках Володя Кейдан, который нас с Наташей туда привел, предложил мне перекреститься, так «у них», видите ли, полагается. Просьба показалась мне легким покушением на мою суверенность, но коли полагается, то и делается, местные обычаи отчего не уважить? Только вот никогда в жизни я этого не делал, разве что видел со стороны. Легонько стукнуть щепоткой в лоб, перенести ее на живот, затем в правое плечо, не перепугай, затем в левое, так? Рука не отвалится. Все было чистой случайностью; старинный, слава Богу, и по сей день здравствующий в Риме друг Кейдан пригласил нас послушать ожидавшегося митрополита Антония Сурожского. О нем было слышно, как о золотых устах, к тому же овечьих некоей допускаемой, но все же явной подпольностью, которой дышало тогда все религиозное. Однако в тот момент был он нам совершенно неизвестен. Почему бы не послушать? Чего он там и зачем митрополит, я не знал, это были их церковные непонятности.

Совершая тот жест, «как полагается», я вдруг с неким робким, радостным удивлением про себя отметил, что затвердевший кусок гипса, о котором не подозревал, сам собой отваливается с моей души, и она начинает дышать как-то по-иному.словно выпустили ее на минуту на волю прогуляться по зеленому лугу, и луг сразу принял ее к себе, словно только и ждал. Три шага, отделявшие меня от притвора до пространства храма, я уже прошел с ощущением необычного воздуха, которым радостно наполнялись мои легкие. Пространство звало: входи! Войдя, я вступил в тот текущий рядом живой молитвенный поток. Был субботний вечер 31 мая 1971 года, служилась всенощная, она шла где-то вдали, но тотчас обвинила меня своим течением, хотя, естественно, я почти не мог разобрать ее слов. Но у «них, церковных» только так и полагалось, ничего и не надо было разбирать. И неразборчивый словесно-мелодийный ручей легко понес меня без малейшего сопротивления, без вопросов со стороны моего «я».

Вокруг стоял «строй молящихся», они тоже были как бы частью поющего ручейка, вдруг пробившегося внутри меня. Я легко влился в этот строй, не ощущая неудобства. И без вопросов было ясно, что люди вокруг заняты чем-то очень важным, имеющим какой-то благой, бытийный смысл, хоть и безымянный пока. Но тот неразгаданный смысл приобщал меня к самому себе, к основам того, чем я, не догадываясь, жил на земле. Какой-то мужичок бомжеватого вида, заметив, как истово я крещусь, что для молодых в толпе сплошных бабушек было тогда в новинку, благожелательно, но и безапелляционно посоветовал: «Ты вот так молись: Господи Иисусе Христе, Крещаемый и Воскресник, помилуй мя!» Видимо, это был какой-то стихийный гностик из глубинного народа, уверенный в своем праве учить, и в этом его праве я тогда ничуть не усомнился. Подобной молитвы я никогда больше не слышал. Лицо Воскресшего тогда еще не выступило из этой волны удивления и новизны, пожалуй, не было даже стоящего против тебя «Ты», но было уже какое-то ликующее Присутствие или только ожидание его, но оно ощущалось со всей ясностью. Для того-то я и налагал на себя крестное знамение одно за другим, чтобы Присутствие удержать.

До сего времени уже было прочитано мной, конечно, Евангелие, но оно оставалось просто интересной книгой, за ней тянулся светлый след, и все же это была лишь одна из книг для чтения глазами, ну, скажем, как Дхаммапада. Не скажу, чтобы все сказанное в Евангелии я хранил в памяти. Потом, раздобыв и открыв его вновь, без малейшего колебания я услышал в нем ту самую весть, которая влилась в меня вслед за тем жестом, «как у них», толпой молившихся в храме и рекой непонятной службы. Между воспринятым в храме и прочитанным дома, между службой и книгой не оказалось никакого зазора.

Владыка Антоний по неизвестной причине не приехал в тот вечер, но в отношении лично меня поступил мудро и правильно, я благодарен ему за это. Может, и вообще друг Кейдан что-то перепутал и позвал нас зря? Словом, никто, слава Богу, меня тогда не «обратил». Бог позвал меня к Своему кусту не проникновенным, звенящим словом златоуста (потом я узнал и мог оценить мощь его слова), не трепещущим посланием, не несчастьем, не отчаяньем, хотя подспудная Его работа совершалась в моей уязвленной грехами

совести, но лишь обычным, условным жестом «как полагается», непонятно откуда взявшейся солидарностью с церковной службой, древним, пусть и не вполне вразумительным для меня чином храмовой службы. Но из ее невнятицы позвал меня Ангел моего пути, о чем напоминаю себе всякий раз, когда подступает искушение (что бывает время от времени) возвыситься над нерассуждающей обрядностью моих собратьев по храмам. Моисеев куст сам знает, когда ему загореться, где приблизиться, как заговорить. Есть формула «Бог нашел меня», и при всей ее затертости, она говорит то, что и вправду есть. Суждение Тертуллиана о соприродности христианства всякой душе было проверено мной на опыте, стою на том и по сей день. Встречая Христа, не скажу — обретая, до этого было еще далеко, ты ощущаешь, как раскрепощаешься, становишься собой (спустя годы прочел это у Габриэля Марселя, пережившего взрослым подобный опыт), потому что Христос соприроден всякому человеку. Как соприродно ему быть сыном или дочерью, то есть войти в то измерение нашего существования, которое связывает нас с Богом. «Душа словно входит в свои пазы», как технически точно и загадочно описал этот опыт тот же Кейдан.

Все это еще, наверное, нельзя было назвать подлинной встречей, но лишь приготовлением к ней, пропеедвтикой веры, которая должна была еще явиться, но все изгороди были уже опрокинуты, ничто ей теперь не препятствовало. Вера означала близкое Его Присутствие. Присутствие не измеряется нашими мерами. И, пожалуй, никак не описывается. В описание времени-пространства тыходишь снова, лишь отойдя от куста. Идешь дальше сам, оборачиваешься назад, вглядываешься в путь, что только что открылся. Что там за кустом и что впереди? Куст — это то, что в тебе, в нас самих. «Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, входящего в мир», — всякому человеку, говорит Господь у Иоанна, надо уметь найти и почувствовать его следы. Иногда сослепу мы натываемся на проложенную им тропу, но чаще долго бродим поодаль и вокруг. Или, если быть точным, открываем его отражения, солнечные прикосновения, лежащие на окружающих вещах, на наших ощущениях. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Эти свидетельства лежали повсюду, прикасались ко

всем предметам. Наши ощущения, они всегда вторичны по отношению к первичному Свету в нас, они — тоже свидетели, напомнившие о том, что мы что-то когда-то видели «своими глазами, что ощущали руки наши». Из этого вырастает главное событие нашей жизни.

Событие это вовсе не мгновенно, оно постепенно пронизывает всю жизнь и до, и после. Внезапное вторжение этого события (которое потом созревает в вере) было подарком, как всегда, незаслуженным, о том стараюсь не забывать. Тебе вручают то, что тебе никак не принадлежит и в то же время залегает и добывается где-то в тебе. Но дальше уже самому надо было уметь с этим жить. Мне, скажу, забегая вперед, признаться, не хватило такого умения. Все это требовало решимости, ясного видения, мужества, мудрости, не откладывания на завтра, которое никогда не приходит.

Горящий, говорящий куст — сам Христос. Личный Христос, но и Христос храма, Христос вообще людей, Христос распева, возгласов, икон, окон, через которые шел майский вечерний свет, Христос неприехавшего митрополита и вообще всех этих храмовых имен, званий, образов, странных, непонятных слов. В них узнаешь Иисуса, еще не исповедуя Его по имени и смыслу. Имя выступает из речи, окружающей среды, куда входят и люди, книги и жесты; ты его узнаешь: Он! И открываешь, что Он был с тобой постоянно. Не только с тобой с рождения, но и прежде. «Несокрыты от Тебя были кости мои, когда я созидаем был втайне» (Пс 138). Молчащее Слово всплывает из шума нашего существования. Пронизывает все, что тобой обжито, ты его слышишь. Все вещи, видимые и невидимые, одеваются, окунаются в близкое Его соседство, и в нем им, вещам, хорошо. Смею думать, что ощущение живого Христа сбереглось в моей жизни, хотя ничего больше, что было в Его даре, наверное, не сбереглось. Но оно иногда заслоняло меня от многих колдобин, луж и засасывающих песков в дальнейшей жизни.

С тех пор каждый, кто говорит Христу: «Ты», стал для меня по-евангельски другом, независимо от исповеданий. Тайна Христа — одна на всех. Конечно, я уговаривал себя, это было нетрудно, что Истина живет только в восточном христианстве и почти уговорил, и до сих пор остаюсь почти уговоренным, но, как сказал Достоевский, если бы ему

пришлось выбирать между Истиной и Христом, то он выбрал бы Христа. Конечно же, такого выбора не должно быть, это одно и то же, нераздельно. И все же.

Первые провожатые

Что есть Истина? Внешне она состоит для нас из формул, правил и установок, нравственных, интеллектуальных, даже социальных и бытовых. Из того, что следует исповедовать, как мыслить правильно, как подобает, повинуюсь Истине, себя вести. Душевная, т.е. человеком пережитая ее область должна быть пронизана и напоена духовной и в конце концов побеждена ею, а потому часто не умеет рассказать о себе, впадает в чувствительность, становясь похожей на ангелочков и лебедей на сельских картинках. То, что невыразимо в истине веры, обычно большей частью молчит. Эта область, в отличие от душевной, более стыдлива, она не находит нужных слов. Меня же в первую очередь интересовала именно она, та, в которой человек находит себя перед Богом. Как кающийся грешник, но и как навсегда удивленный, «настигнутый радостью», заимствую формулу Льюиса. Ведь и у кающегося грешника должен быть праздник. Причем, непреходящий.

Более чем полвека прошло с того события, и все это время я оглядывался на него и всматривался. Что это было и что открылось? Я пытался потом не раз это выразить письменно и едва ли удачно, т.е. до конца искренне. В слова надо было заключить то, что значениями слов до конца не улавливается, но потому что сами слова медлили, топтались на месте, стесняясь входить в эту тайну. «Взрывая, возмутишь ключи», как угадал Тютчев. Через много лет, в начале 2000-х, я написал задуманную со дня крещения книгу о вере, сначала по-французски, на чужом языке, которым, благодаря матери, почти свободно владел: «Révèle-moi Ta face», как бы робея «взрывать» ее родными, обжитыми, и в то же время какими-то обнаженными словами. Потом переложил ее по-русски «Выскупя Лица Твоего». Сейчас, наверное, написал бы ее иначе, потому что, думаю, слова для нее следовало бы больше выносить не из разума, но из молчания. В книге чуть больше 30 текстов, распределенных по темам и граням, и каждый из них содержит в себе попытку взглянуть в Бога, осмыслить встречу с Ним.

Не ту лишь, что была однажды, но ту, что длится и поныне. Та книга стала как бы пиршеством, ты приглашаешь гостей, побудьте со мной, поделитесь своими догадками.

Сегодня я бы добавил к тому празднику больше терпких блюд и горьких трав. Ибо за всякой встречей начинаются будни, то, что зовется религиозной жизнью. Но она начинается потом. А пока тебя позвали всеблагие как собеседника на пир. Приходишь на него чаще всего не один, но с друзьями, наставниками, которых посылает Господь. Кто-то должен быть рядом. Когда впервые вступаешь на церковный порог, желательно, чтобы он был согрет обычным человеческим теплом. Здесь у тебя могут быть спутники, духовные отцы, их, впрочем, еще надо было искать. Искал я плохо, вероятно, потому что не было такой сильной потребности. Потому что со своей религиозной жизнью ты должен справляться, в общем, один. На первых порах ты как бы осваиваешься вблизи куста, раскидывашь там свою палатку. Наставников, первых провожатых у меня было трое, потом пятеро, не могу не помянуть, по призыву ап. Павла, тех, кто одарил меня этим теплом. Потом часто ты больше его не находишь или находишь в крупицах, или сам от него по своим причинам отказываешься, но оно остается в тебе, и ты сохраняешь ему верность. Не столько высокому понятию «Церковь», сколько несколькими людям, которые ее собой выразили, встретили тебя у притвора, проводили тебя к нему, навсегда остались в памяти. Для меня это были Ольга Николаевна Вышеславцева, Анатолий Волгин, Валя Гуркаленко, о. Владимир Смирнов, о. Николай Педашенко, о. Николай Ведерников. И, конечно, моя жена, Наталия Костомарова, которая пришла ко Христу вместе со мной.

Ольга Николаевна принадлежала к дворянской породе прежней, уже исчезающей тогда церковной интеллигенции. Она вышла из той эпохи, о которой можно было узнать только по людям, подобным ей. Серебряный век начала прошлого столетия, для тех, кто знает его по литературе, отчасти заслонил и замутил собой Деятнадцатый. В ней проглядывало что-то добротное подлинное, родовое, отмеченное той верностью и той русскостью, «которую мы потеряли», а потом, став искать, нашли не там. Она не то чтобы учила нас первым храмовым шагам, хотя и учила отчасти, она просто

несла достойную церковность в себе. Это передавалось. Ее наставничество было во врожденном благородстве и в какой-то твердой, немечущейся вере, укоренившейся во всей ее жизни. И в материнской ласке нам обоим, Наташе и мне, и благословением на брак, который оказался навсегда. В ту пору, когда мы с нею, благодаря Анатолию Волгину, познакомились, ей было уже далеко за семьдесят. Она была вдовой художника Николая Николаевича Вышеславцева, умершего в 1952 году, и матерью единственного сына Вадима, погибшего на фронте (запомнил дату: 31 декабря 1943 года). В этот день она всегда причащалась в Обьденской церкви.

Сама Ольга Николаевна дожила до девяноста девяти лет. В ее комнате, полной книг и икон, бывали священники, монахи в гражданском, особенно из разогнанной в 60-х годах Глинской пустыни. Это жилище дышало воздухом полуподпольной церковной Москвы, с ее преданиями о духовниках, тайных рукоположениях и паломничествах, молитвенном опыте с его специфическим самиздатом. От того самиздата, если не считать печатавшихся на папиросной бумаге Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова, боюсь, едва ли что сохранилось. За исключением сборника писем игумена о. Никона Воробьева «Нам оставлено покаяние», здесь уже упомянутого. Помню еще самиздатский рассказ некоего барона Иксюля о своем посмертном опыте и возвращении в жизнь, который Валя Гуркаленко дала мне почитать по секрету, мы прочли его вместе с ней в подъезде дома Ольги Николаевны. Теперь тема «души после смерти» стала почти литературным жанром, но тогда это все ошарашивало.

Сама Валя в ту пору была юной, худенькой, живейшей умом, то с острым, то с веселым словом на языке, изящной, теперь ее нелегко узнать в той корпулентной, заслуженной даме-профессоре, которую вижу на недавних ее фотографиях в Интернете. Она была уже замужем, но еще девически подвижной, прелестной, однако это была совершенно новая для меня прелесть, соединившаяся с ее такой уверенной в себе верой, от которой дышало и жаром, и твердостью. Ей было тогда 25 лет, но она уже заявила о себе как об одаренном режиссере-документалисте и, что было совершенно немислимо тогда, режиссере религиозном. Только что она сделала свой первый (возможно, один из самых первых) фильм о «Троице»

Андрея Рублева, он был принят с энтузиазмом в узком кругу церковных неофитов, в котором ненадолго оказался и я. С некоторым снобизмом она трактовала «Андрея Рублева» Тарковского («иконописцы XV века говорят там голосами модных московских актеров»), он появился как раз тогда, познакомила меня с Валерием Сергеевым из Рублевского музея, работавшим в то время над книгой о Рублеве. Это было самое начало 70-х; рублевская и вообще иконописная тема была тогда еще достаточно свежей, она еще не вписывалась в дозволенный культурный контекст, хотя Лев Аннинский, как всегда, блестящий, говорливый, занимавший завидное место в литературе, выступая тогда на закрытом обсуждении Валиного фильма, заявил привычным тоном московской интеллектуальной элиты, что это все мы уже проходили и чуть поднялись над тем, чтобы искать особой духовности в иконах. Дальше, мол, надо идти, выше взлетать. Для меня же и фильм, сама эта девушка-режиссер и та верующая среда, с которой я, благодаря ей, впервые соприкоснулся, были как бы частью согретого солнцем весеннего порога, за которым обещалась новая жизнь. Валя стала моей заочной крестной, хоть и на само крещение из осторожности тогда не явилась. Она была из Питера, потом мы еще недолгое время переписывались, потом просто разошлись по своим дорогам. О чем жалею.

Другим крестным вызвался быть Анатолий Волгин, бывший художник, бывший, потому что, крестившись, тотчас перечеркнул все лихие сверхмодернизмы своего творческого дебюта ради иконописания, в котором достиг филигранного мастерства. На крещение он подарил мне три иконы собственного письма. Тогда ему еще было далеко до посвящения, но священство уже пробивалось в нем, словно всплывало в тех образах, которые он писал, в словах, которые он произносил, в улыбке, которой он встречал всякого человека. Мне казалось, что оно даже пробивалось в его новорожденном сыне Романе, который стал живописцем. Когда через несколько лет Архиепископ Курский и Белгородский, славившийся своими бесшабашными посвящениями, одного за другим, вслед за братом Владимиром, рукоположил и его, сделал о. Анатолием. О. Александр Мень сказал мне в его обычной шуточной манере в одну из встреч: «Вот за одно это

рукоположение все можно простить Хризостому, что он там натворил, а вот здесь действительно призвание было».

Дружба с о. Анатолием и его супругой Ниной, хоть изда- лека, протянулась через всю жизнь, пока его не унес ковид в 2021 году. Потом ушла и матушка Нина, оставив солнечный след в моей памяти.

Через три недели после первого посещения храма, 22 июня 1971 я был крещен в крестильной церкви Ильи Обыденного, неподалеку от воздвигнутого потом храма Христа Спасителя, о восстановлении которого тогда и по- мыслить было нельзя. Шел нестрогий Петровский пост, который я с энтузиазмом соблюдал. Меня крестил по пред- ставлению Анатолия Волгина отец Владимир Смирнов в кре- стильной сторожке рядом с храмом, ставшим для меня тогда, и годы спустя, одним из немногих «пространств Родины», той, которая неподвижно осталась в России.

«Отрицаеши ли ся сатаны и вседел его, и всех аггел его, и всего служения его, и вся гордыни его? Говори (о. Владимир мне): “Отрицаюся”». — Еще два раза: «Отрицаеши ли ся от сатаны...?» — «Отрекся еси сатаны? Говори: “Отрекохся”». Еще два раза. «И дуни, и плюни на него». Как бы плюю. «Сочетаваеши ли ся Христу? Говори: “Сочетаваюсь”». — «Сочетался ли ся Христу? Говори: “Сочетахся”». — «И веру- еши Ему? Говори: “Верую, яко Царю и Богу”. И поклонися Ему».

Кланяюсь, радуясь. Мне легко.

Это было как-то по-младенчески просто, ясно и завора- живающе. Слова обретали свой изначальный, творимый при их произнесении смысл.

С тех пор мне пришлось произносить эти слова за других десятки раз, за юных крестников, но иногда и за взрослых. И всякий раз завидовал крещаемому, если он был в разумном возрасте, и хотел быть на его месте. Сатана был позади меня, я обещал с ним больше не связываться, Христос впереди, я приносил клятву с Ним не разлучаться. Перед баптистерием- чаном я стоял в белой хламиде, в которой, как мне сказали, я буду призван на Божий суд (потом я утратил ее во время пе- реездов, но приобрел новую перед погружением в Иордан). Было лето, было утро, в окна шел свет, казавшийся собратом таинства. Слушая крещальные слова, впитывая их в себя, я

ощущал их нужность, сакральность их произнесения, то, что они исходят из какого-то правящего нами разума, не вполне еще вмещенного моим разумением, но это был разум любви. Я смотрел на о. Владимира Смирнова, ему было, наверное, за семьдесят, и во мне просыпалась волна светлой недоуменной зависти. Как может смертный, один из людей, ставшим сразу родным, своим отеческим, дребезжащим баритоном так уверенно, как сломанную ветку к здоровой лозе, прививать меня к Богу. словно хотелось спросить словами, которых я тогда не знал: «Какой властью ты это делаешь?» Призвание, если это было оно, к священству зародилось во мне именно тогда, вместе с робким вопрошанием: «Неужели такая вот небесная власть может быть и мне когда-нибудь вручена?» О том немислимо было и подумать. После крещения о. Владимир причастил меня запасными дарами, попросил благословить случившегося тогда проездом в храме Ташкентского епископа, оказавшегося тоже Владимиром, ввел в боковой алтарь Обыденской церкви, чтобы я мог приложиться к иконе. Потом был чай в доме Ольги Николаевны, в ее комнатке в коммунальной квартире. «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера...» – пропел о. Владимир тропарь небесному покровителю всех трех Владимиров, чьи пути пересеклись в тот день. Не могу сказать, что не знал, был ли я на небе или на земле, но на той земле, на пороге тридцатилетия, небо спустилось ради меня на землю.

За годы до того случилось мне быть в Знаменской церкви у Рижского вокзала в Москве на отпевании моей тети Тамары Люциановны Зелинской, бывшей лагерницы в качестве члена семьи изменника родины (ЧСИР), истовой верующей в последние годы. Отпевал о. Александр Ветелев, как я узнал потом, известный богослов, профессор Свято-Троицкой духовной академии, но делал это совсем не академически и даже не с пафосом, но с пламенем, собранным в его голосе, притом затаенным, словно соучаствующим в посмертной судьбе р. Б. Тамары и какой-то покоившейся рядом «девицы». «Девница» была усопшей старушкой; это был, видимо, такой мирянский незамужней женщины чин, сколько бы ни было ей лет, впрочем, больше никогда на отпеваниях подобного термина я не слышал. И никогда потом не слышал подобного отпевания. Это была не служба, но акт веры, свершаемый

на глазах у всех. И меня, неверующего в ту пору, захватило это свершение, исполненное, как я сформулировал для себя, какой-то экзистенциальной правды, той истины бытия, которая открылась мне во время крещения. Пусть тогда для меня это действие было обращено к некоей загробной неизвестности, но здесь и теперь, на этом прощании, оно было полновесно и значимо. К сожалению, больше о Александра Ветелева я никогда не видел, но три года после его кончины жил в его доме в Отдыхе, который сдавала его дочь Ольга, пока эту дачу не купили. Именно туда приходил мой незадачливый знакомец Леонардо Палеари.

Есть какие-то нити, соединяющие жизни людей, по которым пробиваются секретные сигналы. О. Александр когда-то сделал псаломщиком Владимира Смирнова, это помогло тому дойти потом до дьякона, а через несколько лет добиться рукоположения в священники, среди многих сотен других крестившего мою жену и меня, Володю Кейдана и столько моих друзей. В храме служило три приснопамятных для многих священника, к которым я тотчас привязался: о. Николай Тихомиров, настоятель, о. Александр Егоров, второй священник, и о. Владимир Смирнов, третий. За плечами у него была война, тяжелое ранение, сделавшее его на какое-то время слепым, и лагерь, оттуда он шагнул в священство, в «одинадцатый час», как он любил говорить. Господь воздал ему полновесной и благодатной платой за тот, растянувшийся на немало лет, одинадцатый час служения. И в том храме служил еще дьякон Борис, до пронзительности артистичный, с баритоном, почти, смею сказать, обольщающим нас, прихожан-неофитов; когда у него возникали какие-то мелкие конфликты со священством, он незло ругался и грозился пойти в настоящую оперу, где найдется лучшее употребление модуляциям его голоса. Этот голос был, как букет, подаренный на свадьбу, на весь медовый месяц моего юного христианства.

Я стал исповедоваться о. Владимиру Смирнову, затем нашел духовное убежище у о. Николая Педашенко, замечательного священника на покое, лет 80 или больше, прослужившего много лет в Сарапуле. Он был коренной москвич, но только в Сарапуле нашлось для него место служения. О существовании такого города в Удмуртии я узнал только от него. А до священства он исполнял какую-то крошечную, но интел-

лигентную должность в театральном музее им. Бахрушина. Как и о. Анатолий, бывший более, чем на полвека его моложе, он словно родился в сани, скорее в тепле Божией руки, которое через него передавалось. Я уже писал о нем в своей книге «Приходящие в Церковь». Вот это тепло, совместно собранное и принесенное людьми, и стало для меня Церковью.

У меня был недолгий период неофитства, когда ты произносишь Символ веры — как песню поешь, я этого не стыжусь. Стыжусь скорее, что он быстро стал остывать, подтачиваемый критическим складом моего рассудка. Памятником неофитству было длинное взволнованное письмо моему другу Володе Гоникбергу, которого тогда и потом старался обрратить и наставить; оно исчезло после его кончины в 2012 году, слава Богу, что исчезло. Крестившийся во взрослом возрасте, впервые и жадно овладевает религиозными реалиями и хочет посвятить в них других. Через несколько лет (в 1974 году), при встрече с Генрихом Беллем, я запомнил его фразу, которую он сказал нам, тогда еще молодым христианам, собранным о. Сергием Желудковым в холле гостиницы «Россия» (тогда другие, очень специальные молодые люди кружили вокруг нас целыми стаями): «Мы все неофиты, точнее, должны искать ими быть». Фраза эта пустила корни во мне. Всегда встречать Бога заново, с наивностью и сопутствующей ей нерассудительностью и отсутствием контроля над душой.

Люди, которые встретили меня на пороге Церкви, принадлежали достаточно традиционной, скорее консервативной среде. Тогда я даже не слышал, что у православия, которое нашел в храме и потом вжил в него, могут быть какие-то еще облики. Имя о. Александра Меня как просветителя было достаточно известно и произносилось с неизменным уважением, но никакого соприкосновения с ним не было. Тогда еще не так чувствовалось то резкое разделение на архаистов и новаторов в церковной среде, которое придет позднее, а между экуменистами и консерваторами еще не пролегали глубокие пропасти. Хотя и тогда уже копались потихоньку. Все были одинаково давимы каменно нависавшей системой, делали одно дело и как бы стояли рядом. При этом религиозное восприятие мира, начинавшееся сразу после первой встречи, за горящим кустом, становилось часто

требовательным, порой агрессивным. Мне удалось избежать этого соблазна нетерпимости, потому что, мировоззрению вопреки, во мне жил инстинкт свободы, нечто спонтанное, данное от начала, что уводило меня в сторону от всякой тоталитарной фанатичности, как в отношении других, так и себя. Инстинкт, даже не разум, говорил мне, что каждый волен выбирать свою тропу. Или не выбирать. Я, пожалуй, не выбирал, выбор совершился помимо меня.

Хоть изначально это был не мой выбор, его все же надо было сделать самому.

Переход

Молодой человек, сошедший в июне 1971 года со ступенек Обьденской церкви, был сотрудником Института философии Академии наук, в котором намеревался в дальнейшем делать свою скромную карьеру. Вступив на путь подобной профессии и желая себя как-то реализовать, ты не имеешь другого выбора. За год до того мне удалось поступить в этот институт из комитета по радиовещанию, где я работал на контроле за радиопередачами на Западную Европу (правильно ли они сделаны, как подаются, не ошибся ли кто из операторов), и был счастлив наконец соединить куда менее идеологическую работу с тем, что больше по душе, и со свободным наконец расписанием. Меня приняли на работу в отдел научной информации, но в дальнейшем собирался перейти в сектор истории философии, где должен был заниматься Гегелем.

«Подумайте, Елена Михайловна, ваш сын поступил туда, откуда его уже вынесут только ногами вперед», — говорил моей маме с полусмехом давний друг Владимир Краснукотский, подразумевая, что только смерть, от которой ни один смертный не убежит, способна будет разлучить ее сына со столь почтенным институтом и завидным местом. Там, предполагалось, он скоро защитит диссертацию, сначала легкую, кандидатскую, потом большую, докторскую, опубликует десяток монографий с положенной критикой буржуазной философии, напечатает еще сотню статей впридачу во всяких советских журналах, боровшихся за правильное мировоззрение всего человечества, а затем, возможно, прожив еще столько-то, достигнув научных вершин, удостоится

торжественного прощания в актовом зале с красным некрологом в черной рамке на его двери, за которой будет выставлено его скончавшееся тело, предназначенное быть вынесенным по ступенькам вниз, помещено в погребальный автобус, довезено до кладбища, где три его бывших коллеги, уже сами стоящие на пороге подобной процедуры, скажут: «Прощай наш товарищ по философской борьбе, память о тебе, если и сохранится, то уж не в наших сердцах...».

Володя Краснокутский, умница, один из племени очарованных странников, чьей святой землей была русская литература, особенно первая четверть XIX века, в ту пору еще был полон некоторых надежд, которые вскоре высохли. Ибо, даже занимаясь пушкинской эпохой, можно было ощутить духоту, в которой всем становилось трудно дышать. В начале 70-х я сказал ему: «Знаешь, у нас стали выпускать евреев в Израиль. Ну, как бы в Израиль». — «Такого не может быть», — был уверенный его ответ, «из коммунизма не уезжают. На эмиграцию разрешений у нас не дают, здесь жить нам до самой старости, а то и дальше». Но к концу 70-х, уже наслышавшись о приоткрывшемся окошке, он сам начал было подумывать об отъезде, намеревался было начать учить английский, а для поддержания семьи спешил с одного репетиторства на другое, пока однажды темным ноябрьским вечером 1980 года, в 37 лет, по дороге домой не погиб в каком-то московском переулке под колесами грузовика, умчавшегося без следов. Сестра его к тому времени уже уехала с мужем и пятилетним мальшом, который, прибыв в Соединенные Штаты, где вырос и, освоившись, стал Сергеем Брином, основателем Гугла. Через 40 лет она издала Володину книгу «Арзамасское общество безвестных людей» (Алетейя, 2020), отлично сделанную и собранную из написанных им работ по русской литературе. Она помогла уехать и володиной вдове с сыном, а сын сегодня, как я от нее узнал, стал полковником медицинской службы американской армии, уже на пенсии.

Как говорится, «не так сталося як гадалося».

О том, что такое религия и как она устраивается внутри человека, я знал и до крещения. Основные труды русской религиозной философии, которую по наивности можно иногда спутать с богословием, Бердяев, Булгаков, Франк, Соловьев, Шестов отчасти были мной к тому времени прочитаны. Они

волновали, занимали, завлекали ум, но это все было как религиозный десерт вместо простых и грубых питательных блюд. Читать их непосвященному значит поддаваться соблазну, что ты стоишь с ними вровень, можешь понять их, возразить, оспорить, не имея их опыта, который скрыт за мыслительными лесами, возведенными вокруг того непостижимого, которое за ними кроется. Видимое тело непостижимого — религия, и это сложное образование. Как и все, состоящее из плоти и крови, религия может быть здоровой, носить в своих клетках молекулы нездешнего света, но может и болеть, иной раз весьма злокачественно, с опухолями и раздувшимися языческими наростами. Потому что нигде человек не способен лучше прятать свою самость, свою волю к власти над ближними, как за религиозной спиной Бога. Как бы ради Истины. Это узнается позднее.

Религиозные философы, читавшиеся до того, не столько прокладывали путь неверующему эго, сколько вели его мимо Моисеева куста, словно кружили вокруг него. Они приносили много интересных свидетельств о событиях верующей души, но не протаптывали дорогу прямо к вере, шоку, Дамаску. На этом пути мне более пригодился, как ни странно, совсем другой философский опыт, не укутывающий нашу ностальгию в «зовы и встречи», исходившие от неведомого, как обозначил их о. Сергей Булгаков, но как раз разоблачающий их, ставящий их обнаженными перед резким светом дня. В конце 60-х годов я запоем читал Альбера Камю, обменом раздобыв практически все его книги, к тому времени опубликованные. Еще до поступления в Институт философии я и первую диссертацию решил писать по нему. Как пишутся диссертации, я не знал, до того я сочинял только философский дневник, книгу афоризмов, назвав ее «Обращение к философии», эта рукопись до сих пор валяется в моих бумагах. Это был мой вольный жанр, таковым он остается сегодня на Фейсбуке. Мне всегда, увы, был внутренне чужд академический стиль. Я с ним провалился, еще когда писал диплом в университете по развитию детской речи, провалился, когда стал писать статью о Камю; все, что я могу писать, само собой ложится в форму «взгляда и нечто», далеких от правильного трактата. Но теперь надо было писать сочинение для печати в таком сугубо официальном журнале как «Вопросы философии»,

статью о философии абсурда. Абсурд и академизм, тем более в советском его изводе, были две вещи несовместные, но писать надо было, «как полагалось у них», что означало «с разоблачением». А принято было у них для крепости и надежности цитировать ключевые идеологические фигуры. Статью о Камю я закончил цитатой Ленина, прибитой к концу словно ржавым гвоздем, уж не помню какой именно цитатой, поскольку ее еще можно было выдать за философскую, не съезды же партии цитировать. Статья была отвергнута членом редколлегии «Вопросов философии» Юрием Замошкиным не только за неакадемизм, но и, как я сейчас понимаю, за смешение того, что я про себя думаю, с тем, что думать вообще надлежит. И мне такая смесь давалась с трудом, и для них она была невместима. Как я ее в себя не записывал, ведь иных альтернатив тогда не было, она извергалась обратно.

Философия абсурда, миф о Сизифе, катящем в гору камень, который должен потом свалиться, чтобы потом подымать его вновь и вновь, и сам Сизиф знает об этом, был ненадолго и моим мифом, предпоследним перед неожиданным прикосновением к новой реальности. Я двигался к ней не от восточных топких, засасывающих болот, не от коктейля Индии с Блаватской, но от предельной жесткой обнаженности и безнадежности существования. От Сизифа ко Христу. Сизиф говорил, что мир не имеет смысла, и тот, кто осознал это, согласно Камю, «обретает свободу». Годами я пытался найти свободу в этом отсутствии смысла, но обрел свободу именно тогда, когда понял, что в мире все, все буквально, имеет смысл: камень, растущее дерево и моя жизнь... «Его должна была окружать атмосфера его североафриканской родины, жесткая, знойная, изнурительная, обнажающая скелет любого предмета», — сказано в очерке о Камю в книге Артура Хюбшера «Мыслители нашего времени», и под обаянием его личности я пытался в эту атмосферу вписаться. Но мистическая природа моего существа от выжженных скал хотела затеряться в весеннем лесу, среди предметов, полных звуков, образов, окликов, обещаний, обращенных к чему-то иному за пределами воспринимаемой их предметности. Но этот переход через пафос романтической безнадежности, закрывающей любые выходы в стороны иллюзий, все тропинки, протоптанные к небу небес, оказался неожиданно

полезным. Нет, не религиозная философия, но резко очерченная граница между одним опытом и другим.

Мое «обращение» (признаться, не люблю этого слова, застиранного саморекламой, пусть и невольной) застало меня за другим философским погружением, совпавшим с крещением, к христианству никак не относящимся, однако погружением гораздо более длительным. Случайно мне попала книжечка ок. 30 страниц Мартина Хайдеггера «Was ist das — die Philosophie?»* Пожелав узнать, что же такое философия на самом деле, я погрузился в эту брошюру, буквально впился в нее так, что, несмотря на слабый свой немецкий, сразу принялся ее переводить. Поразило меня колдовство мышления, переплетенное с магией языка; я перечитывал эту брошюру, не помню сколько раз, хотя перевод мой забракдовал профессионал-германист Александр Викторович Михайлов, с которым тогда я был в дружбе. В ту пору, это был 1969 год, я поступил на заочную аспирантуру философской кафедры института им. Плеханова, где в качестве темы диссертации предложил тему, куда более сложную, чем Камю: «Проблема философского мышления у Мартина Хайдеггера». Зав. кафедрой Г.И. Эзрин, утверждая такую тему, заявил: «Истматчиков, дорогие товарищи, у нас, как вы знаете, пруд пруди, а вот настоящей философии...» Это было немного смело.

В то время, когда я сходил с порога Обыденского храма, я был как раз занят диссертацией о Хайдеггере. Переворот, со мной случившийся, не сразу вмешался в диссертационные дела, эти события шли параллельно, но довольно скоро они подошли к тому водоразделу, за которым не только цитату из Ленина, но вообще ничего из «их» идеологического хозяйства и словаря я бы уже не смог процитировать. Ни одного из окаменевших дежурных идиологов-клише вроде «кризиса буржуазной философии», «борьбы материализма с идеализмом», «загнивания капиталистической системы» и прочих «ихних терминов», которым надо было по дороге поклониться. Без такого жаргона, точнее без таких словесных рамок/узоров, диссертации не писались и не защищались. В моем случае они не смогли бы и написаться, потому что никакие игры со словом, даже не с Божиим словом, но просто с человеческим, стали для меня тогда невозможны.

* Что это такое — философия? (нем).

От Обыденского храма до Института философии было метров 300 или меньше. Это расстояние стало расти и вскоре стало огромным. Почти между ними лежал бассейн «Москва», с его подогретыми водами, который я любил посещать особенно московскими зимами, ради контраста с морозом. Я отказался от всякой карьеры в «их» системе с ее идеологическими клещами, вьюнками и щупальцами, от будущего портрета в траурной рамке на стене моего Института, само собой, потом не сразу, но постепенно, с трудом и от Хайдеггера. Начатая диссертация свернула на его философию искусства, оттолкнувшись от хайдеггеровского анализа картины Ван Гога «Деревенские башмаки». Евгений Барабанов, с которым мы тогда только познакомились, заказал мне статью о Ван Гоге/Хайдеггере для журнала «Декоративное искусство», где он тогда работал. Эти журнальчики, укрывшиеся в тени Левиафана, академические институты, художественные коллективы, конструкторские бюро, изготовители зрелищ, театральные кулисы, были теми заводами, чаще тихими, хоть и не всегда, куда забивалась интеллигенция, где уже бродила и набухала будущая перестройка, и даже всходили ростки религиозного пробуждения. Цензура была, конечно, повсюду, но, во-первых, она стала уже подслеповата, во-вторых, и это главное, была оборонительна, а не наступательна, запрещала то, что было явно нельзя, но не очень требовала того, что было нужно, как в предыдущее, хрущевское десятилетие, не говоря уж о сталинском. А обороняющаяся цензура рано или поздно должна была сойти на нет. Что и случилось в конце 80-х.

Статья не попала ни в один из журналов не только по причине цензуры (хотя и по ней тоже), но и потому, что оказалась слишком велика. «Уже полкнижки», как сказал мне потом В.В. Биbihин, приглашая писать вторую половину. Описанные Хайдеггером башмаки, в гениальном действительно очерке «Исток художественного творения», должны были, по его мысли, выразить истину вещи, через которую становится внятной, несокрытой бытийственность всего сущего. Так же, как и в докладе о философии, здесь царило удивление, в котором обнажала себя истина бытия, заговорившая в изображении деревянных крестьянских башмаков. Удивление (Erstaunen) было завораживающим, оно ставило перед тайной творения, за которой для меня открывал

себя наблюдающий, творящий, любящий Автор. Встреча со Христом неожиданно приобщила меня к этому дару удивляться радостью, к тому ощущению, которое передает иерейская молитва перед литургией: «Радостью исполнил еси, Спасе, пришедший спасти мир». Радостью были «исполнены» деревенские башмаки, земля, по которой они ступали, трава, которую они мяли, женщина, которая их носила, семья, которой она была частью. За страхом, за знаменитым хайдеггеровским Angst, на самой глубине для меня лежала радость. Но сам Хайдеггер отвернулся от нее. Удивление у него было изначально печальным, «пафосом», по его толкованию греческого слова. Тайна мира передавалась удивлением и благодарением, хотя Angst во всех его оттенках и переливах был мне не только не чужд, но в последующей жизни стал для меня очень конкретен. Но видение истины вещей как несокрытости эту радость передает, хотя и не называет по имени.

Десятилетия спустя, большую часть того текста я опубликовал в книге «Священное ремесло». При этом завершил эту публикацию небольшим послесловием, где высказал догадку, что мышление Хайдеггера было ведо́мо изнутри его противлением Откровению, присутствию Света в бытии, истину которого он всегда стремился передать. Это противление так чувствуется в главном его трактате «Бытие и Время». Он хотел заслонить свет, который просвещает всякого человека и пронизывает всякую вещь, сиянием некоего Ничто и окружить его угасшим олимпийским культом, ожившим в его поздней философии. Но противление Богу, слепота к Нему, тогда я это понял, не просто неверие, отречение, богоборство, но одна из фундаментальных характеристик падшего человека, в том числе вполне даже и верующего, вполне церковного. Вера дает зрение, которому открывается слепота.

Рассвет

Вскоре после крещения со всей неизбежностью явилась еще одна болезненная проблема, она касалась не меня одного, но и той среды, которая была моей, моих друзей и сомысленников: Церковь и то, что вокруг нее, было схвачено политикой. Я вступил в Церковь словно причалил к острову правды посреди океана лжи, но тотчас выяснилось, что этот Божий остров заливало со всех сторон. Ты отказался, сказал я себе,

от неправд в словах и диссертациях, но вот здесь она прямо перед тобой. Неправда царила повсюду, стояла на мировоззренческом диктате всесильной, всеобъемлющей системы и состояла она прежде всего в навязанной картине мира. Церковь была и жертвой ее, но и соучастницей. Никаким унижениям она не смела прошептать «нет». Не желала знать своих мучеников. Пасхальные и рождественские послания патриарха, как и речи выездных епископов, звучали корявым переводом политического дискурса державной идеологии на специфический стиль мироточивой церковности. Эти речи с самого начала резали мой истерзанный уже подобными оборотами слух, я не мог их не слышать, но зато те, кому никаких заявлений было делать необязательно, могли пользоваться относительным правом на молчание. К тому же, взглянув окрест, посмотрев вглубь, я нигде не находил такой эпохи, начиная с великого Константина, в которой Истина христианства, восточного или западного, не была бы облеплена густой неправдой человеческой. Истина православия и тогда, и сейчас лежала в пыли истории, извне была скована государством, окружена насилием и попранием всякой человечности. Истина никак не сопрягалась со свободой в ее доступном смысле, даже не заключала с ней тайного брака, укрываясь лишь во внутренней спасительной клетке. Но без свободы во всех ее смыслах вера, как связь со Христом, была для меня невысказана. Так это осталось и по сей день, да я и не искал Церкви без пятна и порока, ни в прошлом, ни за морем, ни даже в катакомбах. С самого начала я принимал ту Церковь, которая есть. Ибо истина на земле существует не в палатах Царства Небесного, но, увы, в «зраке раба», евангельского нищего, сидящего у врат Царства. Зрак раба был прежде всего в том бесконечном насилии и попрании человека, которые ради Истины всегда совершались.

И все же душная, душащая неправда вокруг никак не затрагивала того ошеломляющего события, которое тогда началось.

Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.

Вздрагиваю, вспоминая, от пронзительной близости последней строки этого стихотворения. Оно называется «Рассвет». У Пастернака вслед за встречей с «Твоим Заветом»

сразу происходит встреча с людьми, с обычной московской улицей конца сороковых годов.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.

Открытие Слова Божия редко порождало желание найти себя именно в толпе. И все же эти встречи, эти рассветы как-то перекликаются. Они перекликались во мне. В непроизвольном желании поэта была какая-то правда; не пустыня, пусть и духовная, не намоленный воздух храма позвали его после чтения Божьего Завета, но утреннее оживленье обычных людей, спешивших на работу. Ожившему от обморока почему-то оказалось важным поделиться рассветом именно с ними (не похоже ли это на ощущение о. Александра Шмемана, «религиозно» пережившего встречу с людьми, толпящимися на нью-йоркской улице?). Но здесь намечается и развилка: общение с Богом, должно ли оно быть с людьми или без них, только в себе? Для меня стало важно быть с людьми в их простой человечности, это означало милосердие к ним даже в их неправдах и заблуждениях, в их судьбах, их бедах, падениях, прорывах. Посильное участие в суде над ними. Братство с ними перед лицом Единого, но со зримым, таким близким человеческим Лицом. Однако те люди, которых я встречал у Ольги Николаевны, потом в благоуханных храмах и в духовных старинных книгах, которые стал читать, от толпы скорее бежали. Им было лучше в их невидимых миру кельях, не только материальных, но и внутренних, душевных. С самого начала я оказался между двумя этими христианскими мирами, не вписавшись до конца ни в один.

Дом Ольги Николаевны, который я часто посещал в эти крестильные годы, стал для меня первым притвором новой церковной жизни. Этот дом находился почти напротив дома, где жил Сигурд Отгович Шмидт, сын известного академика, а для Якова Эммануиловича Голосовкера*, моего бывшего покойного друга, племянник Зига. После лагеря бездомный Яков Эммануилович его время от времени навещал. Сын его покойной сестры Маргариты, Зига был единственным его родственником, к которому Голосовкер был очень привязан, всегда едко, но и не очень зло, иронизируя

* О Голосовкере см. очерк «Между титаном и вепрем» в книге «Священное ремесло» (Алетейя, 2017).

над его, племянника, ученой карьерой и партийностью. В 1971 году, когда мы с Ольгой Николаевной познакомились, Голосовкера уже четыре года не было в живых. Проходя мимо дома Шмидта, я невольно представлял себе, как Яков Эммануилович шествовал сюда лет 30 подряд или больше, идя от метро Смоленская к Кривоарбатскому переулку, удивляя прохожих статью библейского пророка, развевающейся, рано поседевшей бородой короля Лира или античного трагического героя-язычника; все эти три облика отличались вопиющим несоответствием ни одному из возможных портретов советского человека. Вспоминая его самого и ту школу античности, которую я прошел в беседах с ним – подростка с ученым старцем – и приближаясь к другому дому, с его разговорами о молитвенниках, мучениках, катакомбных общинах, разбросанных по островкам не одной только церковной Москвы, я ощущал крутой сдвиг в своем существовании, внезапно шагнувшего из одного слоя в другой, едва-едва приоткрывшийся. Это была новая ступень, на которую надо было еще подняться. До сего дня пытаюсь начать.

Там, наверху ли, в стороне, за вещами, за лицами, улицами, невидимый куст продолжал гореть. И голос оттуда напоминал, что пора снять обувь. Институт философии Академии наук и храм Ильи Обыденного, все еще существовали поблизости, избегая друг друга и не пересекаясь. Все чаще я спрашивал себя: доколе?

Продолжение следует



ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО



*К 50-летию издания
«Архипелага ГУЛАГ»
Александра Солженицына*



ЖОРЖ НИВА

«Архипелаг ГУЛАГ», свет, судьба

«Архипелаг ГУЛАГ» никоим образом не утратил ни своего масштаба, ни диалектики, ни иронии, ни того света, который пятьдесят лет назад он пролил на скрываемую историю коммунистической каторги в СССР, ни того света, который, увы, он все еще проливает и сегодня на те гнусные преступления, которые теперь уже другие режимы продолжают совершать на поверхности мира, ставшего другим, — как во времени, так и в пространстве, — как сказал французский министр иностранных дел в Институте Франции в ноябре 2018¹. Основная цель этой книги — показать даже не актуальность того, что я сразу после ее публикации назвал «повествованием-собором», сколько ее неотъемлемое место в ряду произведений великих классиков, посвященных насилию, совершающемуся в роде человеческом. Величайшие книги, те, что остаются

поверх неизбежного забвения, на все накладывающего свой отпечаток, это всегда книги, говорящие о насилии и смерти. А значит, о войне, вкупе с местью, предательством, страхом, верностью, чистотой, молодостью, мужеством, красотой души. Собор — это не то же самое, что просто храм, базилика или акрополь — собор взмывает в небо, слово и те величественные строения, что носят это имя, относятся к эпохе христианской готики, и в Солженицыне тоже есть что-то от той эпохи. Не поиск мудрости — стоической мудрости — в плоском лагерном аду, но взмывание ввысь. Замок свода в соборе «Архипелага ГУЛАГ» называется: «Восхождение».

Лагерь приводит к искоренению всякого милосердия, всякой человечности. «В эту жестокость трудно верится», — говорит Солженицын, рассказывая о депортированных кулаках, брошенных в тайге, в самых безводных местах. Но лагерь может работать и в обратном направлении, в нем можно обнаружить порой мудрецов, не совсем героев, скорее, безумных смельчаков, но также и святых. Например, Борис Гаммеров, молодой еврейский поэт, Солженицын знакомится с ним, когда его прислали на глиняный карьер в Новом Иерусалиме. Норма была — накопать, нагрузить на вагонетку, откатить и разгрузить шесть кубометров глины. На двоих получалось двенадцать кубометров в день. В сухую погоду успевали только пять, а в дождь и того меньше. В начале они шутили: «Ты не находишь, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах?» В чеховских «Трех сестрах» барон мечтал работать на кирпичном заводе. А для них мечта сбылась! Но Борис слаб, он сдает уже на второй день и больше не разговаривает. «Зимой того года Борис умер в больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ...» Так близко к святости... Или вот еще, после побега соузницы, которую так и не поймали, девушка шепчет: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал, и вот она стоит по стойке «смирно» перед вахтой уже больше десяти часов, завтра воскресенье, и ее оставят там еще на десять часов. Несчастная пытается перетаптываться, чтобы согреться, ей кричат: «Стой смирно, б..., хуже будет!» Она умоляет, и молодой Александр Солженицын, проходя мимо наказанной, думает: «ей никто не скажет: “Святая! Войди!”», и добавляет, все так

же, мысленно: «девушка, я обещаю, прочтет о тебе весь свет». Этот сострадательный, ироничный, мстительный взгляд на воян Восхождением, хотя автор видит при этом и грязь, непристойность, доведенность до состояния отбросов.

На Солженицына сильное влияние оказал Толстой, но при этом в чем-то он глубоко отличается от автора «Войны и мира». Толстой ворочает огромным повествовательным материалом, главной составляющей которого будет война, пронзающая мир и подминающая под себя всех представителей общества, и по-детски ребячливых, и совсем юных, и мечтателей, и расточителей, и гуляк, погрязших в предрассудках или отдавшихся карьеризму. Это русское общество при Толстом и аристократическое, и крестьянское, потом потонувшее в бурном потоке времени, знававшее две революции, три войны, поражения, победы, страшную тиранию, все еще являет нам свое непосредственное и чудное присутствие, когда мы в него погружаемся, — потому что замешано оно на войне и смерти, и потому что оно преодолевает испытание простым возобновлением жизни, возвращением в ту колыбель, из которой все вышло и куда все вернется... Иными словами, благодаря господству вечного круговорота над прямолинейным потоком времени.

В каком-то смысле Солженицын вводит нас в возраст вечной молодости: поскольку и он сам, и большинство зеков, главных героев «Архипелага», и, главное, рассказчик, очень молоды. Молодые люди, проходящие подготовку к «школе жизни», в «Архипелаге» и в «Круге первом», и в итоге вся огромная поэма «Архипелага» — это живой импульс, который мы все время чувствуем. Живые молодые, но и мертвые тоже, поэт Гаммеров или девушка-«святая», простоявшая на вытяжку всю ночь.

Однако нет ничего более чуждого Солженицыну, чем такой «круговорот» истории. Солженицын не сторонник идеи «цикличности» истории, как она предстает у стоиков, буддистов или, за ними следом, у Шопенгауэра, которого Толстой так любил. Если попробовать уточнить его историографскую линию, я бы сказал, что мы можем найти у него то, что Бергсон описал как «непрестанную подвижность, припавшую к вечной неподвижности»². Непрестанная подвижность — это мир барака, мир выживания день за днем, если не час

за часом, когда нужно непрестанно находить свое место в бригаде, проявлять чудеса изобретательности, чтобы получить лишнюю «пайку», обнаружить стукачей, заполучить теплое местечко, не продав душу «операм». «Вечная неподвижность» — это тот отблеск вечности, который мы находим во всех произведениях Солженицына, и прежде всего, в его знаменитой «Молитве», написанной сразу после публикации «Одного дня Ивана Денисовича», принесшего ему мировую известность. Здесь уже заметна поразительная линия преемственности, живого предания, того самого, каким живет христианская церковь со времен выхода апостолов на проповедь.

А сколько не успею — значит,
Ты определил это другим.

* * *

Таким образом, в итоге, мы получаем не диагноз от лечащего мир врача, а двойное и взаимодополняющее зрение: с одной стороны, рой лагеря в вечном движении, а с другой — Вечное, к которому должна припасть личная воля. У Толстого, в его философии истории, мы остаемся в рое или в муравейнике, а великие люди смешны, ибо думают, что руководят роем, а на самом деле всего лишь подчиняются законам инстинкта, то есть анимизма, который царит в роде человеческом, а они этого не понимают. Солженицыну знаком клубящийся рой барака, где четыреста человек спят, играют, воняют, поют, орут, а порой и убивают друг друга. Но, в противоположность Толстому, он высматривает проблески воли, он следит за теми спинами, что негибаются, он выявляет тех, кто становится святым.

Заметим, что девиз дельфийского оракула, подхваченный Сократом, «познай самого себя», если попробовать применить его здесь, окажется чем-то практически невозможным. Потому что либо его ценность каждый миг ставится под вопрос в этой «непрестанной подвижности» лагеря между насилием и выживанием, либо же у него нет никакого смысла, потому что никакого «себя» вообще больше нет — оно исчезло в разлагающемся зеке, вылизывающем землю за кухней, в «мусульманине»-доходяге³, который уже не человек. То же самое касается бедности. Имеет ли еще смысл бедность,

воспетая стойками или проповедуемая Франциском Ассизским или Нилом Сорским, когда все богатство сводится к мелочи — швейная игла будет настоящим сокровищем — а такие мелочи обеспечивают выживание. Бедность здесь обязательна, а аскетизм — правило выживания. Почти все зеки, которые выживут, сохраняют этот дух аскетизма. «Архипелаг» — одна из тех великих книг, что учат самоотречению, апофатическому самопознанию, то есть самопознанию в отрицании себя: мы познаем здесь то, чем мы не являемся и что гораздо важнее того, чем мы являемся.

* * *

Конечно, книгу, когда она была издана во Франции в 1973 году, не сразу приняли должным образом. Я говорю сейчас о ее рецепции за пределами России, потому что в России должно было пройти еще немало времени, чтобы о ней смогли узнать. Собственно, как раз этот поразительный, беспрецедентный характер борьбы одного человека с титанической силой, установившейся, казалось тогда, навсегда, и привлек к себе и средства массовой информации, и внимание всех. Между самоубийством одной из «невидимок» и переданным в Париж приказом опубликовать «Архипелаг», в момент, когда рождается третий сын писателя-борца, все закручивается вихрем, но писатель спокоен посреди этой бури, буквально готов ко всему. Книга-бомба вышла на русском языке 28 декабря 1973. Начались публичные нападки в «Правде». В Политбюро обсуждают судьбу писателя и ведут тайные переговоры с канцлером Вилли Брандтом о его высылке в Германию. Писатель объявляет о создании Фонда помощи советским политзаключенным, в который пойдут все доходы от продажи «Архипелага». Его арестовали 12 февраля 1974 и доставили в тюрьму Лефортово, затем лишили советского гражданства и выслали из страны. Когда он, в сопровождении двух агентов КГБ, сошел с трапа самолета во Франкфурте-на-Майне, его встретил писатель Генрих Белль, которому два года назад он доверил свое завещание «на случай смерти или ареста». Из публичных библиотек в Советском Союзе были изъяты все его произведения. Редко когда вокруг одной книги поднимается такой захватывающий вихрь событий. Изгнание ее автора было похоже на высылку Овидия Августом или Гюго Наполеоном III...

Переводы «Архипелага» читались сквозь шум этого беспрецедентного происшествия. Во Франции телепередачи, в которых выступал бывший зек, бесчисленные письма с откликами зрителей дают нам документ эпохи, рентгеновский снимок французского общества того времени до падения коммунизма. Это целая страница в истории взаимоотношений между Россией и западным миром, которая пишется в шуме и ярости. Одни говорят о чуде, другие изобличают самозванство. Солженицын провел на Западе двадцать лет, сначала в Швейцарии, потом в Соединенных Штатах, где он написал «Красное Колесо», огромное дополнение к «Архипелагу». Кажется, что ему не суждено было особенно полюбить Францию, прародительницу первой Великой революции, продолжательницей которой Россия с самого начала хотела стать. Вряд ли были ему по душе и традиции либертинизма, то есть «безбожного гедонизма», характерные для Франции от Мольера до Брассенса, но его дружба с Никитой Струве, представителем русской эмиграции во Франции, укоренившемся во французской культуре, сохранив при этом русское и православное наследие, во многом способствовала тому, что он назвал Францию своей «второй, совсем неожиданной родиной». И сам прием Солженицына во Франции оказался клубком парадоксов, в котором можно различить искренние и удивительные симпатии: Бернар-Анри Леви или Филипп Соллерс видели в нем нового Данте; но и упорное неприятие: Ролан Барт счел его всего лишь устаревшим писателем со старомодным стилем. Идеологическая эволюция Солженицына за те долгие годы, что он прожил в США, превратила его в «Катона» падения нравов на Западе, а его «Гарвардская речь» стала для некоторых библией. Чтение «Архипелага» в этом новом ракурсе Солженицына как пророка беды интересовало лишь малое стадо верных. Кажется, страница советской и тиранической России перевернута навсегда, Кремль для многих стал защитником «христианских ценностей», заповедовавшим всем школьникам прочитать краткое изложение «Архипелага».

* * *

Литература, специализирующаяся на теме репрессий в советской России, стала весьма обширной, сегодня можно назвать сотни книг и статей, плюс многочисленные рукописи,

которые наконец-то смогли достать из тайников в самой России, и поток мемуаров бывших зеков, который постепенно иссякает. В качестве примера можно привести сборник «Раненое сегодня», подборку текстов четырнадцати бывших зеков, сидевших в 1930-е, опубликованный в Москве в 1989, его перевод вышел во Франции под редакцией Франсин Андреевой⁴, или же книгу «Свидетель Бога у безбожников», тюремный дневник латвийского католического епископа монсеньора Слосканса⁵, и множество других! Сюда можно добавить и мемуары Юлия Марголина, Юрия Домбровского, Маргариты Бубер-Нейман, Екатерины Олицкой и множество других, часть из них была написана еще до «Архипелага». Приведем три примера научных исследований: Леона Токер, Энн Эпплбаум и Олег Хлевнюк.

Леона Токер — автор книги «Возвращение с Архипелага: Истории выживших в ГУЛАГе»⁶. В ней она проследивает историю ГУЛАГа, а затем дает классификацию различных типов воспоминаний у выживших (хотя тексты часто опубликованы посмертно), анализирует переход от свидетельства к художественному вымыслу, выделяет среди них те воспоминания, которые были переработаны авторами после того, как они получили доступ к секретным материалам своего дела, что было возможно в России в течение нескольких лет после 1991, — особое внимание она обращает на дело Льва Разгона, автора, который кроме всего прочего, был резким критиком «Архипелага ГУЛАГ». Наконец, она весьма наглядно сопоставляет корпус текстов о ГУЛАГе с корпусом текстов о Холокосте. Иными словами, Токер принадлежит к тем исследователям, для кого не представляется возможным написать систематическую историю концентрационных лагерей без учета «литературных» свидетельств в силу того, что архивы либо очень неполны, либо содержат подделки. В этом отношении подзаголовков «Архипелага» применим к большей части литературы о массовом истреблении, потому что убитые не говорят, а у выживших наблюдается «синдром выжившего», вечный самоупрек, избавиться от которого их сможет только смерть. Что же касается палачей, то если они и говорят, то явно лишь для маскировки, искажения фактов, лжи.

Энн Эпплбаум — автор самой амбициозной книги «ГУЛАГ: история»⁷, и ее отношение к автору «Архипелага ГУЛАГ»

будет непростым. Возникает впечатление, что обращение к опыту своего прославленного предшественника вызывает у историка неловкость. Она называет его «выжившим, ставшим одним из самых известных и самых продаваемых русских писателей в мире», немного двусмысленное уточнение, особенно в свете того, что мы знаем, что все доходы от книги пошли на нужды выживших зеков. Энн Эпплбаум цитирует его и как свидетеля, однако, как одного из многих свидетелей, наряду с другими (а мы знаем, что он собрал больше двухсот свидетельств). Среди этих других она, конечно, выбирает замечательных авторов (уже подробно изученных Леоной Токер): Льва Разгона, Анатолия Жигулина, Нину Гаген-Торн, Евгению Гинзбург, Варлама Шаламова и двух бывших польских зеков Александра Вата и Густава Херлинг-Грудзинского.

От Солженицына и его «Архипелага» она сохраняет общий план — доказательство того, что Солженицын сразу задумал такой план, позволяющий охватить огромный материал, — но из самого текста «Архипелага» она приводит лишь личные признания, как если бы «Архипелаг» был всего лишь свидетельством. Или же цитирует его романы, особенно «В круге первом», то есть художественные мемуары, хотя чистому историку к таким свидетельствам следует относиться с осторожностью. «Архипелаг» тут не воспринимается и не изучается как исторический очерк. Конечно, если ты историк, ты должен перепроверить источники, поработать в архивах. Солженицын, хотя и работал втайне, прочел огромное количество текстов, в частности воспоминания тех чекистов, что были прославлены в 1920-е годы, а затем расстреляны Ягодой или его преемниками в 1930-е, так что их воспоминания потом изъяли из всех публичных и частных библиотек. Бесстрашные доброты снабжали его книгами, ставшими чрезвычайной и опасной редкостью, и он блестяще ими воспользовался с той великолепной мстительной иронией, которая стала цементом его книги. Но, конечно, он не мог обратиться в архивы лагерного управления. Энн Эпплбаум, похоже, даже упрекает его в этом, при том, что сама, как это ни парадоксально, обращается к литературным источникам и часто признает, что проверка по архивным документам невозможна. Невозможна потому, что в управлении хитрили, и потому что некоторые факты, по определению, не могут

оказаться в архивах: ни убитые, ни замученные до смерти, ни доносчики, ни блатари не оставили письменных следов. Не осталось их о крупном восстании в Кенгирском лагере в 1954, так что тут, в данном случае, она ссылается на «Архипелаг» как на источник, оговариваясь, однако, по поводу провокаций охранников, подталкивавших зеков к бунту: «Документальных подтверждений или опровержений этому пока не найдено...» Так что мне кажется, что впечатляющий труд Энн Эшлбаум не отдает должного «Архипелагу», возможно, просто потому, что вынуждает ее признать основную интуицию Солженицына-историка: без устных рассказов у нас никогда не было бы истории ГУЛАГа. «Архипелаг», поэма о «фабрике насилия», будет одновременно и совершенно закономерной попыткой исторического обзора, которой тирания пытается заткнуть рот. Столь же ценной, как и «История» Тацита.

Конечно, были архивные фонды и у органов управления ГУЛАГа, и от «троек», трибуналов из трех судей, которым было поручено потоком выносить приговоры сотням тысяч людей, арестованным в 1937–1939 по всем регионам СССР по спущенным сверху спискам, остались списки расстрелянных, строго совпадавшие с полученными инструкциями. Такие архивные документы могут помочь нам лишь в одном: подсчитать общее количество жертв. Именно этим и занимается русский историк Олег Хлевнюк. Дадим ему слово: «Парадокс историографической ситуации заключается в том, что в литературе отсутствует ответ на вопрос, с которого логично начинать изучение проблемы: сколько всего было жертв террора и государственного насилия?» Подробно приведя все архивные данные, с которыми ему удалось поработать, — а на сегодняшний день такой возможности уже больше нет, Хлевнюк приходит к такому выводу: «Мы знаем, например, что близко к моменту смерти Сталина на 1 января 1953 г. в лагерях и колониях содержались около 2,5 млн. человек, в тюрьмах более 150 тыс., в спецпоселениях и ссылке более 2,8 млн. Эти 5,5 млн. человек составляли около 3 % населения страны и более значительную долю среди взрослого населения». В итоге историк делает общий вывод по статистике, относительно «первых кругов максимальной концентрации насилия в сталинской системе»: «около одного миллиона расстрелянных, около 17 миллионов заключенных

лагерей, колоний, тюрем, около 6 миллионов депортированных, около 2 миллионов человек, подвергнутых заключению в порядке ареста без формального осуждения».

Это, несомненно, самое существенное дополнение к «Архипелагу ГУЛАГ». Такой подсчет, конечно, не смог бы сделать ни Солженицын, ни кто-либо другой из авторов мемуарных очерков, свидетельств, художественных рассказов или воспоминаний, отредактированных после ознакомления с собственным делом в архиве КГБ.

* * *

Сегодня «Архипелаг ГУЛАГ» снова должен выйти на первый план как поэма о насилии, наподобие «Илиады», и как историческое произведение. Потому что насилие вернулось на территорию бывшей Российской империи и проявляет себя сегодня в войне, казавшейся еще недавно немыслимой. В Думе Российской Федерации один депутат в январе 2023 года предложил убрать «Архипелаг» из школьной программы. Потому что «Архипелаг», считает он, относится к тем произведениям, которые «не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, “сплетни в виде версий”». А значит, его нужно исключить. А для восстановления исторической справедливости нужно вместо этого вновь включить в школьную программу «советские произведения, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память».

В 1965 году английский историк русского происхождения Алек Нове поставил вопрос: «А был ли Сталин действительно нужен?» Сегодня многие загипнотизированные умы снова отвечают восторженным «да». Да — циклическому повторению истории, да — идее, что все нужно перестроить, как все пере-страивал Сталин, вернуть наши исторические территории, выиграть вторую Отечественную войну против нацистов. В этом странном водовороте возвращения на прежнюю орбиту некоторые вещи претерпевают странные изменения; например, слово «фашист» не вернулось, вместо него снова всплыло слово «нацист», исчезнувшее когда-то вместе с пактом Молотова-Риббентропа. И еще один термин вернулся сегодня: «пятая колонна», термин из словаря Гражданской

войны в Испании. Одним словом, история совершила большой небесный оборот и возвращается почти на ту же орбиту...

Учитывая, с какой скоростью насилие возвращается вообще в наш мир, «Архипелаг ГУЛАГ» сегодня стоит читать и перечитывать как свидетельство о коллективном насилии и о личной свободе. «Жить не по лжи», девиз Солженицына, сегодня актуален как никогда, и ему все так же трудно следовать. «Архипелаг» вновь оказывается книгой, которая показывает нам филигранную работу насилия в нашей цивилизации, возникшей на другом Архипелаге, архипелаге греческих островов, колыбели нашей культуры и демократии. Под греческим архипелагом притаился, даже не подозревая о том, архипелаг зеків!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Le Drian Jean-Yve (Ле Дриан Жан-Ив)*, см. «Soljénitsyne et la France (Солженицын и Франция)». Paris: Fayard, 2021.

² См. *Gandillac de Maurice. La sagesse de Plotin (Мудрость Плотина)*. Paris: Hachette, 1952.

³ Пьер Декс или Хорхе Семпрун, прочитав «Один день Ивана Денисовича», удивились, обнаружив там сцены, знакомые им по нацистскому лагерю, в котором побывали, в частности, увидев образ «мусульманина», «доходяги», творящего свою «молитву» над очистками, найденными в грязи.

⁴ *L'Aujourd'hui blessé*. Paris: Verdier, 1997.

⁵ *Témoignage de Dieu chez les Sans-Dieu*. Meudon: Aide à l'Eglise en détresse, 1986.

⁶ *Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors*. Bloomington: Indiana University Press, 2000 (по-английски).

⁷ Paris: Grosset, 2003.

*Перевод с французского
Натальи Ликвинцевой*

К 150-летию со дня кончины
Федора Тютчева



ЖОРЖ НИВА

Поль Гард и Федор Тютчев:
незаурядная встреча

Предисловие профессора Поля Гарда (1926–2021) к его сборнику переводов поэзии Федора Тютчева, который мы представляем здесь в русском переводе, — текст, не утративший своей оригинальности и сегодня, хотя он появился в 1987 году в Лозанне, в издательстве *L'Âge d'Homme*, в серии «Славянские классики», редактором которой я выступал совместно с моим коллегой и другом Жаком Като. Читатель заметит, что Поль Гард не любил категоричных приговоров, которые многие его коллеги выносили поэтическим переводам, как только те отклонялись от буквального смысла. Он хотел попробовать нечто другое, что-то между максимально точной семантической передачей и воссозданием всех формальных параметров оригинала. Мы не будем вдаваться в подробности успеха или неудачи этой попытки. Что нас должно восхищать, так это неуверенный, медленный, но полный решимости текст, созданный этим переводчиком. Для него перевод Тютчева — не академическое упражнение, не ответ на заказ издателя, а нечто похожее на то, что в Средневековье называли «шедевром». До сегодняшнего дня «товарищи Долга и Странствования по Франции» продолжают эту традицию и посвящают один год своей жизни созданию собственного «шедевра». Поль Гард не вступал ни в какие товарищества, а хотел создать «шедевр» просто для себя и для Бога. Он был убежденным католиком и выполнял свой «долг». Когда он

заговорил со мной об этой книге, я сразу же предложил ему опубликовать ее в лозаннском издательстве, где я был тогда редактором собственной серии.

Поль Гард с женой жили в Экс-ан-Провансе, и у них был старый домик в верхней части графства Ниццы, неподалеку от Долины чудес, где на высоте 2000 метров были найдены удивительные наскальные гравюры, свидетельства старинного языческого культа. Он это место очень любил, туда в полном одиночестве часто ходил пешком. Наверное, там он и читал Тютчева. Я уже упомянул, что он был набожным католиком. Когда, по моей просьбе, Поль Гард стал преподавать лингвистику в Женевском университете, он поставил перед руководством беспрецедентную задачу: он попросил, чтобы из его зарплаты изымали добровольный церковный налог, который в Женеве можно платить, если заявляешь о том, что ты католик (или протестант, или иудей). Это тоже был своего рода налоговый «шедевр», поскольку ни один профессор никогда еще не просил об этом. Но Поль Гард был исключением, в грамматике это называют «гапакс»...

Что касается Тютчева, то его «шедевр» не принес желаемого результата, то есть знакомства французских читателей с неподражаемым поэтом-философом, чье поэтическое творчество умещается на ладони, но без него русская поэзия просто была бы немислима. Это не значит, что французы глухи к поэзии. Безусловно, во Франции было много великих читателей поэзии. Людовик XIV читал, любил и поощрял и Буало, и Расина. Вольтер написал тысячи стихов и драм в стихах, и его читали по всей Европе. Затем, в XIX веке, огромной популярностью пользовались Ламартин и Беранже (сегодня они забыты). Казнь замечательного поэта Андре Шенье внушила Пушкину стихотворение, которое дает ключ к Пушкину-историку. Спустя полвека Виктор Гюго, которым восхищался Тютчев, был изгнан, а позднее, на его похороны в Париже собралась огромная процессия из более чем миллиона скорбящих. Иными словами, поэзия играла во Франции далеко не последнюю роль.

Но к началу двадцатого века что-то изменилось. Александринский стих наших классиков состарился, рифма исчерпала себя. Рембо совершил революцию в поэзии, после чего Клодель и Пеги перешли на вольный стих, который в

России до сих пор не понимают. Рене Шар был участником Сопротивления и своего рода скульптором совершенно новой поэзии. Поэты продолжали быть борцами, но поэзия стала редкой рудой.

Однако Поль Гард был прежде всего грамматиком. Он упоминает об этом в тексте о Тютчеве, когда определяет его синтаксис как «почти детский». Гард изучал морфологию и фонологию французского языка, и изучал все его слои не столько в исторической перспективе, сколько по возрасту носителя. Тютчев, поэт, который больше молчит, чем говорит, — почти ребенок, *infans* на латыни, то есть сохранивший что-то из детства, из своего детства, как и из детства мирового. Когда Гард использует русскую поговорку «ложка дегтя в бочке меда», ее следует понимать буквально: перевод можно испортить в одно мгновение, он не выдерживает и ложки фальши. В чем Гард ошибается, так это в том, что противопоставляет поэтический перевод философскому переводу. Мол, смысловые «жертвоприношения» допустимы при переводе поэта, но не философа. Хайдеггер и его французские переводчики доказывают его полную неправоту, да и мы сами не в эпохе Декарта...

Поль Гард прежде всего был специалистом в русском, французском и в том виртуальном языке, который лингвисты изучают со времен Якобсона и Соссюра. Он подарил нам замечательную русскую грамматику, но лишь первый ее том был опубликован: о фонологии и морфологии. Во втором томе речь должна была идти о синтаксисе. Гард удивительно точно определяет, о чем будет идти речь, объясняя все три слова: «современный», «литературный», «язык». Ибо любой объект науки — выдуманный, его не найти по радио, не прочесть в газете, не услышать на тротуаре. Поэтому списки примеров, которые дает Гард после каждого грамматического правила, играют основную роль. Это либо продуктивные бесконечные списки, либо непродуктивные и конечные списки, либо неполные списки непродуктивных явлений. Например, категории «заимствований» и «недавних заимствований» определяются фонологическими признаками. Борис Унбегаун в фундаментальной статье, опубликованной в 1965 году, ставит вопрос: «Является ли литературный русский язык русским по происхождению?» — и Гард пытается

на него ответить. Это было для меня особенно интересно, ибо я был студентом и другом Унбегауна в Оксфорде. Он происходил из семьи русифицированных балтийских баронов, преподавал во время войны в Клермон-Ферране, дружил с моими родителями и был арестован Гестапо, отправлен в Дахау. Грамматика Гарда впускала меня как бы в давно знакомую страну...

И это еще не все! У Поля Гарда была грыжа, из-за которой он вынужден был носить корсет, и именно в этом корсете, с большим трудом наклонившись, он несколько раз прошел по узкому и низкому туннелю, соединявшему мусульманский боснийский город Сараево с внешним миром во время осады сербами. Гард хотел стать свидетелем ужасов этой осады и написал «Дневник путешествия по Боснии и Герцеговине». Книга вызвала острые споры, и Гард изложил свои возражения в «Ответе моим сербским оппонентам». Я лично не полностью соглашался с ним, но меня не удивило, что снова профессор Гард медленно, но упорно шел своим путем. Это был еще один «шедевр». На мой взгляд, третий по счету.

Первый и второй дали много ответвлений. Лишь маленький шедевр о Тютчеве, который мы представляем здесь, остался без дополнений. Мне кажется, что Поль Гард нашел в Тютчеве спутника для себя и поэтому взялся за подвиг переводить его. Смирно, но смело он захотел идти рядом с ним, ему нравились краткость, тишина поэзии Тютчева. В ней он находил — и мы находим — Христа, Россию и Silentium.

Поль Гард

О Тютчеве

1. Полюбить Тютчева

Русская поэзия мало знакома широкому читателю во Франции. Даже самые выдающиеся поэты, Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Ахматова, которых в России справедливо ставят на один уровень с великими прозаиками, или даже выше, являются для наших соотечественников не более чем именами, а их произведения, за редким исключением, остаются труднодоступными.

Не слишком ли смело в подобном случае пытаться познакомить эту публику с таким поэтом как Федор Иванович Тютчев, чье имя, возможно, знает один француз на десять тысяч, чьи произведения немногочисленны (300 стихотворений, почти все из которых совсем небольшие по размеру), с поэтом, который даже для своей страны имел необычную судьбу: долго жил за границей, поздно дебютировал, получил известность и был оценен по достоинству только в старости, а по-настоящему признан лишь после смерти?

Несмотря на все эти сомнения, мы все же решили представить Тютчева во Франции, чтобы у нас была возможность услышать его голос, совсем не похожий на другие, и мы надеемся, что этот уникальный, открывающий французскому читателю совершенно новую поэтическую вселенную голос будет услышан. Он не прошел незамеченным для величайших современников поэта. Толстой говорил о Тютчеве, что «без него нельзя жить», а также: «По моему мнению, Тютчев — первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин». Тургенев писал: «О Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии». Достоевский называл его «нашим великим поэтом». Уже после смерти Тютчева Владимир Соловьев, а позже с ним и русские символисты признавали поэта своим предшественником. С тех пор его положение в пантеоне русской поэзии никогда не подвергалось сомнению.

Первым здесь воспоминания великих и расскажем коротко о самом Тютчеве. Из его биографии нам известно, что

он родился в 1803 г. в дворянской семье в селе Овстут, близ Орла, на малой родине Ивана Тургенева. Таким образом, Тютчев относится к поколению великих поэтов-романтиков: он немногим младше Пушкина (1799), а также Гюго (1802), Гейне (1799), Мицкевича (1798), Виньи (1797) и старше Лермонтова (1814). Однако его судьба будет сильно отличаться. Перейдем к его детству в Москве, к студенческим годам в Московском университете, который был тогда местом литературного расцвета в духе классицизма, к его участию в кружке Раича, поэта и переводчика «Георгик», к ранним стихам. В 19 лет, в 1822 году юный Тютчев начинает карьеру дипломата и уезжает из России, в которую он вернется только спустя 21 год. До 1837 года он служит в Мюнхене, затем — в Турине; он также путешествует по Италии, Швейцарии, Франции. Итак, именно за границей пройдут решающие для его творчества годы, там же он дважды женится на иностранках: на немке и на уроженке Эльзаса; в Мюнхене он встречается с Шеллингом и Гейне, последнего — переведет на русский язык, а вместе с ним Гете, Шиллера и Ламартина; здесь, вдали от русской литературной жизни он напишет большую часть своих самых выдающихся произведений — середина 30-х годов, а точнее, 1836-ой год ознаменуют пик его поэтической зрелости. Однако его стихи, публиковавшиеся только в журналах, долгое время остаются почти незамеченными в России. Менее плодотворными оказались 40-ые годы. Вернувшись в Россию в возрасте сорока лет, наш поэт начинает новую карьеру политического мыслителя-славянофила и цензора в министерстве иностранных дел, а также ведет активную светскую жизнь, прославив блестящим собеседником среди тех, кто зачастую не догадывался, что он еще и пишет стихи. Стихотворения на социальные темы и произведения политического характера, художественно уступающие лирическим текстам, занимают все большее место в его творчестве. Новое поэтическое дыхание открывается Тютчеву в 1850 году, когда уже в зрелом возрасте Федор Иванович влюбляется в двадцатилетнюю Елену Денисьеву: скандальная для света любовная история, «убийственная» любовь, по выражению самого поэта, продлилась вплоть до преждевременной кончины Денисьевой в 1864 году и стала источником вдохновения для нескольких прекрасных стихотворений.

В этот же период на Тютчева наконец обращают внимание критики, благодаря статье Некрасова 1850 года, а в 1854 году, при содействии Тургенева, выходит его первый поэтический сборник, который имеет определенный успех. Федор Иванович умирает в 1873 году. Только спустя 30 лет, благодаря символистам, его настигает настоящая слава.

Таким образом Тютчев – поэт, который, по замечанию его исследователя Дмитрия Стремоухова, связал XVIII век, куда уходят корни его творчества, с веком XX-м; прожил свой собственный, то есть романтический век, не столько не замечая его, сколько не разделяя его чувствительности, не принимая участия в его пристрастиях и литературных движениях. Что же отделяло Тютчева от русских писателей его времени?

В первую очередь, расстояние. Важнейшие двадцать лет своей жизни Федор Иванович провел в Германии, вдали от московских и петербургских литературных кругов, среди дипломатов, где говорили исключительно на французском. Вся его переписка и проза того периода написаны на нашем языке. На французском существует даже несколько стихотворений.

Уехав из России еще до расцвета пушкинской школы, Тютчев оставил нетронутыми поэтические формы, популярные в начале века, в эпоху классицизма. Не будучи архаичным, его язык остается классическим, продолжая традицию XVIII века. Пушкину и его последователям удалось слить воедино благородный поэтический язык, насыщенный церковнославянизмами, своих предков, с разговорным русским. Подобные попытки отсутствуют в поэзии Тютчева – ее синтаксис прост, но, что касается выбора слов, умеренно придерживается старого литературного стиля, без излишних архаизмов. Оставаясь верным эстетике классицизма, Тютчев использует ограниченный словарный запас, который, безусловно, шире словаря Расина, но позволяет органично существовать в нем метафорам эпохи классицизма. Таким образом, ничто у Тютчева не мешает восприятию французского читателя, привыкшего к классической поэзии.

В стихах будущего славянофила не найти и явных признаков особой любви ко всему русскому. В юности Тютчев обошел стороной и так и не примкнул к тем его современникам, кто потом ввели в стиль и литературный обиход будущее

понятие «народность», то есть русскую народную стихию. Никаких провинциализмов, никаких народных выражений и деревенских сцен, ни капли фольклора и знаменитой русской души. Тютчевские пейзажи, когда они не отсылают целенаправленно на юг Европы (Рим, Геную, Ниццу, Женевское озеро, Альпы), безусловно, русские пейзажи. Однако даже эту холодную красоту Тютчев порой описывает с чувством разочарования и враждебности: печаль русского пейзажа связана у него с отсталостью и порабощением страны. Любовь Тютчева к родине — не простая и не поверхностная, а глубокая и требовательная. Она оказывается не актом разума, но актом веры, как верно подмечает ставшее общеизвестным четверостишие.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать.
В Россию можно только верить.

Еще одно отличие Тютчева от других современных ему поэтов заключается в его образе жизни и личной отдаче себя. Он никогда не был литератором по профессии. Он никогда не писал художественной прозы. Он стал участвовать в политике только под конец жизни. Многие поэты его поколения имели трагическую судьбу: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, Рылеев повешен после восстания декабристов, Батюшков сошел с ума... Тютчев умер в 69 лет и, даже если он и не пытался сделать карьеру, то и не брезговал предлагаемыми ему должностями. В течение почти тридцати лет его поэзия и жизнь были разделены непроницаемой стеной. Вплоть до 1850 года, до встречи с Денисьевой ничего в его творчестве не упоминало о личной жизни; так, нам почти ничего неизвестно о женщинах, которых он любил. Выходя в свет, Тютчев также никогда не говорил о своей поэзии. «Федор Иванович, — пишет его друг Афанасий Фет, — сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речь». Он всю жизнь был равнодушен к публикациям и даже уничтожил большую их часть. Эта скромность нашла свое выражение в одном из его самых красивых стихотворений, «Silentium»: «Молчи, скрывайся и тай / И чувства и мечты свои». В случае с Тютчевым мы

крайне далеки от популярного, благодаря Мюссе, образа поэта, отдающего свое сердце на съедение публике.

Если Федор Иванович так жестко разделял жизнь и творчество, то это не потому, что он, как некоторые сторонники чистого искусства, расценивал поэзию только как развлечение или упражнение в форме — совсем наоборот. Поэзия была слишком тесно связана с его глубинными душевными переживаниями, она раскрывала «бездны бездонные», «безымянные» думы, «таинственно-волшебные» (эти слова часто повторяются в произведениях Тютчева) — внутренний мир, доступный только поэзии, о котором не принято говорить в обычной жизни. Показательно, что Тютчев проводит языковую границу между двумя вселенными: стихи он пишет на русском, а все остальное — по-французски.

Читая Тютчева, мы исследуем скрытый от глаз мир. На протяжении всего творчества этот мир раскрывается разными гранями, от стихотворения к стихотворению, с удивительной последовательностью. Предельная цельность этой внутренней вселенной, постоянно повторяющиеся темы, символы, отдельные слова и глубина мировоззрения поэта стали причиной, по которой Тютчев заслужил определение, закрепившееся за ним в литературной критике, *поэта-философа*. Первым, кто окрестил поэта философом, был Федор Михайлович Достоевский, после него Тютчева продолжили так называть и другие современники, и мы находим это определение даже в заголовке блестящей и нужной книги французского исследователя Тютчева Франсуа Корнильо.

Здесь необходимо договориться о терминах. Мы больше не живем в эпоху Лукреция, когда поэт мог одновременно считаться философом. Лукреций объясняет свое видение мира рационально, с целью убедить читателя, приводит доказательства, обращаясь к его рассудку — взывать к эмоциям не входит в его задачи. Слово философа должно быть свободным от всяких коннотаций, чтобы можно было свести его к своему денотативному значению и использовать как термин. Цель поэта — прямо противоположная. Его цель — это сами слова, не в абстрактном значении, а в своей сущностной форме, какой ее создал язык, с их способностью воскрешать воспоминания, с их эмоциональной ценностью, их звучанием. Его цель не в том, чтобы убедить читателя-слушателя, а

чтобы задеть фибры его души. Послание поэта не является и не может быть доктриной, оно остается в области «несказанного» (еще одно любимое слово Тютчева).

Очевидно, что в определении «поэт-философ», термин «философ» используется не в своем прямом значении. «Поэт-философ» не участвует в философских спорах, его имя не фигурирует в истории философии. Он остается поэтом среди таких же поэтов. Он отличается лишь тем, что в нем живет и развивается одна уникальная экзистенциальная мысль, так же последовательно, как и рациональная мысль у философа. Он далек от того, чтобы стать «звучным эхом», как о том мечтал Виктор Гюго, он сам является источником всех звуков, которые слышны в его поэзии. Поэт доносит свою мысль, умело используя бесконечные ресурсы родного языка, оказывая тем самым на читателя столь же сильное впечатление, что и рассуждения философа, духовного наставника: «без него нельзя жить...»

Так стоит ли упрощать мысль Тютчева, пытаясь представить ее как часть философской системы? Не стать ли нам путеводителем-бедекером, объясняя читателю пейзаж, который он сам прекрасно видит? Читая стихотворение «Как океан объемлет шар земной...», читатель может заметить, что на полвека раньше Фрейда Тютчев почувствовал, что «земная жизнь кругом объята снами». Почти все его творчество пронизано этим предчувствием, что жизнь сознательная, дневная есть лишь мимолетная видимость, противостоящая хаосу, ночному миру теней, который окружает и угрожает человеку, делает его беззащитным, но в то же время, как подлинная родина, взывает к нему. Типичный пейзаж Тютчева, поэта ночи, это возрождение теней, внушающих тревогу. Вокруг этого лейтмотива рисуются, почти по одной и той же схеме, пейзажи всех времен года — это всегда субъективное впечатление о пейзаже, находящее отзвук во всех органах чувств, завершающееся интерпретацией поэта: мифологической в ранних произведениях, аллегорической и символической — в более поздних. Иногда схема написания пейзажа обратная: рассуждение о человеческом предшествует природной метафоре. В любом случае природа постоянно одушевляется. Каждый пейзаж раскрывает, как природа, дневная или ночная, весенняя или осенняя, влияет на человеческие чувства

любви и тоски, на бодрствование и сон, на жизнь и смерть. В этом заключается то, что на философском языке называется пантеизмом Тютчева: «Всё во мне, и я во всем!» Такая поэзия, обращенная к мифу и символу, опередила свое время. Неудивительно, что ее высоко оценили именно в эпоху символизма, связав таким образом Тютчева с XX веком.

Трагичность, присущая подобному мировоззрению, пронизывает все творчество Тютчева, в том числе и любовную лирику, описывающую горечь прощания или «убийственную любовь».

Способен ли французский читатель услышать голос Тютчева? Сможет ли он по достоинству оценить классическую строгость художественных приемов, выверенность слов, предельную лаконичность, совершенное единство стиля, бодлеровскую игру соответствий, музыкальность стиха, метрическую и синтаксическую стройность, идеальное соответствие формы содержанию — то есть все то, что уже больше века восхищает русского читателя? Нам сложно гарантировать успех Тютчева во Франции, ведь здесь, к сожалению, все зависит исключительно от мастерства переводчика, который понесет полную ответственность, если эти цели не будут достигнуты.

Переводить Тютчева

Переводить Тютчева — это, конечно, предавать его. Ведь абсолютно невозможно передать на другом языке все, что содержит в себе оригинальный поэтический текст. Переводчику неизбежно приходится вырезать, ампутировать и калечить. Мы можем описать переводную поэзию в тех же выражениях, в каких стихотворение Тютчева «О, как убийственно мы любим» описывает женщину, уничтоженную несчастной любовью: «И что ж от долгого мученья, / Как пепл, сберечь ей удалось?». Сохранить все невозможно, и переводчику, каким бы искусным он ни был, приходится идти на жертвы. Какая из возможных жертв будет наименее болезненной и наименее разрушительной — это ежеминутный выбор, от которого переводчику никуда не деться.

В поэтическом тексте в гораздо большей степени, чем в любом другом, важную роль играют языковые знаки,

используемые во всем их разнообразии, с особым вниманием к означающим и означаемым. Поэт обеспечивает максимальную слаженность между ними, придавая их, по сути, произвольным сочетаниям исключительный характер. Не этим ли поэзия так похожа на любовь? Поэт торжествует над произвольностью языкового знака. А его несчастному переводчику, вынужденному воспроизводить этот лад на совершенно другом материале, мстит эта произвольность знака.

Французская переводческая традиция, глубоко укоренившаяся в нашей литературе, разрешает дилемму художественного переводчика очень просто. На мучительные вопросы: «Что сохранить?», «Чем пожертвовать?», — она наивно отвечает бережным отношением к означаемому и безжалостным — к означающему. В попытках сохранить малейшие смысловые нюансы стихи зачастую переводятся в прозе, но при этом приносятся в жертву их метрическая структура и звучание. Возникшая в XIX веке как реакция против «неверных красот» предшествующей эпохи, как показал Жорж Мунен, эта тенденция приняла в наше время почти чудовищные формы, в том числе под влиянием столь же педантичных, сколь и выдающихся академиков, которые правят поэтические переводы, как ответы студентов на экзамене. Эта привычка, как наглядно показал Ефим Эткинд в своей книге*, которой мы многим обязаны, означает, что французы, в отличие от других народов, знакомы с иностранной поэзией в мало перевариваемых формах и поэтому не интересуются ею.

Переводчику, так же, как и преподавателю (которым он порой является), необходимо осознавать малейшие смысловые нюансы исходного текста; но при переходе к действию, то есть к переводу, ему неизбежно придется пойти на жертвы. Принять верное решение: в каком случае стоит жертвовать означаемым (оттенками смысла, отдельными словами, метафорами или даже целыми фразами) или означающим (метром, рифмой, звуковой игрой, морфологическим и синтаксическим параллелизмом), в этом и заключается мастерство переводчика, для которого не существует готового рецепта. Важно лишь конечное впечатление, которое произведет

* «Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique» / «Искусство в кризисе: Эссе о поэтике поэтического перевода» (L'Age d'Homme, 1982).

перевод на французского читателя, и лучше всего, чтобы оно было максимально приближено к впечатлению, которое производит оригинал на носителя языка (этот конечный результат работы переводчика по определению не поддается объективной оценке; единственный, кто способен произвести подобное сравнение — это читатель-билингв).

Итак, переводя Тютчева, мы его предали. С бесконечным сожалением, но сознательно. Мы предали его, но сохранили всё, что было возможно: и означающее, и означаемое. Осталось только кратко описать, чем мы руководствовались, принося те или иные языковые жертвы. Прежде всего необходимо сохранить языковые элементы, имеющие ключевое значение для всего творчества. Чем меньше последствий от принесенной жертвы, тем более она считается приемлемой.

Что касается означающего, при переводе Тютчева мы уделили большое внимание его просодии. Это, по сути, одно из самых важных решений, которое принимается один раз в отношении отдельно взятого стихотворения и в конечном счете влияет на перевод всего творчества. Стихотворение — это в первую очередь ритмически организованная звуковая материя. Какая строфа, какой метр, какое расположение рифм и т. д. используется в оригинале, и как воплотить их во французском переводе — таковы были переводческие проблемы, решаемые в первую очередь для каждого отдельного стихотворения.

Здесь возникают два вопроса: существует ли еще французская просодия, и если да, то можем ли мы использовать ее для воспроизведения русской просодии? Существует классическая французская просодия, не менявшаяся (по крайней мере, в своих основных законах) от Вийона до Малларме, знакомая всем французам со школьной скамьи. Сегодня поэты отказываются от нее в пользу свободного стиха, то есть в пользу нестандартной, индивидуальной для каждого метрической системы. Будучи всего лишь скромным переводчиком, а не творцом, мы не считали себя вправе, да и не имели ни желания, ни возможности изобрести совершенно новый поэтический размер. Это было бы предательством тютчевской эпохи и самого Тютчева, поэтому единственным решением было переводить стихи Федора Тютчева классическим французским размером — тем лучше, ведь он нам по-настоящему

нравится. Мы сохранили рифмы (мужские и женские), силлабику, цезуры и т. д. Это не значит, что мы слепо соблюдали все правила классической просодии. Ее нужно использовать как живую, а, следовательно, способную к эволюции систему. Так, мы допускали при переводе определенные нарушения классических предписаний, но всегда одни и те же (например: рифмы по типу *terre/fer*), которые мы могли бы, если бы не боялись утомить читателя, подробно описать в строго лингвистических терминах.

Что же касается способности французской классической системы передать русскую просодию, то ей это удается без особых сложностей, особенно когда она настолько же традиционна, как и тютчевская. Русский ямб хорошо вписывается в четные размеры французского языка, состоящие из 6, 8, 10 или 12 стоп, в зависимости от длины строки (у Тютчева преобладает четырехстопный ямб, поэтому на французский он будет переводиться восьмисложником). Трехейный стих может быть переведен на французский похожим образом, либо, более деликатным, но и более сложным способом: при помощи размеров с нечетным количеством стоп. Нам также пришлось искать особые приемы для передачи редких у Тютчева трехсложных размеров: амфибрахия или дактиля. Избавим здесь читателя от технических подробностей. В редких случаях приходилось удлинять стих, например, использовать десятисложник вместо восьмисложника, александрийский стих вместо десятисложника и т. д. Ведь тютчевский стих крайне лаконичен, а во французском столько артиклей и предлогов! Мы старались прибегать к подобным изменениям как можно реже.

В каждом стихотворении мы тщательно соблюдали композицию строф, расположение рифм; чуть менее скрупулезно мы отнеслись лишь к чередованию мужских и женских рифм.

Что касается других звуковых элементов стиха, то расположения тонических ударений (регулируемых в русском языке, в отличие от французского, стихотворным размером), пауз, звуковых сочетаний в виде внутренних рифм или аллитераций очень трудно поддаются переводу, так что каждый раз мы стремились, насколько это возможно, передать скорее создаваемый ими эффект, чем собственно звучание. Безусловно, в области звука переводной стих обычно теряет больше всего, но подобные потери являются и самыми приемлемыми.

На этом все, что касается означающего. В отношении означаемого наиболее важным для нас было сохранить стилистические особенности текста, ведь этот переводческий выбор опять-таки влияет на восприятия творчества в целом. Здесь недопустима погрешность: одно неуместное слово может стать, как говорится в русской поговорке, «ложкой дегтя», что «портит бочку меда». Выполнить этот пункт было для нас довольно легкой задачей, так как стиль Тютчева демонстрирует постоянство на протяжении всего творчества и является закономерным продолжением «высокого стиля» поэтов XVIII века. Высокий стиль, в свою очередь, легко поддается переводу на французский язык, так как им написана вся классическая французская поэзия. К этому стилю в русском языке относятся старославянские слова, которые сегодня считаются архаичными, но не более архаичными, чем для нас являются выражения, используемые Расином. Так, чтобы избежать в переводе Тютчева стилистических небрежностей, французскому переводчику достаточно перечитать современников Шенье. С этой точки зрения переводчик Тютчева находится в гораздо более выигрышной позиции, чем переводчик Пушкина, так как игра стилями является отличительной чертой поэзии Александра Пушкина: в отдельно взятом стихотворении его стиль может резко меняться с торжественного на разговорный или даже шуточный, так что подобрать французский эквивалент подобной игре регистров является крайне непростой задачей.

Одной из самых трудно поддающихся переводу особенностей стиля Тютчева, которую нам нужно было во что бы то ни стало сохранить, является его невероятная лаконичность: в стихах Тютчева нет ничего лишнего, что выражается, в частности, в почти детском по простоте синтаксисе. Мы старались донести до французского читателя это свойство тютчевской поэзии. Наибольшее внимание мы уделили ее «несущим конструкциям»: логическому или чувственному порядку, в котором выстраиваются мысли и ощущения поэта, риторическим схемам, сложной системе отсылок и соответствий, ключевым смыслам — в общем, всему тому, что структурирует текст и лишает его аморфности.

В конечном итоге, перед переводчиком всегда возникает проблема неточности: непросто передать в переводе

мельчайшие детали, оттенки значений, заключенные в каждом русском слове, в его приставках и суффиксах.

Будь Тютчев настоящим философом, допустить потери в области значений было бы недопустимо. Если воспринимать термин «поэт-философ» буквально, то Тютчев — абсолютно непригоден к переводу, поскольку требования к переводу поэзии и переводу философских текстов несовместимы. Выше мы уточнили, как правильно стоит понимать это определение. Цельность мировоззрения поэта можно передать за счет повторения определенных ключевых слов, но перевод их должен быть осуществлен почти с научной строгостью. При наличии в творчестве поэта подобных слов точность перевода должна быть предельно высокой.

Во многих переводах приходилось идти на компромисс: не только перестраивать синтаксис, что всегда неизбежно, но и иногда заменять одно слово другим, в очень редких случаях — один образ другим, в исключительных случаях и с большим сожалением — вычеркивать, еще реже — добавлять, никогда не отказываясь при этом от наших основных принципов, изложенных выше. Смеем надеяться, что эти точечные отступления немногочисленны и деликатны, к ним необходимо было прибегнуть для того, чтобы не обезобразить творчество Тютчева в целом и каждое стихотворение в отдельности.

Так протекала непростая работа над переводом для франкоязычного читателя, которому мы хотели открыть уникального и важнейшего для русской литературы поэта. Возможно, местами читателю покажутся знакомыми отдельные стихотворения, в которых он узнает Гюго, Нерваля, Бодлера или Верлена. Если это сходство особенно ощутимо, то, возможно, переводчик слишком погрузился в реминисценции, или же подобное родство между поэтами XIX века действительно существует, а палитра Тютчева, в таком случае, разнообразнее палитры всех его современников вместе взятых (речь идет именно о сходствах, так как о прямом влиянии не может быть и речи, за исключением Виктора Гюго). Только читатель-биллингв сможет наиболее точно оценить подобные пересечения. Что касается одноязычного читателя, на которого мы ориентировались, то мы просто хотели, чтобы он тоже *полюбил Тютчева*.

Перевод с французского Веры Казарцевой

Тютчев и его политическая тень

Все началось 14 декабря 1825 года, с семи часов свободы на площади Сената. Пушкина там, как мы знаем, не было. Не было и Тютчева. Но два года спустя он написал стихотворение «14 декабря 1825 года». Стихотворение стало известно лишь много позже, в 1875 году, когда Иван Гагарин переслал его зятю поэта Ивану Аксакову, готовившему полное издание сочинений своего тестя.

В статье Александра Осповата*, написанной в 1990 году, дата написания стихотворения была окончательно установлена: оно было написано через год после осуждения и отправки на каторгу декабристов по Вологодскому тракту (а не по Владимирке, в обход Москвы). То есть через два года после декабрьского восстания 1825 года. Стихотворение не оставляет сомнений: Тютчев, еще молодой человек, не одобрял восставших и морально одобрял приговор (5 повешенных и 121 приговоренных к каторге); более того, он подчеркивал, что народ остался в стороне от этого акта государственной измены.

Таким образом, стихотворение наверно написано в первую годовщину приговора Особого суда. В это время Тютчев гостил в Париже, где встречался с Жуковским, и читал воспоминания очень модного в то время французского писателя Жана-Франсуа Ансело «Шесть месяцев в России, письма, писанные к Г-ну Сентину в 1826 году», опубликованные в 1827 году. Ансело допускает множество ошибок в своем труде, но сообщает, что народ очернял безумных аристократов, предавших Царя-Батюшку. В них даже бросали комья с грязью, когда они проходили мимо. Иными словами, это был уже не милосердный народ, который подавал милостыню несчастным каторжникам, как впоследствии каторжнику Федору Достоевскому, а народ, способный испытывать ненависть к повстанцам, которых они видели медленно идущими в кандалах. В стихотворении Тютчева для характеристики

* *Осповат А.Л.* О стихотворении «14-ое декабря 1825 года» // Тютчевский сборник. Тарту, 1990.

декабристов используется выражение Ансело «жертвы безумной мысли».

Это стихотворение удивляет. Как далеко оно от тонко чувствующего Тютчева, стоящего над превратностями политики, руководствующегося великодушием, Тютчева, которого мы любим!

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил, —
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон укрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

Молодой Тютчев заблуждается. Память осталась, и, все-таки, какое несправедливое поношение в этой первой строфе! Чуть смягченное во второй циничным скептицизмом — полярный холод истории леденит самые воспаленные идеи!

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может-быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула
И не осталось и следов.

Конечно, этот скептицизм постоянно появляется в поэзии Тютчева, но в гораздо более приемлемой форме. В только что упомянутом стихотворении речь идет о каторжниках во плоти и крови, которым предстоит провести на каторге не один десяток лет. В стихотворении Пушкина «Клеветникам России» нам трудно принять славянофильский тезис из-за контекста: кровавое подавление первого польского восстания. У Тютчева нас также смущает именно контекст этих жестоких и едких стихов. Это смущение сохраняется до сих пор: как могли великие русские поэты, подарившие своей и нашей

культуре столько божественной красоты и такую точность в мыслях, так одобрять суровость самодержца? Мы знаем, что Пушкин надеялся убедить Николая I сменить самодержавие на систему, в которой власть была бы разделена с аристократией. Тютчев в прямом смысле был слугой режима, проведя двадцать лет за пределами России в качестве русского дипломата. И именно там, за пределами России, когда он ежедневно говорил не по-русски, а по-французски, он написал те шедевры, которые сделали его самым божественным из русских поэтов.

* * *

Политические сочинения появились после его возвращения. «Я русский, русский сердцем и душой, глубоко преданный своей стране и к тому же независимый по своему положению», — писал он в своем письме Гюставу Колбу, редактору *Gazette universelle*^{*}, прежде чем осудить «разврат духа, интеллектуальную деморализацию, характерную черту нашего времени, особенно во Франции». Можно, конечно, понять, что он осудил книгу Кюстина, но такое обобщение настораживает, настолько оно стало в русской культуре трафаретным... Россия, добавляет Тютчев, является «объектом пылкого, беспокойного любопытства». А почему? «Запад чувствует себя в присутствии элемента, который если не враждебен, то, по крайней мере, чужд». И опять мысли столь шаблонные! Мир освободил для нас место под солнцем, но Европейский Запад еще не соизволил освободить для нас место. Другими словами, Восточная Европа, законная сестра Западной Европы, ущемлена и обижена. Идет поток ненависти в адрес России.

Приходит на память замечательное стихотворение, название которого Тютчев-латинист заимствовал у Авзона, поэта из Бордо IV века^{**}. Мы видим в нем родственную стихотворению «14 декабря 1825 года» идею, но бесконечно более высокую: гармония царит в природе, ее нет в призрачной свободе человека. С одной стороны *лад*, с другой стороны *разлад*. «Мыслящий тростник» Блеза Паскаля не приобщается к *ладу*

* Все цитаты приводятся по изданию: *Тютчев Ф.И.* Политические статусы. Paris: YMCA Press, 1976.

** «Est in arundineis modulatio musica ripis». «Есть музыкальная гармония в тростниках на берегу».

мира. Путь Тютчева прямо противоположен пути французского философа и математика, для которого этот тростник, «самый слабый в природе», превосходит всю Вселенную, потому что, если ей удастся раздавить его, он узнает, что умирает, тогда как Вселенная ничего об этом не узнает.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что, море,
И ропщет мыслящий тростник?

У Тютчева мы находим тезис, которому Иван Ильин дал поразительное выражение: Россия жизненно нуждается во врагах. Он называет это «историческим законом, провиденциально управляющим ее судьбой» в своем тексте «La Russie et la Révolution» (Россия и революция), написанном в 1848 году по следам революции, которая потрясла Европу, и в сокрушении которой его собственный государь сыграет ключевую роль. «Исторический закон России» таков: «Над развитием ее величия всегда наиболее успешно трудились ее злейшие враги». Антихристианский дух — душа революции, а «Россия — прежде всего христианская империя — пишет он, — и ее народ является христианским не только благодаря православию, но прежде всего благодаря способности к самоотдаче и самопожертвованию, составляющим его нравственную природу».

Заключение статьи грандиозно, оно пылает, как новый Апокалипсис: «Тысячелетние предчувствия не обманывают. Россия, страна веры, и никогда не оскудеет верой в высший момент». Бог начертал эту миссию «огненными строками на черном от бурь небе». Запад рушился, погружаясь во всеобщий пожар, Европа Карла Великого, Европа договоров 1815 года (Священный союз после поражения Наполеона), Европа католицизма и протестантизма, давно утраченной веры, давно сведенного к невозможному разума, — все

исчезло, Европа совершала самоубийство. Единственное, что уцелело в этом огромном кораблекрушении, — «Священный ковчег этой еще более огромной империи».

Даже цензура — это преимущество для России, потому что она «предел, а не направление». А так называемая свободная пресса, появившаяся на Западе, по словам Герцена, конечно, свободна от цензуры, но «в угоду злumu и вражескому влиянию».

* * *

Не так мыслил Тютчев, когда он прославлял союз природы и разума в стихотворении «Колумб», написанном в 1844 году, за четыре года до революции, которую он так решительно осуждал в своей прозе.

Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...
Скажи заветное он слово —
И миром новым естество
Всегда откликнется готово
На голос родственный его.

Чей здесь мы слышим голос? Несомненно, другого Тютчева, с его пророческим голосом, светлым разумом, всевидящим умом. И тут встает вопрос о гениальности и о ее тени. Гигант Толстой мог стать пигмеем, когда писал «О смысле жизни». Малевич мог предать свой «черный квадрат». Кирико мог стать отвратительным художником Муссолини. И даже Мандельштам сочинить свою «Оду Сталину»...

Политические сочинения Тютчева отбрасывают тень, отнюдь не достойную порицания, но это не та тень поэта дня и ночи, человека и космоса, застывшей толпы и одинокой души, которая пленяет нас каждый раз, когда мы обращаемся к нему. Возможно, потому что в Элизииме Тютчева, как и в Элизииме Данте, у душ нет теней...

Имперец и псалмопевец

Прежде чем начать говорить о Тютчеве, его надо было перечитать. С давних лет у меня хранится двухтомник 1965 года издания, подготовленный его правнуком К.В. Пигаревым, вышедший в академической серии «Литературные памятники». Первый том неизменно был спутником моей жизни; во второй, где опубликованы в основном переводы, ранние стихи и лирика, которую можно назвать политической, заглядываю редко. Это два разных Тютчева. Один — начинающий стихотворец, переводчик, российский дипломат, автор бодрых патриотических стихов («Вставай же Русь! Уж близок час! Вставай Христовой службы ради! Уж не пора ль, перекрестясь, Ударить в колокол в Царьграде?»), а за пределами поэзии яркий публицист, очаровательный *causeur* и собеседник, за всегдатой столичных салонов, ревностный защитник русско-славянского дела, непримиримый антизападник, который и с дочерью Анной, фрейлиной императрицы Марии Александровны, переписывался исключительно по-французски.

Другой, Тютчев первого тома, едва ли не единственный в русской поэзии поэт-псалмопевец, не слагавший оды Богу, подобно Державину, но сумевший различить в звучании тварного мира, как «день дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (Пс 18: 3). «Таинник ночи» (Вячеслав Иванов), тот, кто сумел это таящееся знание приоткрыть. Различие в поэтическом уровне между первым и вторым томом всегда поражало меня. Не так, как у Пушкина, у кого патриотические стихи, сочувствуем мы им или нет, столь же неповторимо пушкинские, как и любовные и любые другие. Так что здесь я попытаюсь что-то сказать о поэте, «чей так волшебен тусклый свет» (Вяч. Иванов), о Тютчеве первого тома.

Мы помним хрестоматийное: «Душа моя, Элизиум теней, / Теней безмолвных, светлых и прекрасных, / Ни помыслам години буйной сей, / Ни радостям, ни горю не причастных». Элизиум, блаженное бытие, куда поэт отсылает свою музу; только там, среди светлых теней, она у себя дома. Но

этот барочный образ во вкусе поэтики 200-летней давности, говорит и о разладе между существованием поэтическим и всяким иным, здешним, местом среди людей. «Душа моя, Элизий теней, что общего меж жизнью и тобою!» Здесь не одно восклицанье; контраст между «там» и «здесь» у Тютчева уходит в самую глубину его душевного разлада. («О вещая душа моя./О сердце полное тревоги,/О как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия»). В жизни он отнюдь не занимал «вакансии поэта», скорее сторонился ее; трудно припомнить писателя с даром столь ошеломляющим, который в жизни не только в житейском, но и в самом высоком смысле никак не хотел для себя этим даром воспользоваться. Совершенно искренне, без всякой позы, он писал М.П. Погодину: «Стихов моих вот список безобразный —/Не заглянув в него, дарю им вас,/Не совладал с моею ленью праздной,/Чтобы она хоть вскользь им занялась». Кому-то даже сказал: «Я терпеть не могу стихов, а своих особенно». Ведь стихи, когда они покидают материнское лоно, рождаются и «взрослеют», отделяясь от «чрева», носившего их, становятся частью мира, живут по его законам, порой чуждым тому, кто когда-то сложил их из «шевелившегося хаоса» и дословесных внутренних ритмов. Стихи второго тома очень взрослые, они участвуют в общественной жизни, но это другой Тютчев, не тот единственный, скорее один из многих.

Читатели Тютчева разделяются на безусловно преданных и лишь признающих. Преданность ему определяется даже не всегда видимой формой его стиха, сколько тем, что эта форма заключает внутри себя, тем, что «сквозит и тайно светит» в слове, являет и прячется в нем. Может быть, в этом и есть призвание искусства: извлекать то, что скрыто, еще не проросло в словах, и что мы в зернах (смыслов, образов, догадок?..) носим в себе. «Таинственно, как в первый день создания...». Вслушиваясь в звучание первого дня, Тютчев спрашивает: «Откуда он сей гул непостижимый?» Это средоточие снов, которые освобождаются ночью и оседают на вершинах леса. Первый ночной день творения он делает нашим, но этот день не столько первый, сколько обещанный, тот чаемый день, который не взбрел никому на ум, никаким слухом не услышан, но как предчувствие дан поэту. Невидимое просвечивает в видимом, в смутном предчувствии нового

неба и новой земли, но в здешнем, в одомашненном космосе. «В бездонном небе звездный сонм горит./Музыки дальней слышны восклицанья./Соседний ключ слышнее говорит...»

Слово человеческое приоткрывает другое, живущее на грани библейского. «Где ты был, — спрашивает Господь Иова, — когда Я полагал основания земли... при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Иов 38: 4,7), словно поэту нашлось место среди тех сынов. Здесь не только восклицание от радости первого дня, который есть и обновленный последний, но и голос удивления, поэтическая гениальность удивления. Когда-то я запомнил строчку Хайдеггера: «Im Erstaunen halten wir an uns». «В удивлении мы застываем в себе». К такому мигу ликования, застывшего в удивлении, Тютчев приобщает и нас. «На мир дневной спустилася завеса, изнемогло движенье, труд уснул...» Его завеса не скрывает, но распахивает.

Итало Кальвино сказал, что поэзия — это искусство наполнения стакана морем. Море шевелится за тютчевскими строчками. Это море сигналов, знаков, образов, указующих на то, что мир со всем, что в нем находится, существует под взглядом Божиим. «И море черное, витийствуя, шумит и с тяжким грохотом подходит к изголовью», — сказано у Мандельштама. Кажется, что подлинная поэзия Тютчева — одно из таких изголовий, где сняты сны о первоначальных вещах. Здесь нет тяжкого грохота (того, что есть в политических стихах), грохот, если мы останемся при этом образе, — лишь оклик запредельного, чаемого иного неба, иной земли. И это бесконечно дорого в его поэзии; она обращена не столько к переживаниям поэта и не к поэтическому изложению своих мнений по таким-то важным мирским делам (второй том), сколько к загадке самой жизни, которая течет и во мне, в каждом из нас. «И жизни божеско-всемирной хотя б на миг причастен будь...». «Главные», самые тютчевские его стихи — это прорыв к «божеским» вещам, диалог или удивленная встреча с ними. Здесь поэзия приближается к таинству словесного причастия к потоку космической жизни в той мере близости, какой я не находил ни у кого. (Потом нашел подобный, хотя иной, отголосок такой причастности у Заболоцкого («Завещания» ... «Я не умру, мой друг./

Дыханием цветов/Себя я в этом мире обнаружу...»). Однако в таком причастии его «я» не может оставаться самим собой, оно должно в этом причастии раствориться. Отсюда возглас: «Дай вкусить уничтоженья,/С миром дремлющим смешай». Поэтическое входит даже в повседневное; принимая причастие «жизни божеско-всемирной», поэт не может сохранить его для мира, вплоть до отказа от видной роли в истории литературы. Два его мира почти не пересекаются.

Выходя из Элизиума теней и входя в общество людей, он появляется в нем как тайный советник, цензор, страстный патриот, певец «всеславянства» и русской географии «от Невы до Нила», имперский мыслитель, принятый в большом свете, известный в нем остроумец, влюбленный в кого-то и любимец дам... и в общем, большим светом, стихи его едва ли читавшим, таким и воспринимается.

Анкета «Вестника РХД» в связи с юбилеем Федора Тютчева

Вопросы

1. Дорог ли вам Тютчев, какие его строки вы считаете лучшими?
2. Какие отклики на поэзию Тютчева созвучны вам и представляются верными?
3. Как бы вы кратко охарактеризовали тютчевский взгляд на мир и человека?
4. Как вы относитесь к политическим статьям и стихам Тютчева?
5. Чем Тютчев актуален для нас сегодня?
6. С каких стихов лучше знакомиться с поэзией Тютчева молодому поколению?
7. Повлиял ли в какой-то мере Тютчев на ваше творчество?

Ольга Седакова, поэт (Москва)

1. Многие строки Тютчева стали просто фактом русского языка. Хлебников писал: «Есть слова, которыми видят». Такие слова есть у Тютчева. Это значит, что некоторые вещи мы навсегда видим его словами, и других слов для них подобрать уже не хочется. Вспомню почти наугад.

Душа моя, Элизиум теней...

Есть в осени первоначальной...

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул...

И на бунтующее Море
Льет примирительный елей.

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года...

Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Звезды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами...

Как демоны глухонемые...

Всепоглощающей и миротворной бездной...

Бессмертной пошлости людской...

И рошчет мыслящий тростник...

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

Или афористические строфы:

Увы, что нашего незнания
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить: до свиданья
Чрез бездну двух или трех дней?

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

В последние годы (уже давно!) мои любимые стихи Тютчева — стихи его «второй манеры», где дикцию торжественно-отстраненную, одическую, сменяет та интимная, обращенная к собеседнику интонация, которую внес в русский стих Некрасов. Это цикл «Последней любви» и особенно «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Елена Шварц тоже очень любила эти стихи. Почти без слов или поверх слов. Без малейшей мысли о «мастерстве». Три строфы с одной рифмой: «дня — меня». Таких стихов вообще очень немного на свете.

И, конечно, «О вещая душа моя».

2. Я слышу изумительный отзвук «Последней любви», как бы вариацию на ее мотив (на другом, послеавангардном поэтическом языке) в «Можжевелевом кусте» Н. Заболоцкого. Вообще в Заболоцком Тютчев звучит почти всегда. И одическая дикция Тютчева, и его настойчивая мысль о природе («натурфилософия»). И особая внутренняя смятенность, «колесо недоумений», в котором душа «вертится нехотя» — об этом, кажется, никто до Тютчева не говорил. И Заболоцкий знал это «колесо недоумений». Вот Тютчев:

И сердце в нас подкидышем бывает,
И так же плачется и так же изнывает... —

А вот Заболоцкий:

И боюсь я подумать,
Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моем.

3. О том, что называют миром Тютчева, написано так много! Но рассуждать о его мысли, вообще говоря, легко. Это совсем не то, что извлечь мыслительные основы поэзии и прозы Пушкина. Тютчев все высказывает открыто. Остается просто выписать все эти поэтические высказыва-

ния — о мироздании, о ночи и хаосе, о человеке, о поэзии — и сопроводить это плохой прозой. Наверное, в тютчевском человеке важнее всего его оторванность от хора мироздания («И ропщет мыслящий тростник»), его неведение о будущем (печальное «незнание»), его беспомощность перед другими, великими силами. Его страсть к разрушению — даже в любви («О как убийственно мы любим»). О смятении, двойственности, тревоге («О сердце, полное тревоги!») внутреннего существования я уже сказала. Но в этом «как бы двойном бытии» есть готовность к выбору:

Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Мне кажется, антропологический пессимизм Баратынского последовательнее.

4. В современном контексте политическая мысль Тютчева выглядит чудовищно. Это как раз то, за что «русскую культуру» требуют «отменить» или «переучредить». Даже странно, что идеологи «русского мира» мало обращаются к политическому наследию Тютчева. В политических статьях, написанных для европейских изданий и на европейских языках (французском и немецком), Тютчев намечает проект мирового будущего России: это монархия, обоснованная православием, которая переходит русские границы, становится «всеславянской», затем становится центром «другой Европы» (вот евразийство ему было совершенно чуждо), по праву прямого наследства распространяясь на владения «второго Рима», Византийской империи. Аргументом в пользу такого развития событий для Тютчева становится «сохранность» истинного христианства в православии (западная традиция для него — схизматики, еретики). Все, что Тютчев находит гибельным в Западной Европе, он связывает с папизмом: именно там он видит корень индивидуализма и рационализма, по Тютчеву. И забвения устоев (отвратительного слова «скрепы» еще не появилось). Этот проект реакционной утопии мы слышали во множестве перепевов, в наше время уже пародийных.

Как это соседствует с лирикой Тютчева, решительно индивидуалистской и ничуть не триумфаторской, трудно объяс-

нить. Да и русское православие, которое в его политической мысли выступает, прежде всего, как государственная сила, фундамент Империи, в лирике является в другом образе:

Удрученный ношей крестной,
 Всю тебя, земля родная,
 В рабском виде Царь Небесный
 Исходил, благословляя.

Как от этого образа сделать шаг к проекту всемирной православной монархии?

Конечно, необходимы некоторые смягчающие и пояснительные комментарии. Другое время, другой контекст. Это время, когда Россия оставалась еще неизвестной для европейцев и в расхожем мнении полностью варварской страной.

5, 6. На вопросы 5–6 я не буду отвечать.

7. Да, повлиял — и знаете, когда? В начальной школе. Я рано читала русскую поэзию XIX века. (Позднее я с удивлением узнала, что мои друзья-поэты очень поздно впервые узнали Тютчева, Баратынского и других — и это стало для них открытием). Мне казалось, что именно это и есть образцы «настоящей» поэзии. То, что я, быть может, каждое третье слово в этих стихах не понимала, меня только укрепляло в этой мысли. Настоящая поэзия, думала я, должна писаться на другом, особом языке. С непонятными словами, с какими-то другими ударениями на знакомых словах... И должна быть непременно с какими-то мудрыми мыслями. И должна быть «про природу» по большей части. Вот лет в 9, во втором классе я сочиняла про березовую рощу: про «лик природы», про «синие своды», а потом сразу же про муравья, который «в муравейник спешит без оглядки» (представьте себе оглядывающегося муравья!). А завершалось все это так:

И невольно задумавшись, скажешь:
 Сколько нового нынче узнала!
 Красота чистоты и покоя —
 Так не это ль и есть идеалы?

Мне казалось, что это как у Тютчева.

Во взрослом возрасте я уже не оглядывалась на Тютчева.

Сергей Стратановский, поэт (Санкт-Петербург)

1. Для меня, как, вероятно, для многих существуют два Тютчева. Один – великий поэт, человек, остро чувствующий иррациональное, чувствующий «шевелиющийся хаос» в глубине жизни. И другой – имперец, мечтающий об объединении славянских народов под эгидой России и о расширении империи до Эльбы на западе и до Ганга на юге. Поразительно, как в одном и том же человеке соседствовал интерес к Гейне и симпатия к Бенкендорфу, о котором он написал в письме к жене (в 1843 году), как об «одной из лучших человеческих натур, когда-либо мною встреченных».

Иногда мне кажется, что первый (и настоящий) Тютчев был последним немецким романтиком, волею судьбы писавшим на русском языке. Кстати, многие его пейзажные стихи не о русской природе, а о южной Германии. В России грозы в начале мая бывают очень редко.

Любимое стихотворение, пожалуй, «О чем ты воешь, ветр ночной?» Русский философ Борис Вышеславцев в своей книге «Этика Фихте» так писал о нем (в главе «Рациональное и иррациональное в древней философии»): «В гениальных словах поэта хаос находит свое философское выражение, то самое, какое он нашел у Анаксимандра: хаос есть беспредельное». Мне, однако, кажется, что на примере этого стихотворения видно различие между мышлением философским и поэтическим. Анаксимандр идет от мифологического образа хаоса к абстрактному понятию беспредельного. Иное у Тютчева: конкретное переживание воющего ночного ветра углубляется у него до переживания древнего хаоса: мысль у него неотделима от эмоции.

2. О Тютчеве писали много. Его высоко оценили еще при жизни, русский Серебряный век открыл его заново. Из того, что я читал о нем, важной мне сейчас представляется давняя статья Мережковского «Две тайны русской поэзии».

3. Остро чувствуя «шевелиющийся хаос» в глубине жизни, Тютчев искал опору. Он нашел ее в христианстве и в имперской идее. В этом у него общность с Достоевским. Но у Достоевского были и «вопросы к Богу», как у библейского Иова. Тема Иова есть и у Тютчева в одном из его последних стихотворений:

Всё отнял у меня казнящий Бог!
Здоровье, силу воли, воздух, сон.
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

Здесь, однако, не бунт против Бога, здесь скорбное утверждение, что Бог может быть против человека.

4. Политические и историософские стихи и статьи Тютчева не вызывают у меня никаких положительных чувств. Отвратительно стихотворение о подавлении польского восстания «Как дочь родную на закланье». Мало того, что в нем оправдывается зло, оно оправдывается елейно — насилие выдается за братскую помощь и акт любви:

Ты ж, братскую стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер.

Геополитические мечтания в «Русской географии» напоминают Жириновского. «Эти бедные селенья» — елейный лубок, фактически оправдывающий рабство. Иногда я думаю — хорошо, что такого человека не допустили до большой политики и он так и остался салонным острословом.

5. Тютчев актуален, но это дурная актуальность. Помню, как в «перестройку» кто-то сочинил реплику на его «Умом Россию не понять»:

Давно пора, мать,
Умом Россию понимать.

И сейчас есть много поклонников его нафталиновой «историософии». Великий поэт нужен немногим, а вот замшелый политический мыслитель — востребован.

6. Тем, кто не интересуется поэзией, советовать что-либо бесполезно, а те, кто интересуется, разберутся сами.

7. Насчет влияния не знаю, но тютчевские мотивы у меня есть. Например, в таком стихотворении:

В метро на Тютчевской ночует человек.
О, не буди его, не то зашевелится
В нем хаос яростный ...

Когда я писал эти стихи, станция метро Тютчевская не существовала — это была моя фантазия. Но недавно я узнал, что станция с таким названием действительно строится в Москве.

Борис Херсонский, поэт (Одесса)

1. Тютчев для меня фигура почти сакральная. Это был любимый поэт моего отца, любимый настолько, что в студенческие годы (конец сороковых) у него была кличка «Тютчев» за весьма частое цитирование его стихов. Отец, сам писавший стихи в молодые годы, привил эту любовь и мне. Я знаю наизусть много стихотворений Тютчева. И если в молодые годы я чаще цитировал «Люблю твои глаза, мой друг», то сегодня чаще на ум приходят строки «О небо! Если бы хоть раз сей пламень развился по воле, и не томясь, не мучась доле, я просиял бы — и погас.»

2. Тут не буду оригинален. Повторю то, что быть может, скажут и другие. Афанасий Фет: «Но Муза, правду соблюдая, / Глядит, а на весах у ней, / Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей».

3. Если кратко, то: Бог — природа — история — философия — Россия.

4. Всегда относился не с симпатией. Хотя и некоторые из этих стихов тоже помню. Сейчас, когда славянофильство девятнадцатого столетия <...> и культ земли русской обернулись разрушительной несправедливой войной <...>, эта часть наследия великого поэта просто перестала для меня существовать. Да и мечта поэта о возобновленной Византии, возвращении Православию Айя Софии и коронации там русского царя как всеславянского — как к этому отнести? Даже в контексте того времени радикально. И приветствие расправы с восставшей Польшей! Этот текст так созвучен сегодняшним пропагандистским штампам.

5. Тем, что он автор гениальных стихов, которые хочется читать и перечитывать, ясностью и осмысленностью каждой строки. Лирическим накалом его интимной лирики, про-

зрачностью его стихотворных пейзажей. Поиском осмысленности в Мироздании, мыслью о его симметричном завершении — «Когда пробьет последний час природы»...

6. Пейзажная лирика, размышления о природе ее одушевленности, исторические аллюзии... Но конечно не в рамках школьной программы.

7. На раннее — несомненно. Но и теперь иногда я обращаюсь к его стихам и ищу созвучные слова... Конечно, такие стихи выглядят архаичными. Но сердцу не прикажешь.

Подражая Тютчеву

Как сквозь прозрачную листву
 свет полуденный проникает,
 так пусть незримо долетает
 молитва наша к Божеству.
 И облака, как фимиам —
 замена выпреним словам.

Екатерина Белавина, поэт (Москва)

1. Дорог, как дорог говор утраченного детства. Тютчев — это прозрачность, я совершенно не ощущала его присутствия в своем внутреннем мире до этой анкеты. Но только взяла пожелтевшую книжку с полки, как вспомнила, как моя прабабушка Клавдия Георгиевна разучивала со мной «Люблю грозу в начале мая». Было мне тогда года три или четыре, и прабабушка, как опытный преподаватель русской словесности, на всякий случай сказала: «Последнее сложное четверостишие, можешь не учить».

Я запомнила сразу и навеки. И всякий раз, как начинается внешнее ненастье, я читаю все стихотворение вслух до конца:

Ты скажешь, ветреная Геба,
 Кормя зевесова орла,
 Громокипящий кубок с неба
 Смеясь на землю, пролила.

— и целую этими словами Античность.

Присутствие Тютчева в моей жизни было еще и не литературным: через потомков. В школе я дружила с Иваном

Пигаревым, сыном И.Н. Пигарева, российского физиолога. Исследования праправнука Федора Тютчева в области зрения и сна совершенно завораживали меня, до сих пор самым главным я считаю движения глаз: для изучения поэтического письма и чтения эти исследования обладают огромным потенциалом.

А впрочем, более всего в поэзии Тютчева я ценю подспудное расшатывание силлаботоники: как сбоят рисунок ударений, как появляется лишняя стопа:

О, как на склоне наших лет
 Нежней мы любим и суеверней...
 Сияй, сияй, прощальный свет
 Любви последней, зари вечерней!

2. Трудно ответить на этот вопрос. Мне созвучны слова Брюсова: «Стихи Тютчева о природе – почти всегда страстное признание в любви. Тютчеву представляется высшим блаженством, доступным человеку, – любоваться многообразными проявлениями жизни природы. Напротив, в жизни человеческой все кажется Тютчеву ничтожеством, бессилием, рабством». Мне кажется, что река речи Тютчева впадает в Георгия Иванова, разветвляется на токи Кушнера, Кублановского, питает поля лирики и любовной, и философской.

У Льва Лосева полуцитаты Верлена, Тютчева и Мандельштама мерцают в палимпсесте:

Останься пеной семиозис.
 Мысль изреченная есть что-с?
 Вам все игрушки, все смеетесь,
 как бы вам плакать не пришлось.
 (De la musique avant toutes choses –
 мысль изреченная есть что-с?)

3. Перебираю слова: Растворенность. Прозрачность. Незримость.

Душа хотела б быть звездой,
 Но не тогда, как с неба полуночи
 Сии светила, как живые очи,
 Глядят на сонный мир земной, –

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

4. Отношение к Тютчеву как поэту сложилось так рано, что лирика существует во мне каким-то особым слоем, как перламутр в федоскинской миниатюре, основа, прорывающаяся скромным блеском между облаков и деревьев.

Знание о том, что его имя вписывается в череду поэтов-дипломатов (Чаадаев, Сен-Жон Перс, Клодель...), пришло позже и существует отдельно, в параллельном мире логического познания.

Россия для Тютчева, в первую очередь, это держава. Я не могу ставить знак равенства между страной и государством, потому что я родилась в СССР. Потом, никуда не переезжая, оказалась в СНГ, потом в РФ. Мои студенты – недавние школьники – переводят раус как государство и не видят разницы. Жители страны, вверившие заботу о своей безопасности, здоровье, образовании, представителям власти, могут оказаться, как многократно показывала мировая история, заложниками чужих комплексов, амбиций, стяжательства.

Тютчев, конечно, мастер слова: «Европа Карла Великого очутилась лицом к лицу с Европою Петра Великого», эту фразу невозможно забыть. Но я не разделяю противопоставления Тютчева «Россия и Запад». Мы долго спорили, выбирая название для семинара Игоря Сокологорского, и один из вариантов был как раз *Idée russe face à l'idée occidentale*^{*}, но в конце концов семинар проходил под названием *Idée russe face aux idées européennes* (Герцен, Данилевский). Россия – не Европа и не Азия, она – невроз двуединства. Именно этот невроз неадекватной самооценки становится основой поиска и борения, надежд на торжество истины. По мысли Тютчева, православие должно было противостоять «опасным» европейским революционным брожениям, но все вышло иначе. На новом витке повторяется с вариациями мотив, что Россия «не устрасится величия своего призвания». Официоз РПЦ и христианство советского времени показывают наглядно, что «церковь здорова только во дни гонений».

* Русская мысль перед лицом западной.

5. Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои

— пожалуй, самые часто всплывающие в памяти строки.

Манипуляторам на руку слова поэта: «Запад исчезает, все рушится, все гибнет в этом общем воспламенении». Силлаботоника тоже работает на государственный порядок. Язык поэзии — высшая форма развития национального языка, вот почему атака на стих приравнивается к подрыву устоев.

6. Его «Времена года»: «Весенняя гроза»; «Зима недаром злится...», «Есть в осени первоначальной...»; «Весенние воды», «Чародейкою зимою...»

7. В январе 2022 года мы внезапно собрались сделать музыкально-поэтический вечер с поэтом, который покинул страну. Собирались читать Тютчева. Сейчас я наткнулась на ряд относительно свежих закладок рядом с чередой пожелтевших. Жаль, что это не сбылось.

Как ни странно, мой псевдоним К.Б., сохранившийся со школьных времен, подсмотрен в стихотворении, ставшем романсом «Я встретил вас, и все былое...».

Поэзия



ФЕЛИКС МАКСИМОВ

СТИХИ

Порчельная

Уж я золото
Хороню-хороню.
Уж я серебро
Хороню-хороню.

В терему хороню,
Во сыром бору,
На чужом пиру,
На чумном ветру,
На подвальчике.
Всех с собой гребу,
Задарма беру.
Уж я хороню
Ваших мальчиков.

И налётчиков
И наводчиков
И захватчиков.
Шла баба выше
леса,
Пела баба куролесы,
Жрала пирог с мясом.
Блевала квасом.
На плече коса
Русая
Узкая.

Очи белые.
Руки красные.
Вороньё,
Зверьё
По пятам её.
Беспокойные,
И безгласные.

Лев, бык, хряк.
Волк да кобыла.
Баба несла дитя.
Надоело. Убила.

Ты не смерть моя,
Ты не съешь меня?
Зверь ты, зверина
Как твоё имя?

Зверь говорит в ответ:
У войны имени нет
Пятьсот
Дней.

Пьяная баба стране не хозяйка.
Пьяная баба мне не хозяйка.
Пьяная баба везде не хозяйка.
Голодна, пьяна
Тягомотина.
Это мать родна.
Моя родина.
Над затылком
Кувалда,
Глыбина.
Полюби меня
Полюби меня.
Полюби меня.
Полюби меня.

Шкатулка со сверчками
(памяти мертвого друга)

Был праздник много лет назад,
Июнь, вьюнок, огарок.
Вино, кино, базар-вокзал.
И я минуту подгадал —
Всучить тебе подарок.

Еще кувшинки на пруду
Не стали черепками
Тебе я отдал в том году
Шкатулку со сверчками.

Сверчки — игрушки на шпеньках
Откроешь:
Свирь-свирь-свирь.
На подоконнике бокал.
Смеемся: не сорвись.

И оба пьяны были.
И тут же уронили.
Не помню вниз ли, ввысь
Посуда бьется к счастью.
Шкатулка со сверчками
Конечно «мейд ин Чайна»
Бренчала
Свись-свись-свись.

Прошел июнь и год и два,
И мы давно трезвы.
Прошли и пять и двадцать.
И нет страны и нет Москвы
Исчадий, домочадцев.

Какую чушь порой несли
И не были и были.
Не стоит врать в кулак и выть.
Закончена прогулка.
Я побренчу поверх земли,

Домашними ключами.
Твоя могила не тюрьма —
Китайская шкатулка.
Игрушка и ловушка.
Нечаянно, случайно.
Всего лишь:
Свирь-свирь-свирь.

Олива

Пятую ночь не забуду кряду:
Матери слаще и младше брата,
Странствуем по снегу посолонь.
В лавке посудой торгует слон.

Так подносили к губам бутылку,
Так стороною ладони тыльной
Другу клялись, что всю жизнь в огне,
Равно делили постель и снедь.

Обольщены и всегда другие,
Проводы. Паводок. Летаргия.
Веки сомкнули. Рука в руке
Из дому. К дому. Незнамо с кем.

Матери маковый запах. Почерк
Бедер, груди. И отец, как отчим,
Волчий вожатый, мизгирь, изгой.
Из дому выгнал. Стою нагой.

Мальчики, мячики, полустанки.
Полубезумие, полустарость.
Перстень и пясти поцеловать —
Как на поминках попировать.

Ты уходи. Убегу. Умолкну,
И оглянусь. Заклинатель молний,
Колосом в августе встал росток,
Брызнул кузнечиком в травостой.

Плесы, запруды, куртины парка,
Нить откусила слепая Парка,
Что ж, до свидания, голубок.
Яма, застолье и я с тобой.

Пятая ночь. Не мужал, не вырос.
Мой золотой бескорыстный прииск.
Призрак и пристань контрабандиста.
Выплачу долг за двоих один
Твердой землей на твоей груди.

+

Полночь. Облака
Львами многоликими
Наклоняют лбы.
Знай, моя душа
Белая олива
У колен Альби.

Наш дом — в лихорадке осени.
Во Христе пьян ноябрь, на окне распят
Твой миндаль сквозь мою прорастает пясть.
Крепость рук в молочной пустоте,
Как Соломонов храм слиянье тел.
Брось клинок. Не терпится взлететь,
Пока Его звезда глядит в вертеп.

Наш дом — Гефсиманский парусник,
Причастись пламени, нежный мой стратиг.
Твой миндаль — ладанка на моей груди.
Зло с добром свистят на паперти,
Город шурится недобрым пастырем
Яблоко антоновское с патиной
В мою ладонь вложи
И навзничь падаем.

... Из глубины взываю к Тебе, Господи,
Господи, услышь голос мой,
Да будут уши Твои внимательны

Ко гласу молений моих
Душа моя ожидает Господа более,
Нежели стражи утра.
Вечный покой дай нам, Господи,
И свет вечный да светит нам.
Жаждет душа моя Тебя,
Более, нежели стражи
Утра.

Московская считалочка

«...Топ-топ-топ — это мертвецы... топ-топ-топ... они за мной идут, только я-то с ними не пойду...»

Марк Твен

«Приключения Гекльберри Финна».

Железная дверь
Парадной:
Хлоп.
Дробное:
Топ-топ-топ!
Девочка Лиза
Снизу
Пришла
Из школы.
С самокатом,
С тетрадкой.
Всё в порядке.

Хлоп!
Железная дверь
Парадной.
Шарк.
Топ.
Стук.
Это Надя
С третьего
Этажа.
Бывшая

Инженю
Вышла
Купить
Ряженку
В тетрапаке
Стучит
Скандинавскими
Палками
Вниз по ступеням.

Сте-
Пен-
Но.

Выйду,
Ей помогу.

Топ
Топ
Гав!
Как будто
Катят ежа.
С четвертого этажа
Анатолий
Моторин
Тащит на поводке
В левой руке
Доброго
Колли
Гуляет
С ним
Налегке.

Голос
Моего дома.
Близок
Низок
Знаком:
Кроссовки,
Боты,

Балетки,
Сапожки
На танкетке.
Звуки
Лестничной
Клетки.
Личинки
Дверных
Замков.

Тревога:
Идет чужой.
Не топ-топ,
А ток-ток.
Кто?
Парень
Плейбой
Идет
К своей паре
На пятый этаж.

Отбой.

Походку
Моих соседей
Знаю, как отченок,
Азбуку Морзе,
Позывные
Зимовья
В Арктике.

Не приходя в сознание
Слушаю это здание.
Слишком старое.
Для кадастра.
Балконы
Окон
Квадраты.
Мой адрес

Торчит на карте,
Как остров
Пасхи.
Вроде есть,
Но неясно.
Здесь я
Или не здесь.

Затормозила машина,
Заголосил клаксон.
Поступь
Не та
Под окнами.
Кирие элейсон.

Ночами
Долгими
Душными
За дверью
Шаги, шаги...

Прабабка
Лежала,
Слушала.
Дедка и бабка
Слушали,
Мама и папа
Слушали
На лестнице
Сапоги.

Еще не пора на виселицу,
Еще не оборван путь.
Дверной звонок
Довоенный
Молчит,
Как военнопленный,
Кричит:
«Прошу повернуть»

Выморочно
Нарочно
Слушаю топот ног,
Смартфонов чужих
Звоночки,
Гав,
Скрип-скрип
И топ-топ.

Топ-топ:
Многоточие.
Три часа
Окаянной
Ночи
Осенью
И весной.

Стоп.
Дыши.
Не за мной.

Псоглавец

Безымянное племя.
Малочисленное,
Не любопытное
Для историков.
Без письменности,
Архитектуры,
Завоеваний.
Тысячи лет назад
Поклонялось
Богу-псоглавцу.

В их могилы
Не клали золото,
Пряности,
Боевые серпы,
Убитых коней и рабов.

Лишь два предмета:
Круглый и длинный.
Длинный и круглый.
И ничего больше.

Исследователи решили:
Длинное — это фаллос.
Шарообразное — солнце.
И оставили нас
В покое.

Позавчера я умер.
Пришел к псоглавному богу
Голым
С длинным и круглым
Предметами
Погребального
Культа.

Бросил палку и мячик.
Хороший мальчик.

Беседа господина и раба

*По мотивам древнего вавилонского текста
«Диалог раба и господина о смысле жизни»*

— Раб, соглашайся со мной,
Раб, повинуйся мне!
Мясная Месопотамия,
В которой мне места нет.
Раб мой, бес мой, мне скучно!

— Я тебя слушаю.

— Раб, хочу пировать!
— Пируй, господин, пируй:
Еда на пользу нутру.

– Раб, не хочу на пир!
– Правильно, командир.
Не пируй, господин, не надо,
Беги от гадов и ядов.

– Раб, я сожгу храм!
– Господин мой, давно пора!
– Нет, я построю храм!
– Из моего ребра.

– Раб, поддакивай мне,
Сапог на твоей спине.
Раб, я убью царя!
Сяду на теплый трон.
– Зарежь и его зверят.
Я подотру кровь.

– Нет, я люблю царя!
Как рубщика любит бык.
– Калеке – поводыря.
Люби, господин, люби.

– Раб, ты стар или юн?
Ворон ли? Воробей?
Раб, я тебя убью!

– Убей, господин, убей.
Жену мою и коня!
Тебе осталось три дня.

Плыли вниз по реке
Раб и его друг.
Нежно рука в руке,
Головами на юг.

Правда цапель и черепах,
Собирателей тростника.
Топкие берега.
На отмели черепа.
Свистопляска солнечных крапин.

Группы плыли в руке рука
Как любовники или братья.

— Соглашайся со мной, раб!
Наша с тобой игра —
Концы и начала в воду.
Гибели ты был рад.
В агонии был угоден.
Раб, повинуйся мне!

— Нет.
Молча плыви, дурак.
Не впервой умирать.
За твою и мою свободу.

Пепел и земля

В головах балованной
Яблони на корточках
Девочка.

Белая роза.
Сестра моя,
Мать
Дочь.
Пастушка,
Дурочка,
Кормчая.
Колыбелька
Для кошки.
Слепой
Воробьиный
Дождь.

Она собирает
Бархатцы,
Календулу —
Нюхотки.

Незаложенные
Мертвецы.
Долгие поколения
Бабки, матери
И отцы
Держатся
В отдалении,
Дальше времени
И руки.
Облако
Над могилами.
Плясунья
На колесе.
Ответь,
Где мои любимые
Все?

Родители
И любовники,
Книги, звери.
Друзья.
Брошенные
Садовником
В горло небытия?

Я не верю
Ни в рай,
Ни в пекло.
Колос голоса
Сгнил
В зерне.
Пятьсот дней
Война.

Я не первый
Кто играет
В гляделки
С ней.

Отвечает

Мне
Нинья
Бланка.
Мотыльки
У её виска.
Вырой ямку.
Вдохни и ляг.
Вырой ямку.
Меж кувалдой
И флейтой.
Не осалила.
Не взяла.
Ты нашел своих:
Чистый пепел
Золотой песок
И земля.

Золото дураков

Приятель мне говорит:
Ты не золото, ты пирит.
Жив-Курилка, шмурдяк,
Дешёвка. Дудочка пастушонка.

Мир вокруг — то прилёт, то гроб,
То овчарка Чрезвычайки.
Драматическое молчание
Как монета вложено в рот.

В час торжественных панихид
Так бестактен кабацкий чардаш.
Почему ты не отвечаешь?
Для кого твой блестит пирит?

Побрякушка, пустяк, обманка.
На подвале и в кипятке.
Я сожму пирит в кулаке.
И останусь собой. Никем.

На границе смешной
Судьбы.
Меж Ваганьковым
И Лубянской.

К столяру вернётся
Каштанка.
Он опять её будет бить.

Грань пирига в ладонь укол.
Не подписывай протокол.
Каждый вдох – Циклон Б, иприт.
Скоморохи в тылу врагов.
Там, где золоту нечем крыть.
Высекает искру пирига.

Золото дураков.

Водомерка и стриж

Не был бы ширпотреб
Пятой печати слепок,
Родился бы рыцарем
Книжным.

Тогда бы поднял на герб
Не льва, не быка, не меч,
Не орла, не крыж.

На щите
Голубом
Нелепом
Водомерка
И черный
Стриж.

По мутной пленке пруда
Водомерка скользит, скользит
В огромное никогда.
Неуловима вблизи.

Черный башенный стриж
Летит на скорости двести.
Голосит над месивом крыш
Оба не стоят мессы,
Как выдуманный Париж.
Бесполезны и веселы:
Вестники и свидетели.
Пересмешники,
Скользящие
На поверхности
Безугешного
Счастья
Чересчур
Настоящего.

Водомерка на глади Стикса,
Слышит зов серпокрылой птицы
И не может
Остановиться.

Хоп, водомерка, прыг!
Крик стрижиный, дожинки жатвы,
Не Крым, не Рим,
Не
Крае
Угольный
Камень.
Следи за крыльями и руками.

Смерть, где твое жало?
Еще не начали рыть.

В ряску брысь,
Водомерка.

Стриж, свисти
С высоты
Бессмертной
О войне
Надежде
Беде.

Ничего, что плаваю мелко.
Тяжелы круги
На воде.

Держаться корней

Я не стал антисемитом, потому что не слушался бабушку.

Бабушка не любила русских за то, что они пьют и воруют, бабушка не любила евреев за то, что они богатые и воруют, бабушка не любила цыган за то, что они бедные и воруют, французов за лягушек, татар за иго, кавказцев за чито-грито-маргарито, немцев за перец-колбасу и кислую капусту. Всех остальных она не любила за компанию, а чего они вообще.

Бабушка не любила мужчин за то, что они кобели, бабушка не любила женщин примерно за всё, бабушка не любила детей за то, что они не работают и жрут, стариков она не любила по той же причине. Бабушка не любила живых, потому что они что хотят, то и делают, бабушка не любила мертвых, потому что они ничего не делают и не хотят. Бабушка не любила коммунистов и диссидентов, потому что они много болтают, да всё ерунду.

Бабушка не любила кошек, потому что они гадят, не любила собак, потому что они лают. Не любила ночь, потому что надо ложиться, не любила утро, потому что надо вставать, не любила лето за духоту, зиму за снег, а весну и осень, потому что из дома не выйдешь.

Бабушка не любила колбасу, потому что её делают из крысиных хвостов, не любила хлеб, потому что от хлеба толстеют, не любила голубей, потому что они летают и срут людям на головы.

Бабушка любила только бога на иконе, потому что он ей не возражал и бога после использования можно было замотать в наволочку и засунуть в шкаф, чтобы не отсвечивал.

В детский сад меня не отдали. Зачем? Там зараза и дебилы. Есть же бабушка. Бабушка присмотрит за поросенком, которого дочь принесла в подоле от подлеца. Подлец меня заделал матери без резинки и штампа в паспорте, а потом взял да помер. Разве нормальные люди так делают? А этот, глядите, подсуетился! Мал да удал.

Я до семи лет таскался за бабушкой хвостом. Права голоса у меня не было, но возразить хотелось, аж в горле щипало и пицало, как от холодной газировки без сиропа.

Поэтому назло бабушке я стал всех и всё любить, как лучезарный хиппи.

Любить было весело. Это всех бесило.

Я горячо любил мусорное ведро с селедочными кишками и молоками в газете, жилы в тушеной печенке, алкаша в луже, бродячих собак и голубей на помойке, молочные пенки и орущего продавца в магазине, автобус, который всё не едет и черно-белых хоккеистов в телевизоре, которые опять просрала.

Вышел во двор, и мелкий гопник отвесил поджопник и отнял у меня резинового петушка с пищиком? — прекрасно. Я пошел и хряпнул гопника куском шифера по затылку, отнял петушка, приделал пищик на место — день удался, мама гопника пришла к моей маме ругаться — отлично. Они такие красивые, как ведьмы, когда орут друг на друга и трясут волосами, мамы охрипли и помирились — ещё лучше, сядем пить чай.

Бабушка тискала меня за щеки, трясла и говорила:

— Это всё потому что у тебя характер говно.

В младшей школе национальный вопрос встал ребром.

Лучшей подругой бабки была татарка. Три мушкетера дяди — армянин, еврей и беларус. Мама дружила с немкой, таджиком, и была тетя Шушаник, к которой я до сих пор хожу на красное Армянское кладбище без цветов, но с ее любимым печеньем «Мария».

Мне стало интересно, как бабка вообще различает национальности на глаз.

Бабка подумала и сказала:

– У евреев черные кудрявые волосы и вот такой нос. Чуковского видел в книжке? Вот такие они все.

Я смотрел на колоссальный пористый нос бабушки и ее воронье с проседью кудри и кивал.

Потом выяснилось, что помимо евреев есть еще и хохлы, их хрен внешне выкупишь, но у них всегда фамилия на «енко».

У бабки, дяди и мамы была красивая фамилия Сквиренко, один я отщепенец носил мутную фамилию вроде «Иванов, Петров, Сидоров, Максимов».

– Ты главное помни, что нас все ненавидят: русские, евреи, негры и особенно сучка Ниночка с пятого этажа.

Я тут же взял на заметку, что надо полюбить сучку Ниночку, у нее красивая сумка со слоном, от нее хорошо пахнет духами, и я еще ее ни разу не любил.

Спросил:

– Ба, а я кто?

Бабка отмахнулась

– Ты байстрюк. Спать иди. Не грусти, ищи свои корни. Надо держаться своих. Свои не бросят.

Я случайно нашел свои корни в книге «Мертвые души». Про моего предка-однофамильца написал целый классик, Николай Васильевич Гоголь, и я обвел абзац красным карандашом и всем тыкал: Вот! Вот мой предок! Его Ноздрев выпорол в четвертой главе, жаль, что и там не было написано, какой он национальности:

«– Я приехал вам объявить сообщённое мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

– Что за вздор, по какому делу? – сказал Ноздрёв.

– Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максиму личной обиды розгами в пьяном виде».

Похвастался бабке открытием, она присела на корточки, пощупала мой лоб сырой, как котлета, ладонью и спросила:

– Хочешь, завтра в школу не пойдешь?

И сегодня я люблю молочные пенки, голубей, бродячих собак, цинковое утро промзон, тарзаньи качели, автобусы, которые всегда едут мимо, рыжую траву на осенних насыпях

железной дороги, снежную слякоть на асфальте и черные крестовины рам в желтых квадратах многоэтажек, где не живу. Люблю трамваи и Ниночку с пятого этажа, которую давно вынесли и зарыли.

Спасибо бабушке, если я услышу:

— Тут есть жида?

Не задумываясь, шагну вперед и отвечу клоунским фальцетом:

— Я — жид. Смотрите, у меня нос, как у Чуковского. А если вы мне глаз выбьете, так я буду вылитый Моше Даян!

Надеюсь, пока громилы будут смеяться и разбираться с дураком, кто-то успеет спастись.

Последний стендап.

Весело и бесит.

Канатоходец

Раскати, бородатый гром
Свои кегельные шары.
Облаком нас покрой, не тронь
Размалеванные шатры.

И с горы шагай на гору
Руки в брюки, макушкой в синь.
Дождь пройдет. Станет радугой
Полосатый шест — балансир.

Выводи, хор на клиросе,
Шмель, гуди в росе луговин.
Вырасти, жажду вырасти
Старше собственной головы.

Не для парусов, не для виселиц,
Но меж башнями на весу,
Сколь ни виться веревке, истинно:
Я конец её, я плясун.
С площади или пажити
Смотрят нищие и паши.

– Падай же, – просят – Падай же.
Против физики не грехи.

На плече плащ малиновый,
С башни льются, шурша, плющи.
Упаду, так лови меня.
Удержусь, так рукоплещи.

Солнце скачет горячим обручем.
Случай хлопает по плечу.
Опечатка я, червоточина.
Шаг за шагом, еще чуть-чуть.

Мне прости шутовство позорное,
Что зонтом машу, не мечом.
Что ночами не снится золото,
Трое сбоку и сверху черт.

Спину прямо. Вниз не смотри.
И не хнычь, что не знал, не смог.
Такт отсчитывай «раз-два-три».
Получай медяки с дерьмом.

Не считай ни грошей, ни слов,
Рыжей не жалей головы.
Не заслуга, а ремесло:
До площадки дойти живым.

В беспросветные времена,
Весопляс я, фигляр и плут.
Башня, площадь, колпак, канат.
Завтра в полдень мы снова тут.

СВЕТЛАНА НОСОВА

Фрагмент из
«Рапсодии в трех зеркалах»
Сцены из жизни забытых поэтов

Предисловие
Вымысел как маска поэта

«Я не слышал рассказов Оссиана», — сетовал Мандельштам. Мы тоже не слышали; но мы внимали рассказам Джеймса Макферсона, забытого автора XVIII века, его блужданиям в лабиринтах героического эпоса Оссиана, ирландского барда-слепца, воспевавшего освобождение Шотландии от скандинавских завоевателей. Но даже если это и не перевод с древне-гальского, чудом дошедший до нас из глубины III-го века, в чем нас пытались уверить, а поэтическая маска автора времен Шекспира, сочиненная под влиянием Руссо, то разве это — намеренная ложь? Мы желаем услышать голос поэта — и видим мистификацию; хотим заблудиться, верим вести, заплетаемой вязи. У автора, как такового, нет лица; все его заботы о том, как бы перевоплотиться в иной образ. Но, странное дело, — чем дальше фантазия поэта отлетает от личности самого художника, тем полнее он говорит о самом себе.

От Дионисия Псевдо-Ареопагита, загадочного автора рубежа V–VI веков, выдававшего себя за ученика апостола Павла, обращенного им в христианство в Ареопаге* до восхитительного лиссабонского хамелеона Фернандо Пессоа, — таких примеров множество.

Как никто другой, об этом мифотворчестве вправе судить только поэт: «Я верю в святость сердечных порывов и истину воображения», — убедительно заявлял Джон Китс, и продолжал: «когда фантазия поэта овладевает красотой — красота становится правдой».

* Деян 17: 34.

А вот, что говорил Вячеслав Иванов, со свойственной ему пронизательностью: * «Нередко гордость побуждала поэта рядиться в эпика, сатирика, трагика, он чувствовал, что под фантастическою маской лирический порыв изливается непринужденнее, прямодушнее и целомудреннее. И всех этих масок он искал оттого, что лучшая из масок была недостижима, единая нужная и желанная, — музыка. Поэт был “певцом” только в метафоре и по родовому титулу...»

Три поэта представлены в этой книге: Антон и Ольга Белкины, брат и сестра, а также их друг Льюис Редсток. Они родились в Советском Союзе, в провинции; учились в советской школе. Их разбросало по свету. Они не печатались; их не печатали.

Антон Герасимович Белкин (1962, Томск — 2014, Weissensee, Kärnten, Österreich) — поэт и художник; он думает краской, овалом, карандашным наброском. Строка, абзац, период становятся словно чистой данностью полотна художника, на которое автор накладывает цвета, пытаясь воспроизвести момент повседневности во всех ее извилинах, выпуклостях, идиосинкразиях, фобиях. Антон Белкин не знает течения времени: он сам создает себе свою вечность и бесконечность, в которой есть все времена. Поэт встречается с картинами Рогира ван дер Вейдена, Лукаса Кранаха; он слоняется по улицам и площадям Парижа, на ходу переводя Пятую Дуинскую Элегию Рильке.

Намеренная фрагментарность книги сродни образу сшитого кафтана, разноцветной одежды Иосифа-сновидца, ковра, лоскутного одеяла. Это идея рапсодической структуры, как ее понимал Бодлер, ** говоря о своих переводах Эдгара По и этим определяя запутанность ощущений, обилие красок, которые движутся с хаосом внешнего мира и случайностью обстоятельств. В этом хаосе есть архитектура, ритм и цельность сюжета, но не в смысле жесткого плана, красной нити повествования, а скорее архитектура музыки, закономерность возвращения на круги своя в ином качестве.

* *Иванов В.И.* Споряды // Собрание сочинений / под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. Т. 3. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1979. С. 121.

** Рапсодия — от греческого *rhaptein*, шивать вместе, штопать. См.: *Barthes Roland.* Le Préparation du Roman (1979).

Правда не в словах — это зерно чувства; в нем нет ничего окончательно-навязчивого, и в этой недосказанности есть момент смирения. Но круговое движение мыслей, в которых, каждый на свой лад, блуждают поэты книги, это все — наши мысли, повседневность, согретая сердечной думой: та правда, что приходит внезапно и уходит не прощаясь, оставляя нас обнимать тени. И приближается зло, чтобы остаться.

Антон в Париже. Улыбка фигляра*.

— Мы были на Вашем вечере и ничего не поняли.

Антон обедал в пустой зале; он видел перед собой, то учителя математики, то знакомую по спорту, белобрысую студентку с развитыми мускулами плеч, высокой грудью; он страстно заговаривал с вахтёром, незаметным лицом, которого знал вот уже тридцать лет и возраст которого за все эти годы не менялся. Вахтёр спрашивал его о личной жизни. Антон искрометно шутил, подливал вина своим соседям, у него слегка звенело в ушах. Один? Он был один за столом. Его внутренний мир, пестрый, растительный, неудержимо рвался наружу, вынужденное одиночество в большом чужом городе плавно и властно ложилось на плечи, сердце ныло, слегка сжимаясь. Всё были на месте, не изменить. Он тихо запел, про себя. Веселый зачин обрывался в чёрную яму отчаянья.

... и ты, обречённый
сто раз ежедневно срываться и падать,
с особенным стуком незрелых плодов,
с огромного, общего древа движенья —
(резвее воды, быстрее мгновений весны,
и лета, и осени) — рушиться вниз, —
и отскакивать гулко о гроб.

О чем же мы с вами будем разговаривать? У меня всего одна тема. Кроме того, я часто останавливаюсь посередине

* *Sbrisio Saltat*. Антон Герасимович Белкин, слоняясь по улицам Парижа, переводит на ходу Пятую Элегию Рильке

фразы как в чистом поле и ищу нужное, единственно правильное слово. Удобно ли это для вас?

Поэт верит словам. Но, может быть, слова — это просто комплименты? Поэт видит в них что-то пламенное, он их к сердцу прижимает, не знает, как с ними справиться. Платоническая бездна открывается в нём: плывешь и тонешь, не знаешь, за что ухватиться. Любимец муз обнимает мгновенно. Целует в губы — людей, детей, весь мир. Небо, облака, соленые камни на берегу после шторма. Да, не нужна ему ваша хвала! Он положит премию в карман и пойдёт к себе, отрешиться от галденция. Ему нужно то, что ещё не названо, то есть — всё.

И снова властный хлопок в ладоши:
Прыжок! И с налёту —
но прежде, чем станет отчетливой боль
у самого сердца, бегущего рысью,
он чует начало страданья в горящих ступнях,
в глазах, наворачнувшихся влагой;
и слепо, сквозь слёзы — улыбка.

Жажда названия хлещет поэта, как хозяин собаку, не даёт ему покоя: пиши, работай, успеи сказать, назвать. Он спит урывками; он ест, не чувствуя вкуса. Потом сидит, смотрит куда-то в сторону; то ли в окно, то ли в себя, — и в этом взгляде — целый мир, который ещё не был описан.

О, Ангел! —
Сорви, сохрани эти стебли
мелкоцветной, целебной травы;
дай вазу! — возьми эту радость
нами ещё не знакомого счастья,
прославь в драгоценном сосуде,
увитом цветами их имя: *Subrisio Saltat*.

Послушайте, проходящие мимо, есть ли болезнь, как моя болезнь? Кто не одинок? Кто счастлив? Наверное, только тот, кто перестал думать, перестал терзать себя этими мучительными диалогами с обывателем, который въелся в мою плоть, грызёт мое сердце, который, может быть, я сам?

Разговоры с любимой, сонным утром в одинокой постели — и только одна, ровная, привычная, не горькая слеза; нет, это ресница в глаз попала, надо вставать. Разговоры с самим собой. Махровый мир растительной красоты, рвущейся наружу, замкнутой в себе, вынужденной молчать.

Буль-буль: голоса китайцев за эластичной перегородкой отчужденности, которая привычно, безболезненно деформировалась от каждого восклицания, слова, скрежета, нарушая ход мыслей. Мне бы место в углу залы да кусочек зелени из окна. Собраться с мыслями.

О, площади!..
Площадь Парижа, бескрайний театр!
Там, где модистка, *Madam Lamort*....

Вот она — шёлковое, тугое нечто; много кожи. Читает книгу; никогда не узнаю, какую. А вот другая: бледное, помятое лицо, делает вид, что читает, смотрит вослед. Я купил две открытки, показал их вместе, как одну, чтобы заплатить; не хотел брать две, но пришлось. Анахронизм писем и открыток! Мне некому послать вторую. У меня есть друг в Сирии, которого я перестал узнавать. Я не буду ждать ответа. Он придет, я знаю, когда меня не будет.

Вот коренастый, лопоухий мальчуган, со следами пороков родителей, топает, визжит, путаясь под ногами; мама в восторге, огрызается на прохожих. Темнеет; кто интереснее — мужчины или женщины? Старые или молодые? В возрасте? Толстые женщины в возрасте наиболее интересны. Говорят — толстые все злые. Мне нравится, как они несут себя, жестикулируют, выносят миру горы груди и бесформенное дрожание живота. Пары, уже в преклонных годах, сильно похожие друг на друга, особенно интересны. Татуированные бродяги с голым торсом, курят. Здесь все курят. Демонстрация чего-то, флаги плавают по жару.

А там, в сердцевине,
О, зрелище-роза!
Цветёт и роняет свои лепестки;
там топот и пестик глотают пыльцу,
и вновь začínают бессмысленный плод,

тоску безотчётных движений,
блистающей плёнки фальшивых улыбок
и деланных па.

Гриль на тротуаре. Жгучая брюнетка с прямой, намасленной чёлкой, деловито жуёт красным, намаженным ртом крупные куски мяса. У фонаря — фальшивая блондинка в черно-белом платье с разводами; утробно гоготал её сосед. Другой же, восточного вида, оглаживал чёрную бороду.

— Фигляры и странники, кто? Они горемычнее нас.

Я не пошлю почтовую открытку; нет меня. Сегодня — деревья, огромные, оголённые стволы платанов, их выпуклости складки тела, бесстыдно напоказ, мои друзья. Что написать на открытке, пусть неотправленной?

О, вы! —
Нашедшие скорби, их горький зачаток
В родной колыбели как злую игрушку
Во время болезни, идя на поправку.

Варьете, однообразные арпеджио, оглушительная дробь барабана и, раздражающий слух, визг ирландский дудели. Хриплое сопрано, стайка коренастых девиц, задирающих ноги. За все это надо платить.

Пристальный, согретый сердцем взгляд. Стихи в полусне; я сплю, но сердце моё бодрствует. Мне снится, что я не сплю. Горят мои глаза, не могу закрыть глаза. Наутро я вижу — мои стихи не годятся. Соблазн запаха, блуждающий взгляд огромных карих глаз, чужое, близкое дыханье. За окном — последние, заскорузлые листья платана, вдали — чёрные прутья в пустом небе. Разве не все равно: гостиница в Париже, где у самых глаз — промозглая громада St. Sulpice, ключья тумана в трещинах плит, а в комнате, где все предметы захватаны сотнями рук, — пахабный портрет задницы на каблуках. Ты будешь согласен, за все заплатишь. За что ты платишь, зачем ты едешь? За словом в себе. Освободить слово в себе.

... Где же,
о, где этот край, —
я храню его в сердце, —
где актёры ещё *не могли*, ещё долго
с плечей друг у друга срывались,
словно непарные звери; —
где гантели ещё тяжелы;
где тарелки и трости
тщетно кружатся, вяло шатаясь...

Вот она — в чёрном, горькая тень у рта, прядь волос упала на бровь. Тихий, напряженный, в себе сосредоточенный взгляд. Бархотка у шеи, тьма кружев защищает дыхание. Сумрак у виска, в глубине глаз — ожидание встречи. Сентиментальный фрагмент. Хруст разрезаемого яблока; свежий разрез, запотевший кувшин. Белый свет на зеленом медленно темнел, теплел, — желтые блики солнца на старой, изрезанной ножом доске. Когда я здесь был? И вдруг я понял, что могу не успеть сказать своё слово. Что останется от меня? Карандашный набросок страдания. Тень сдавленного, перед самим собой осмеянного чувства. Может быть, просто старость. Терраса, светофор у решетки Люксембургского сада вспыхивал, озарял то красным, то зелёным пожухлую листву каштана.

Поесть где-нибудь у стойки бара. Эти люди мне не мешают. Вода из крана, шипя и брызгая, наполняла графины — раз, два, три, — один за другим. Их бока мгновенно потели от шёпота и пара скворчащей, кипящей снеди. Говор слитной массой распределялся в тесном пространстве. В субботу вечером эту массу запахов, звуков и тел воспринимаешь отдельным существом, гидрой, тканью, текстурой. Сливаясь с ней и отделяясь, начинаешь дышать в одном ритме, быть причастным и непричастным. Что значит — быть? У воротника, где край одежды защищает дыхание, мерное колыханье, у запястья, по краю перчатки, у пульса — живёт память, таится чувство, пулистый зверёк самости. Антон отправил в рот кусок чего-то сложного, солено-сладкого, с горчинкой, с крупинками кроканта, подливал ледяное вино в запотевший стакан и вдруг вспомнил: Пруст правил свои рукописи в вестибюле Ritz, в стеклянной конторке швейцара.

Р.М. Рильке: Пятая дуинская элегия

Да кто же они, о, скажи мне,
фигляры и странники, *кто?* —
они горемычнее нас!
Да, их выжимает, — и смалу! —
кому же, *кому* на потеху,
от века несытая власть?
Она их сжимает, сгибает, свивает,
вращает, бросает и ловит опять, —
когда из пространства, согретого маслом,
и скользкого воздуха, снова, —
они возвращаются вниз, —
на истрёпанный мат, на истасканный коврик,
на истончённый от вечных прыжков,
этот последний ковёр во вселенной!
Этот наклеенный пластырь, как будто
убогое небо окраин изранило землю.

Но, чуть приземлившись,
стоит он, открытый, —
Заглавная буква Стоянья.,
и вновь увлекает упрutih атлетов,
и вертит привычные трюки,
как будто шутя, за столом
у Августа Сильного тешат игрой
оловянных тарелок.

А там, в сердцевине,
О, зрелище-роза!
Цветёт и роняет свои лепестки;
там топот и пестик глотают пыльцу,
и вновь зачинают бессмысленный плод,
тоску безотчётных движений,
блистающей плёнки фальшивых улыбок
и деланных па.

Там вялый, осевший тяжеловес,
так стар он — способен лишь барабанить,
а дряхлая кожа пойдёт на *двоих*,
один из которых уже на кладбище;
его переживший, слегка глуховатый,
чуть тронут умом,
в своей овдовевшей, сползающей коже.

Там юный атлет —
наверное, отпрыск борца и монашки:
стоит, коренастый, с упруго набитыми
мышцами и простодушьем.

О, вы! —
Нашедшие скорби, их горький зачаток
В родной колыбели как злую игрушку
Во время болезни, идя на поправку....

И ты, обречённый
сто раз ежедневно срываться и падать,
с особенным стуком незрелых плодов,
с огромного, общего древа движенья —
(резвее воды, быстрее мгновений весны,
и лета, и осени) — рушиться вниз, —
и отскакивать гулко о гроб.
Но иногда, в полу-паузе схватки
внезапно светлеет лицо, обращённое к ней,
так редко нежной матери;
но только на миг, и гаснет застенчивый свет,
едва охватив черты, теряется в мускульной силе...

И снова властный хлопок в ладоши:
Прыжок! И с налёту —
но прежде, чем станет отчетливей боль
у самого сердца, бегущего рысью,
он чует начало страданья в горящих ступнях,
в глазах, наворачнувшихся влагой;
и слепо, сквозь слёзы — улыбка....

О, Ангел! —
Сорви, сохрани эти стебли
мелкоцветной, целебной травы;
дай вазу! — возьми эту радость
нами ещё не знакомого счастья,
прославь в драгоценном сосуде,
увитом цветами их имя: «*Subrisio Saltat*».

Ты же, прелестное чадо,
лучшие радости жизни
безмолвно тебя избегают;
верно, твоя бахрома счастлива вместо тебя,
или над грудью тугой зелёный металлится шёлк,
дышит девичьим теплом,
исполненьем невинных желаний.

Ты же —
колеблемый фрукт на весах,
рыночный плод равнодушья,
прилюдно под плечи прихваченный.

Где же, о, *где* этот край — я храню его в сердце, —
где актёры ещё *не могли*, ещё долго
с плечей друг у друга срывались,
словно непарные звери;
где гантели ещё тяжелы,
где тарелки и трости
тщетно кружатся, вяло шатаясь...

И внезапно, в этом тяжком Нигде,
несказанное место,
там, где немощи чистую малость
непонятно, скачком перебросит
в безмерно-пустое зиянье;
где несметные числа без чисел
исчезают бесследно.

О, Площади!..
Площадь Парижа, бескрайний Театр!
Там, где модистка, *Madam Lamort*,
наши тревожные тропы земли,

бесконечные ленты плетёт и мотает,
свивает их заново в петли, в банты, в рюши,
цветы и кокарды, плоды, —
эти поддельно-крикливые зимние шляпки,
дешёвые шляпки судьбы.

... ..

Ангел!: Это был бы Театр, незнаемый нами!
Там, на ковре несказанном — влюблённые,
не достигшие здесь совершенства,
там явили бы дерзко
пируэты сердечного взмаха,
эти башни желанья, без опоры, бездонно,
только шаткими лестницами
прислонившись друг к другу, дрожа, —
и смогли бы! —
Перед мёртвой, безмолвной толпой,
многочисленной массой:

О, если б вы бросили им,
этим любящим, этим владельцам
наконец-то безгрешной улыбки,
свой единственный грош сбережённый,
сокровенную плату фортуны
на притихший ковёр.



В МИРЕ КНИГ



Новый том Собрания сочинений матери Марии

Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.) Путь: Публицистические очерки; Богословские и религиозно-философские сочинения; Воспоминания, письма, записные книжки. М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2022. 392 с.

Великая радость – выход нового тома собрания сочинений матери Марии (Скобцовой), на сей раз – третьего. Под общим названием «Путь» книга объединяет тексты, написанные в 1930-е годы, когда путь матери Марии сформировался в своей зрелой отчетливости (в 1932 году она принимает монашеский постриг). Труды матери Марии для русского читателя – концентрат откровений, во многом еще «неразгаданных», но прожитых и переданных в ее многогранном творчестве всем нам. Особенная признательность критическому замыслу издателей: в книгу входят тексты с учетом их вариантности, тщательная исследовательская проработанность которых выразилась в приложениях и примечаниях. Читатель таким образом имеет возможность углубиться в процесс создания той или иной статьи, почувствовать ее контекст.

Том включает в себя многообразные жанры: публицистику, богословские статьи, мемуары, письма, записки. Некоторые тексты впервые увидели свет, иные, хоть и были опубликованы в довоенной периодике, практически неизвестны современному читателю.

Таким открытием стали путевые заметки «Русская география Франции» и «Прибалтика», которые мать Мария создала по следам своих путешествий.

Она пишет «русскую историю Франции» в трепетных образах людей, в которых мы едва узнаем русских ныне: они безупречны в труде, не страдают бездельем, побеждая трудом свою безудержную нервную чувствительность. Оказывается, уважением к «трудовой выдержке» и качеству труда русских людей проникались все французы вокруг! Как диссонирует это с позднесоветской ситуацией профанации труда, превратившегося в голый лозунг.

Мать Мария разворачивает мистерию труда как благоговения, завораживающе описывая прозаическую работу металлургического завода. Трудно даже вообразить, что из этого процесса автор видел воочию, так по-пророчески духовно возникают зримые и звучащие символы преобразования стали.

Главная забота автора проходит красной нитью через все заметки — о сохранении русского и русских во всей многогранной сложности этих понятий. Одно из частотных слов в заметках — *денационализация* — тоже очень актуальная тема сегодня. Мать Мария отмечает рост денационализации русских эмигрантов, которая совершается в их жизни через стирание границ между русским и французским, прежде всего в утрате языка, в незнании своей истории, литературы, в отсутствии интереса к русским темам и т.п. Она порицает родителей, которые не заботятся о русском образовании детей, и даже предлагает радикальные меры: исключать из русских групп тех, чьи дети не говорят по-русски, расценивая это как измену. Мать Марию радует молодежь, которая наследует и продолжает русские интеллигентские традиции в русском духе, но делает вывод, что простому человеку, который «не читает и не пишет», никогда не врати в чужую почву, и расценивает это как одно из «беженских несчастий».

Созерцательные картины старой русской жизни Прибалтики для читателя современной России не менее ценны, чем для эмигрантов 1930-х, тоскующих по утраченной родине. Это любовно-пристальное созерцание как бы вернувшегося, но по стечению исторических условий сохранившегося в настоящем, прошлого, погружает нас в опыт

надвременного узнавания *своего*, скрытого в глубинах и наших русских постсоветских душ.

Права Н.В. Ликвинцева, отмечающая, *как* написаны эти записки. Удивительно ласковым, человеко- и миролюбивым теплом отдает от каждой строки. Любовный взгляд – вот «метод» автора, заражающий и меняющий взгляд читателя. Удивляет контраст образа лимитрофных монастырей из заметок в сравнении с образом богословских статей этого же тома, где они (монастыри) квалифицируются как продолжатели старого, а не зачинатели нового. Описание жизни в Пюхтицком монастыре – может быть, один из лучших и проникновенных образов монастыря в русской литературе, которая по большей части обошла эту сферу.

Очерк «Псково-Печерский монастырь» касается до сих пор острейших актуальных церковных тем: автокефалии, лютеранизации церкви, борьбы с русской культурой и др.

Итоговая, прежде неопубликованная статья «Провинциальные впечатления» читается актуально в отношении нынешней русской провинции: «В чем нуждается провинция? В первую очередь, конечно, в инициативе. Сил у нее, может быть, и достаточно, но никто не пытается собрать эти силы...».

Богословские и религиозно-философские сочинения, изданные в 3-м томе, более известны (впрочем, каждое из них дополнено неизвестными прежде текстами). Они представлены тремя разделами: богословие творчества и культуры, о Богородице и материнстве, о монашестве и аскетизме.

Каждый из разделов – сокровище живой мысли, в котором можно, по слову Г.П. Федорова, найти «откровение нашего собственного духовного пути». По содержанию разделы поразительно связаны между собой, как бы перерастая одной мыслью в другую. Поиск ответа на вопрос, что может вывести культуру из тупика гуманизма, ведет к требованию нового, христианского гуманизма, которому у матери Марии посвящена как мистика, так и аскетика человекообщения, укорененная в откровении богоматеринского завета.

Воспоминания об о. Александре Ельчанинове, письма, не опубликованные прежде фрагменты из записных книжек дополняют картину и дарят новые мысли матери Марии и свидетельства о ней и о ее окружении. Замечательно,

что в качестве дополнительных материалов собраны фрагменты воспоминаний о матери Марии – Б.В. Плюханова, К.В. Мочульского, Т.И. Манухиной, а также протоколы семинара о. Сергия Булгакова об аскетизме. Много открытий еще можно было бы перечислить из 3-го тома, но лучше предоставить читателю их сделать самому.

Замечателен отклик на книгу в России. Презентации ее в разных городах свидетельствуют о жизненном интересе к мысли матери Марии, проведенный по книге семинар «Аскетика человекообщения» матери Марии (Скобцовой)» на Youtube набирает просмотры.

С нетерпением ждем следующего, четвертого тома.

Ли́дия Крошки́на



Иоанн Зизиулас.
Экуменическая признательность*

Кембриджский богослов и философ Дональд Маккиннон первым познакомил меня с работами Иоанна Зизиуласа, передав мне (где-то в 1978 году) пару французских оттисков. Дональд не был человеком, который охотно одаривает кого-либо похвалой, но он был явно заинтригован и впечатлен — я подозреваю, потому что эти эссе о Евхаристии и епископе отражали экклезиологию настолько далекую, насколько можно было себе представить, от беспокойного установления границ, институционального раздувания собственной значимости и самообмана, которые Дональд находил в очень многих работах о Церкви в западном богословии середины XX века, как консервативном, так и якобы радикальном. Если в рамках консервативного богословия Церкви превозносилась иерархическая власть епископата и Церковь рассматривалась как своего рода политическая структура с правителями и подчиненными, то либеральное и радикальное богословие середины века в равной степени сводили Церковь к ассоциации энтузиастов-социальных реформаторов, спешащих угнаться за изменчивой культурой. Ни те, ни другие не проявляли особого понимания того, что именно должно произойти, чтобы Церковь была тем, чем она претендует быть, — собранием преображенных Духом в полное (христоводное)

* Текст впервые опубликован на портале Public Orthodoxy (Иоанн Зизиулас. Экуменическая признательность — Public Orthodoxy (Публичное Православие)). Благодарим С. Чапнина за разрешение напечатать текст в «Вестнике».

человечество и, таким образом, в состояние подлинного общения. Ни те, ни другие не понимали, что сакраментальный характер Церкви означает, что видимое проявление Церкви в евхаристическом сообществе — это довольно простая вещь: воплощенное предвкушение того, что все творение придет в эсхатологическое взаимообщение и нераздельность, для которых оно было создано. Для такого несколько нетрадиционного англикаталика, как Маккиннон, это направление англиканской мысли к 1970-м годам представлялось уже утраченным — сильный эсхатологический акцент великого Дома Грегори Дикса в его классической «Форме литургии», наряду с красноречивой критикой потребительского, гомогенизированного «рыночного человека», который возник из подобных евхаристических представлений.

Все эти темы, конечно, должны были получить дальнейшее развитие в единственной наиболее влиятельной работе Зизиуласа «Бытие как общение, — сборнике эссе, амбициозно соединяющем сакраментальную теологию и метафизику (в него вошли и переводы тех статей, которые я читал в 1978 году), и излагающем довольно полную догматическую программу. Характерные тропы о важности монархии Отца в Троице (чтобы избежать любого намека на концептуально предшествующее и абстрактное единство Божества), резкое различие между «естественным» и «личным», эсхатологический характер Евхаристии и, следовательно, совершающего ее епископа, серьезная ошибочность создания «специализированных» Евхаристий для групп верующих, различающихся по возрасту или культуре, и многое другое — все это присутствовало в его эссе. Круг читателей, не принадлежавших к православным Церквям, нашел эти эссе захватывающе интересными, и многие значительные экуменические тексты в немалой степени опирались на них. Как преподаватель Зизиулас нашел приют в Великобритании в Королевском колледже Лондона, и здесь же развивал свои идеи. Энтузиазм коллеги-реформатора, профессора Колина Гантона, помог познакомить с его идеями широкую аудиторию. В Церкви Англии в начале 1980-х годов произошел радикальный пересмотр методологии и целей подготовки к рукоположению — вдохновленный и частично курируемый профессором Дэном Харди. Зизиуласовский тезис о тринитарном единстве как

онтологической основе был поставлен главной целью внутреннего возрастания кандидата в священники, стремящегося всецело служить Церкви.

На кандидатуру митрополита Иоанна — к этому времени он был уже митрополитом — регулярно и неизменно падал первый выбор, когда был необходим православный представитель в различных комиссиях по диалогу и на крупных межконфессиональных встречах. В 2006 году, будучи в течение многих лет сопредседателем Комиссии по англикано-православному диалогу, он обладал огромной вдохновляющей и определяющей силой при подготовке доклада «Церковь Троицкого Бога». Я был членом этой группы по диалогу вплоть до моего назначения в Кентербери в 2002 году и имел счастье регулярно общаться с митрополитом Иоанном по основам вероучения. И эти беседы неизменно восстанавливали мою веру в возможность хорошего богословского спора. Мы с митр. Иоанном не во всем соглашались друг с другом. Он вообще не был уверен, что я правильно понимаю монархию Отца, а я упорно защищал Августина от того, что мне представлялось, порой несправедливым и чрезмерно упрощенным вариантом понимания его взглядов. Мы спорили о том, не сближает ли учение Иоанна о творении само творение и грехопадение, а также о том, означает ли «природа» то же самое у каппадокийцев и в пост-хейдеггеррианской мысли. Но одним из самых приятных моментов диалога было наблюдение за тем, как он разрабатывает свою глубокую христологическую концепцию; и в этом, как и в наших размышлениях о сакраментальном богословии, мы были глубоко едины. К некоторому раздражению остальных членов Комиссии, мы иногда с таким удовольствием ввязывались в споры о деталях патристических текстов, что повестка дня и расписание трещали по швам. Я вспоминаю случай в Бухаресте в (кажется) 2000 году, когда один из членов комиссии был послан за изданием святого Максима из патриаршей библиотеки, чтобы мы с Иоанном могли подискутировать о контексте различных спорных цитат и прийти к какому-то согласию, в то время как остальные члены группы с плохо скрываемым облегчением уходили на длительный перерыв на кофе...

К этому времени я считал Иоанна своим другом, и я думаю, что это было взаимно. Я глубоко уважал его как мыслителя —

и иногда сожалел, что из-за постоянного давления, связанного с необходимостью представлять Вселенский патриархат в различных организациях (эту задачу он выполнял с усердием и очень добросовестно), ему стало гораздо труднее писать так обстоятельно и подробно, чтобы его воспринимали всерьез в академическом мире. На самом деле, его чтение оставалось широким и разнообразным; и когда меня попросили написать краткое введение к его превосходному сборнику эссе 2006 года «Общение и инаковость», я предположил, что при правильном прочтении эта книга на самом деле представляет собой нечто очень похожее на систематическое богословие в несистематической форме, поскольку она охватывает невероятно широкий диапазон тем: от онтологии Троицы до вопросов пола, духовной практики, церковного управления и многого другого. Как и другой великий Старец современного православного богословия, митрополит Каллист Уэр, он был опечален и озадачен возрождением церковного национализма, а еще больше — восторженным принятием некоторыми православными повестки дня «культурных войн» в США. При всей исключительной утонченности его мышления, в нем была удивительная простота (и я имею в виду не только впечатляющее отсутствие практичности у него в быту): выражаясь современным языком, он знал, как сделать так, чтобы главное оставалось главным. И видеть, как он служит Божественную литургию, неизменно означало видеть именно то, что было для него главным: проявление во Христе, настоящем и грядущем, того, на что мы надеемся в нас самих, в наших родственных и взаимосвязанных сущностях, и в нашем взаимосвязанном мире, взывающем к согласию.

Вечная ему память. Я очень благодарен за то, что знал его и учился у него.

Роуэн Уильямс

*Перевод с английского
Сергея Чапнина*

Волны и берег Тамары Жирмунской (22.03.1936–12.02.2023)

Издавна повелось, что значимость жизни поэта ощущается в его посмертной судьбе... Вот и отпевание поэтессы Тамары Жирмунской состоялось в московском храме Космы и Дамиана в Шубине, совсем недалеко от дома номер 12 по ул. Горького, ныне Тверской: в коммуналке когда-то бахрушинского доходного дома Тамара прожила с самого рождения до 1973 г., когда получила от Союза писателей квартиру в совсем не поэтическом районе Москвы – Текстильщиках.

Она умерла 12 февраля 2023 года после продолжительной болезни; дома у дочери и затем в хосписе ее окормлял иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик храма, уже упоминаемого выше... Жирмунская, после двадцати лет жизни в Мюнхене, куда поехала по причине тяжелой болезни мужа, пожелала вернуться закончить свои дни в Москве, и эта ее воля была исполнена дочерью Александрой.

Я была знакома с Тамарой Александровной с начала восьмидесятых, и с самого первого момента она поразила меня изысканным обликом и посадкой головы, всегда приподнятой выше среднего... Она была чрезвычайно любящей и заботливой женой и матерью, прекрасным другом, ярким оратором и внимательным собеседником, равно как и человеком не от мира... Каким и должен быть поэт.

*Анна Кузнецова,
апрель 2023*

Что отдал, то твое

С первых своих шагов в поэзии Тамара Жирмунская оказалась в центре литературной жизни страны. Ученицу признанного Е. Долматовского печатали, ей давали творческие командировки, ее ближним кругом были Булат Окуджава, Фазиль Искандер... Она – автор одних из лучших воспоминаний об Арсении Тарковском, общение с которым было частым в писательском поселке Переделкино. Дочь поэтессы, Алек-

сандра Сиркес (Мясникова) пишет: «Тарковские здесь жили не месяцами — годами, настолько им было хорошо! Арсений Александрович так благоволил ко мне, что даже согласился заполнить мой “Дневник откровенности”, словно был моим одноклассником. На вопрос: “Любите ли вы танцевать”, удачно пошутил: “Да, особенно “Умиравший лебедь” Сен-Санса”. Ему было тогда уже под восемьдесят...»

Наиболее яркий отпечаток на становлении Жирмунской оставила студенческая любовь и последующая дружба до самой его смерти с писателем Юрием Казаковым, запечатленная в их многолетней переписке, с интонациями, порой шуточными и понятными только им двоим, — как вот эта цитата из письма к Жирмунской (24 апреля 1958. *Таруса*): «Товарищ консультант! Я надеюсь, Вы поймете мои устремления насчет жизни и литературы, а также мои настроения*».

Казаков — кумир московской интеллигенции, открытый Луи Арагоном французскому читателю книгой «На полустанке», что позволило не самому «передовому» писателю быть включенным в делегацию в Париж 1967 г., где он, собираясь писать книгу о тогда уже «реабилитированном» для советского читателя И.А. Бунине, встречался с Георгием Адамовичем и Борисом Зайцевым...

Со своим двоюродным дядей-академиком (с 1966 г.) В.М. Жирмунским Тамара познакомилась в 1963 г., будучи уже дипломированным литератором и членом Союза писателей СССР. Она оставила мемуарный очерк об их общении, названный ахматовской строкой — «Что отдал, то твое». Дядя Жирмунский переписывался с Блоком, учился в Тенишевском училище с О. Мандельштамом, и, конечно же, чтил единственную живую из великой четверки поэтов — Ахматову, чему посвящена львиная доля мемуарного очерка Тамары о совместной их работе над неизвестными публикации Анны Андреевны: «... не полагаясь на данную ему информацию, будто бы никаких неизвестных стихов от Ахматовой не осталось, он {В.М.} пытался создать «тень архива». В поисках неопубликованного объезжал ее друзей и знакомых в Ленинграде и Москве, и, прежде всего, конечно,

* Кузьмичев И. Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование. (Письма к Т. Жирмунской) <https://biography.wikireading.ru/292297/>

тех, кого наградила евангельским именем “жен-мироносиц”: М. Петровых, Э. Герштейн, Н. Глен»; «Вообще мы всё время переговариваемся... Он говорил — я внимала, а кошка Миссисипи — подарок Иосифа Бродского — тёрлась у нас под ногами. И.Б. как бы передан был ему Ахматовой по наследству...»; «Дядя вслух комментирует многие стихи. Попутно рассказывает мне перипетии личной жизни Анны Андреевны. Передо мной встают как живые Гумилев, Шилейко, Пунин, Гаршин... Работаем за полночь и на другой тоже. В результате две из “Северных элегий”, стихотворения “Творчество”, “Причитание”, “Особенных претензий не имею”, несколько четверостиший и еще много всего ложится в стопку для “Нового мира”. Но и “Юность” не обижена: я увожу с собою тридцать неизвестных произведений Ахматовой»*. Невзирая на внешне благополучную биографию в шестидесятые, следующее десятилетие оказалось для поэтессы наполненным сурьезными испытаниями...

Берег Тамар

«Ты и пальма в иврите тёзки.
И назвали тебя по бабке...»

Это стихотворение «Берег Тамар» посвящено Тамаре Жирмунской ее супругом-сценаристом и режиссером Павлом Сиркесом после его первой, уже пост-перестроечной поездки в Израиль. А в 1979-м, у Тамары Жирмунской была первая попытка эмиграции — следовать в Израиль за Павлом «”как протопопица за Аввакумом” — так потом охарактеризует мой поступок одна поэтесса из народа. Первая наша эмиграция не состоялась по моей вине. Измученная бессонными ночами, я, что называется, прыгнула с подножки поезда в последний момент...»** Последствиями несостоявшегося отъезда было исключение из Союза Писателей и большой социальный и душевный кризис, и вот в этот момент Тамара

* *Жирмунская Т.* Что отдал-то твое // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 9. Симферополь, 2011. С. 3–20. <http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/zhirmunskaya-что-отдал-то-твое.htm>.

** *Жирмунская Т.* Ум ищет божества. <https://tamara-zhirmunskaya.imwerden-net.de/Um.html>.

нашла спасение во встрече с протоиереем Александром Менем. – Вы хотите вознестись при жизни? – спросил поэтессу священник, когда она сокрушалась, что бытовая сторона не позволяет полноценно работать над строфой... Именно о. Александр напутствовал Жирмунскую обратиться к работе над библейским словом русских поэтов: «...в память о своем духовном наставнике я стала писать книгу о Библии и русской поэзии. Эта работа продолжалась 18 лет. Вышли три издания книги. Каждое последующее обогащалось новыми главами» (эссе «Я посох мой доверил Богу...»^{*}). В этом же эссе Жирмунская размышляет о судьбах поэтов и мыслителей в двадцатом веке на примере сравнения пушкинского и лермонтовского «Пророков», последний из которых «...ближе к библейским пророкам именно погибельной опасностью своей миссии. Так, Иеремия говорит от лица Бога: “Вотще поражал Я детей ваших: они не приняли вразумления; пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев” (Иер 2: 30). Надо лишний раз напоминать судьбы тех писателей и мыслителей, что в XX веке, особенно в России, вздумали “провозглашать” “любви и правды чистые ученья”? Лермонтов предвидел их удел:

Смотрите ж, дети, на него:
 Как он угрюм, и худ, и бледен!
 Смотрите, как он наг и беден,
 Как презирают все его!»

Именно в этом контексте мы можем рассматривать все последующее творчество Жирмунской. Первая часть цикла ее исследований – «Библия и русская поэзия» увидела свет в московском издательстве «Российские писатели» в 1999 г. Уже в эмиграции в Мюнхене, работая непрестанно в библиотеке Толстовского фонда, она завершила работу над книгами из этой серии: «Ум ищет божества» (2006) и «Я сын эфира, Человек» (2009). Готовя их, Жирмунская также совершила «рабочую» поездку в Дорнах: «Меня влек к себе Гётеанум, построенный в начале Первой мировой войны усилиями пред-

^{*} Жирмунская Т. Ум ищет божества: «Я посох мой доверил Богу...»
<https://tamara-zhirmunskaya.imwerden-net.de/Posoch.html>.

ставителей 19-ти наций. Этим храмом искусств, храмом дружбы народов, посвященным великому Гёте, бросали вызов мировой бойне властитель дум европейской интеллигенции доктор Рудольф Штайнер и его ученики. Первый, деревянный, Гётеанум сгорел, а вернее, был подожжен ненавистниками человеколюбивых идей, но на его месте через много лет вознесся Гётеанум второй, серо-белый на небесном фоне, бетонно-воздушный, округло-овальный. Он и ныне продолжает быть центром антропософии, культуры и образования... Жаль, что на ретроспективной выставке, устроенной в фойе, я не увидела имен и портретов Макса Волошина и Андрея Белого, которые принимали в строительстве первого Гётеанума живейшее участие»*.

Никто не прав, никто не виноват

Под таким заголовком вышло «Избранное» – последний прижизненный поэтический сборник поэтессы. Он завершается кульминацией – поэмой «Мать Мария», как считала ее автор, недооцененной и критикой, и читателем: «...мама поэму написала быстро, на одном дыхании, только с концовкой получилась задержка, и когда мама, наконец, дописала поэму, она почувствовала, что это очень серьезная вещь, которая останется и после ее ухода»**. Эту, как сказала бы Марина Цветаева, чей голос очевидно там слышен, – «большую вещь», Жирмунская впервые читала на встрече о. Александра Меня с учеными подмосковной Черноголовки 2 сентября 1990 г., за неделю до гибели священника. «Тогда она записала в дневник впечатление: «А.В.М. – был очень грустный», – сказала я Павлу и Саше».

С той поры минуло 33 года: после гибели о. Александра его духовная дочь прожила ровно срок земной жизни Сына Человеческого, и поэма знаменует собой особое качество этих лет вслед словам, как Жирмунская обозначала его в дневнике, – А.В.М.: «Служить людям надо полностью, до смертного конца». По воспоминаниям дочери поэтессы, о. Александр в ту последнюю неделю своей земной жизни увиделелся со всеми

* *Жирмунская Т.* Ум ищет божества: «Я посох мой доверил Богу...» <https://tamara-zhirmunskaya.imwerden-net.de/Posoch.html>.

** Из переписки Александры Сиркес (Мясниковой) с Анной Кузнецовой, апрель 2023.

своими «главными» духовными чадами, к которым принадлежала и Тамара. Об этом вечере Жирмунская оставила следующую запись в Дневнике (выделяем цитаты из него курсивом), который она вела всю жизнь и который ждет своего исследования и публикации:

2.09.1990.

«15 ч – лекция А.В.М. о Матери Марии. ДК Станколиний.

«В срок не сделала здесь записи.

Но есть листок, где закончен и законспектирован доклад о Матери Марии».

«Крепостное служение.»

«Философствование жизнью.»

«Особенная девочка.» «О Серебряном веке...» (публикуется впервые)

Тамара Жирмунская обратилась к теме новомученицы парижской Марии (в миру Е.Ю. Скобцовой) за много лет до того, как о ней во множестве стали писать российские филологи. Александра Сиркес вспоминает: «...мама давно интересовалась творчеством Кузьминой-Караваевой, в юности прочитав знаменитое стихотворение Блока, посвященное ей “Когда вы стоите на моем пути”. В 1980-е годы А.В.М. дал маме прочитать книгу о м. Марии. И на написание самой поэмы маму точно вдохновил отец Александр, его лекция о ней, когда ему дали аудиторию, начиная с 1987 года.

Мы тогда всей семьей были на его первой лекции, по моему, в Московском институте стали и сплавов, и я подарила ему букет розовых роз».

Собирая текст, Жирмунская попутно в дневнике записывала «ключи» к заданной теме: *«Никто так не переживал тайну искупления, тайну Гефсим. Ночи, как Мать Мария».* Теперь в Париже воздали должное искуплению матери Марии; ее именем названа улица в 15-м округе, в нем же при поддержке мэрии в 2018 году по инициативе православной общины храма преп. Серафима Саровского на 91 rue Lecourbe был открыт и Культурный центр ее имени. Это событие удивительное, поскольку никто из круга выдающихся русских мыслителей, таких как Н. Бердяев или о. Сергей Булгаков, у которого в 1932 году в храме Сергиевского подворья в Париже

Елизавета Юрьевна Скобцова (Кузьмина-Караваева) приняла монашеский постриг, не заслужили во Франции ни улицы, ни общества в свою честь.

Как раз по поводу богословского и философского кругозора поэтессы, – в дневнике 1990 г. Тамара Александровна набрасывает следующие размышления: «... *Опифалась на идею Вл. Соловьева. Христианское ощущение жизни – “святая земля”. У Мережковского “святая плоть” – сухо, схематично. У М. Марии другое: да, жизнь запачкана, но нельзя отбросить ее, необходимо освятить, поднять то, что втоптанно в грязь...*» В 1995 г. Тамара Жирмунская отправилась в паломническую поездку в Тезе (Taizé), побывав и в Париже. Продолжается ее мысль о м. Марии:

*«Жива соучастница М. Марии
Перу д'Алинкур (Pery d'Alincourt)
Жива, помнит, М.М. каша, сумбур).
Послед встреча с о. Дм. Клепининым
45748026»*

(из записей, предоставленных дочерью поэтессы)

И это несмотря на уже опубликованную поэму в книге Т. Жирмунской «Праздник» московского издательства «Современник» (1993), – которую упоминает среди прочих материалов в статье «Неузнанной еще вернусь к вам»^{*} одна из главных исследовательниц наследия м. Марии, автор диссертации о ней, Татьяна Викторова (Страсбургский университет).

Мы приводим здесь выдержку из краткого предисловия к поэме: «Всю свою жизнь мать Мария писала стихи. Даже в концлагере, по воспоминаниям уцелевших узников, она сочинила несколько стихотворений, но они утеряны. Вот почему я позволила себе писать поэму от первого лица как

^{*} Викторова Т. «Неузнанной еще вернусь я к вам»: судьба поэзии матери Марии в постсоветской России и во Франции // Studia Litterarum. 2018. <https://cyberleninka.ru/article/n/neuznannoy-esche-vernus-ya-k-vam-sudba-poezii-materi-marii-v-postsovetskoy-rossii-i-vo-frantsii>.

монологи моей героини»*. Эти строки Жирмунская писала в 2015 г. к 70-летию со дня гибели монахини. В самом деле, поэма кардинально отличается от всех других ее стихотворных композиций: в ней как будто исчезла та заглавная для поэтессы мирная оттепельная интонация советских 1960-х, о которых близкий ей Ю. Казаков говорил: «Мир сегодня, — не просто дни без войны. Это бесконечное развитие жизни»**. В поэме мы видим другие полюса, другие вневременные границы, громогласные раскатистые строфы, вспыхивающие эсхатологическими зарницами, особенно XIV-я, финальная часть, над которой долго мучилась: «*Работала. В предвидении конца делала последнюю главу. Повеселела.*» (Дневник; 1990) — и которую читала в уже упоминаемый вечер 2 сентября 1990 г. в числе трех отрывков:

Кому кадила, грозная труба?
 Диктатору? Он смят народной волей.
 Ты — как победоносная тура
 на брошенном кроваво-
 черном поле.

Очевидно, что, сочиняя, Тамара находилась в непрерывном контакте с правилами матери Марии: «*Все лишнее уходило из жизни, все умела, мыла пол у работяг. Когда человек просил хлеб, давала ему хлеб, а не Священное Писание*». И порой и непосредственно встречалась с наследниками тех, кто составлял круг соратников русской монахини в парижском миру: «*Я познакомилась с Антоном Аржаковским, внуком о. Димитрия Клепичина*». Жирмунская видит в бытовании м. Марии дантовский след: «{мать Мария} *спускается в ад русской эмиграции*»; смело вторит цветаевскому лексическому набору и выверенному ритму, что концептуально абсолютно оправдано срезом эпохи и сходством судеб М.М. и М.Ц. — «Укус с желчью — древнейшая анестезия — не отменит Голгоф!» О влиянии на нее Цветаевой Тамара Александровна писала в эссе

* Жирмунская Т. Никто не прав, никто не виноват. Избранное. М.: Вест-Консалтинг, 2020. С. 291.

** Кузьмичев И. Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование // Звезда. 2012. https://4italka.su/dokumentalnaya_literatura_main/biografi_i_memuaryi/435427/fulltext.htm.

об И.Г. Эренбурге: «В некоторых моих стихах и отвергнутой им поэме Эренбург уловил нечто цветаевское. Это не удивительно. Люблю ее, увлекаюсь ею, многое знаю наизусть. Удивительно другое: он не видит во мне подражательницу Цветаевой, которых развелось видимо-невидимо. Причем обоюбого пола. Цветаевские приемы, по его наблюдению, я использую не формально, а подтверждаю собственным сердцебиением. — Она была не-вы-но-си-мым человеком, — по слогам, с очень личной интонацией, наконец, произносит он... — Но о-чень большим поэтом»*.

Взаимодействие Тамары с поэтическими традициями и золотого века, и русского модернизма заключалось в непрерывном изучении опыта прошлого, в стремлении брать новые высоты, она и в жизни ходила устремленной вверх, ее лицо было «опрокинуто к небу», но ее вертикаль была не самодовольной, а пытливо высматривающей детали бытия и как бы ждущей подсказки от предшественников; в эссе, посвященном в том числе Вяч. Иванову, она говорила именно об этом процессе: «Один из неписанных законов интеллектуальной жизни: когда мы всерьез чем-то или кем-то заинтересовались, где-то там, наверху, открывается некий клапан, и к нам начинает поступать свежая, иногда избыточная, но чаще необходимая информация»**. Практически каждой части поэмы предшествуют эпитафии — от строк Александра Блока о юной Кузьминой-Караваевой, одной из его истовых поклонниц, до фрагментов Евангелия от Матфея. Последний же эпитаграф к четырнадцатой части взят из воспоминаний С.В. Носович, узницы концлагеря Равенсбрюк. Таким образом, Жирмунская прошла весь крестный путь русской поэтессы — монахини — мученицы XX века, канонизированной Константинополем и до сих пор мало признанной на родине... Мы приводим здесь первую и четвертую части поэмы, дабы зажечь читательский интерес прочесть ее целиком:

* *Жирмунская Т.* «...Не хочу расстраивать и расстраиваться...». Воспоминания об Илье Эренбурге // Дети Ра. 2011. №12 (86), <https://reading-hall.ru/publication.php?id=3855>

** *Жирмунская Т.* Ум ищет божества: «Я посох мой доверил Богу...» <https://tamara-zhirmunskaya.imwerden-net.de/Posoch.html>

I

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая...

А. Блок. 1908 г.

Я возвращаюсь с прогулки, на лестнице сидит Кузьмина-Караваева. (...) Она просидела на лестнице 3 часа, да у меня почти до 5 часов утра. Разговор все о том же: о пути и о власти (и об «очереди» и «сроке»).

Я очень устал.

А. Блок. Записные книжки. 1916 г.

А не надо ходить по живым и красивым поэтам — лучше Тютчева чтить!

Ты остался вдали, ты смешался с весенним рассветом,
ты растаял почти.

Мой поэт, эти руки хранят еще запах металла:

на перилах твоих

я чугунные струны перебирала,

я играла на них.

«Что?» — ты спросишь. Небесную увертюру
к вечной опере «Он и она».

Он — великий поэт, а она в него сдуру влюблена.

До любви ли теперь? Все другим обуяны, сыты-пьяны войной.

Если держит держава сокрытыми раны,

брызнет гной

на тебя, на меня — вижу это воочью.

Помнишь, кто-то поднес

распятому напиток? От укуса с желчью отказался Христос.

Не такую ли поску готовит России сонм бескрылых богов?

Укус с желчью — древнейшая анестезия —

не отменит Голгоф!

Сроки скрыты от нас, неизвестны извивы

и провалы пути,

знаем только, что нету альтернативы: мраком к свету брести...

Засидевшись в гостях, в тихий час предрассветный

я заметила вдруг

над висками твоими размытый двухцветный ало-пепельный круг.

Почему ты смутился, меня провожая, почему попросил

проходить Офицерской, тебя ограждая

от неведомых сил?

Я не помню лица отстраненной и строже.
Ты боишься — чего?
Или прав Рудольф Штейнер, и творчество — то же
бесовство?
Кто же будет ведущим, кто же будет ведомым,
как ту власть превозмочь?
Желто-красен восход за твоим серым домом. Кровь? Гной?
Желчь?
Положи мне на плечи, как давеча, крылья голубые свои,
чтобы силу сумела извлечь из бессилья
и Любовь — из любви.
Ты пленился девчонкой, никем не любимой, — маков цвет.
Мне ж пылать купиною неопалимой, мой поэт.

И вот часть поэмы без эпиграфа:

IV

Россия осталась во мгле
на закланной земле.
Россия осталась без нас
в свой мистический час.

Данила, зачем мы уехали?
Странный вопрос. Забыла Анапу?
Спасибо, что ноги унес.
Анапу я помню:
и волны, и берег, и твой порыв объявить меня
чуть ли не Жанной святой.
Тебя бы казнили.
За что?
Объяснить не берусь. Нож ищет, где плоть,
и тепло, и колотится пульс.
Так я же была *головой*.
Кто на «ты», кто на «вы»,
но власть — у меня.
Голове не сносить головы;
Не белым, так красным попалась бы точно на зуб.

Протапов* мне верил
и был мне по-своему люб.
Протапов твой — чудик,
а чудики судят чудно.
Погубят себя
и Россию с собой заодно. Ложись, ты устала.
Ту жизнь все равно не вернем.
Мне завтра шоферить.
Как русский, так спит за рулем.
Ты мне дорога.
Ты и дети — мой главный маршрут.
А волны и берег —
все это в избытке и тут.

«Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей, к тихому пристанищу Твоему притек...» *Волны и берег...* Море суеты, затопляющее нас всех выше головы... но *житейское* по обыкновению не поглощает поэта: однажды Тамара Жирмунская вынырнула из глубин отчаяния, прибившись к «берегам» обетования в Новой Деревне... И сколько бы воды судьбы не относили ее потом в разные части света, ветер благодати веял на нее из золотой осени Подмосковья. Поэтому ее «Мать Мария» — это и отец Александр Мень, это воплощение его завета, записанного Жирмунской в дневнике 1990 года: *«Крест Христов не просто знак, который мы носим. Это — полная отдача себя»*.

АННА КУЗНЕЦОВА

*Выдержки из
Дневника Т.А. Жирмунской
предоставлены ее дочерью
А.П. Сиркес (Мясниковой),
публикуются впервые.*

* Протапов — в 1918 году председатель Анапского ревкома, большевик

Надгробное слово на отпевании Михаила Соллогуба

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья во Христе!

Наш друг Мишель, Миша, упокоился во Господе в день Рождества Пресвятой Богородицы. Мы хороним его накануне праздника Воздвижения Креста Господня. Эти два праздника окрашивают начало литургического года большим духовным напряжением. Богородица, Дева Мария, открывает нам божественную любовь, глубокую связанность Господа с каждым человеком и Его человеческую природу, в то время как Крест напоминает нам о трагедии нашей земной жизни, но одновременно и о нашей вере в Воскресение Христово. Крест открывает нам путь к жизни вечной.

Мишель поистине был нашим другом, мы все знаем это, и каждый из нас особенно чувствует это сегодня. Эта способность создавать глубокие и длительные дружеские связи была одной из отличительных черт Мишеля. Он любил жизнь, принимал другого, каким бы тот ни был, и отношения с Мишелем налаживались легко, всегда в радости и на глубине. Я верю, что это качество Мишеля — не просто черта его характера, оно вытекает из чтения Евангелия и жизни по нему и из выполнения заповедей Божиих. Мишель часто говорил о насущной необходимости дополнять таинство причастия таинством брата. Многочисленные слова соболезнования, которые мы получаем в эти дни из разных уголков, свидетельствуют о реальных и крепких узах дружбы с Мишелем.

Другая черта, очень характерная для Мишеля, которую он также почерпнул в Евангелии, — смысл служения. Пример Христа, нашего Господа и нашего смиренного Слуги, был для Мишеля постоянным руководством к действию. Мишель был человеком, готовым брать на себя новые обязательства, готовым служить, по слову и в духе Евангелия. Примеров этому множество, они приведены в прекрасном тексте, опубликованном его детьми и племянниками на сайте Русского христианского движения АСЕР-МЮ. Все эти примеры свидетельствуют, что Мишель был истинным слугой Господа, его Церкви и, следовательно, служил людям.

Верный духу основателей Архиепископии, Мишель воплощает видение православия, укорененного в традиции Церкви, соборной, открытой и творческой, свободной и не зависимой от какой бы то ни было политической власти, превосходящей национальное. Он верил в необходимость работы над созданием поместной Православной Церкви.

Его путь также был определен встречами с личностями, с которыми мы все знакомы, но которых Мишель знал близко, благодаря и своей деятельности и внутри нее. Это, конечно, Оливье Клеман, который упоминает о «своем друге Мишеле» в автобиографическом произведении «Другое Солнце». И столько других, столь важных для Мишеля, — таких как отец Александр Шмеман, отец Борис Бобринский, отец Александр Ельчанинов, Александр Викторов, Иван Морозов, — всех не перечислить.

На пути к поставленной цели Мишель использовал всю богатую палитру своих качеств. Благодаря тонкому анализу ситуаций, красноречию и яркому слогу, он брал на себя важную, ответственную работу в начатом деле. И если его не всегда выбирали Президентом, то только потому, что нужен же был и Секретарь! Поэтому часто и пожилые, и молодые соратники Мишеля считали его тем человеком, который был надежным помощником для всех. И служба его была непрестанной! Мишель был неутомимым работником, его многочисленные заботы поглощали его целиком, нередко в ущерб семейной жизни.

В семье Мишеля окружала заботой и поддерживала с терпением и любовью его первая супруга Екатерина, Катя, с которой у него было четверо детей: Матфей, Иван, Мария и Марк. Смерть Кати, еще молодой, была большой болью для Мишеля и его детей. После этого Брижитт, его вторая супруга, поддерживала Мишеля в его последних занятиях, в частности, в работе ассоциации Монгольфьер, ассоциации помощи беженцам. Брижитт поддерживала Мишеля и в течение многих месяцев, когда болезнь постепенно лишала его возможностей деятельности, однако, не лишив его при этом сознания и реального присутствия среди близких. Почти до последних дней, уже не в силах больше сказать пары слов, Мишель выражал дружеские знаки окружающим. В такие особые минуты, когда общение с человеком становится

столь тонким, деликатным и особенно ценным, Мишель вспоминал забытые слова и предавался воспоминаниям, пробужденным благодаря пению собравшихся друзей. Его чудная, немного лукавая улыбка и его светящийся взгляд вновь осеняли его лицо и наполняли всех радостью.

Свои последние годы Мишель действительно очень страдал, но никогда не жаловался. Это принятие страдания можно понять только как веру и отдавание себя Промыслу Божию.

Благодаря физической и духовной силе Брижитт, с помощью его детей и детей Брижитт, Мишель окончил свои дни в доме, где они прожили с ней вместе несколько лет. В окружении близких и обретенном покое Брижитт с тихими слезами закрыла глаза Мишеля.

Слава Господу! И Вечная память!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Аминь.

Священник ПЕТР РЕБИНДЕР

*Перевод с французского
Светланы Дубровиной*

Памяти Михаила Соллогуба

Вот ещё одно имя из заздравного поминовения перешло в заупокойное. Ушел в вечность мой дорогой и близкий друг Михаил Андреевич Соллогуб. Он угас, после тяжелой болезни, то ли Альцгеймер, то ли Паркинсон, не знаю. Эти болезни именуют старческими, но Миша вовсе не был дряхлым стариком. Болезнь настигла его рано. Вскоре после 70 лет. Последние годы он провел в инвалидной коляске, почти потеряв речь, но ясность ума и слух сохранил вполне. Мне невозможно было навестить его во Франции, и его старшая дочь Маша устраивала для нас «мосты» по видеосвязи. Видеть старого друга в таком состоянии было нелегко, но на мои приветствия он неизменно улыбался все той же его тонкой и чуть насмешливой улыбкой и, собирая все силы, старался сказать хотя бы одно-два приветливых слова. Иногда это получалось. Он просил, чтобы для него читали русские книги — Чехова, Бунина, его деда — Бориса Зайцева. Чтение хорошей русской прозы стало главной радостью последних лет его жизни. И еще — встречи с друзьями. Многие приезжали к нему в Бальм. Со мной, увы, был только телемост.

Мы познакомились в начале апреля 1997 года на конференции фонда Аньелли в Турине. Конференция была посвящена перспективам возрождения русской церкви. Тогда они казались совершенно положительными. Мир католической церкви и русская старая эмиграция равно ждали, что через веру и церковь возродится и преобразится русский народ и из большевицко-чекистского чудовища Россия станет обычной европейской страной. Так верили почти все, так верил тогда и я. Миша в это не верил. Хотел верить, слушал мои силлогизмы, улыбался своей тонкой и горькой улыбкой и молчал.

В то время он уже был прославленным европейским ученым, профессором Сорбонны 1, директором европейской лаборатории экономики труда. Но он же был и выдающимся церковным деятелем, главным мотором создания Автокефальной православной церкви Западной Европы, одним из руководителей Западноевропейского экзархата.

Довольно скоро Михаил Андреевич предложил мне перейти с ним на ты и обращаться по имени. Поэтому я позволю и сейчас называть его — Миша. Так мне привычней.

В ту встречу в Турине он сразу заметил сходство моих шуток с шутками теперь уже покойного Андрея Бессмертного, друга моего детства и юности. Оказывается, они познакомились в начале 1990-х, когда Миша искал возможности диалога с русским обществом в России, с русской церковью на родине.

Мне было странно увидеть в этом рафинированном французском интеллектуале русского человека. Миша был первым моим близким другом в старой эмиграции. Но через два-три часа общения иллюзия иностранности исчезла полностью. Передо мной был, со мной говорил русский человек, человек из той России, которой уж нет, но которая вся в нем, несмотря на легчайший галльский акцент его русской изысканной речи.

Мы говорили о России и эмиграции, вспоминали картинки нашего прошлого, наших предков и собственную юность — и похожую, как у всех молодых, и несходную до разительности в его свободном и безучастном к России, и в нашем, еще так недавно тираническом мире, превратившем любимую страну в оскопляющий серп и крушащий все живое молот.

Мы не могли расстаться, как влюбленные. Конференция пронеслась стороной и завершилась экскурсией в Туринский собор. Мы молились у дорогой византийской раки, скрывавшей Плащаницу, а потом решили сразу не расставаться, а поехать вместе во Флоренцию и погостить у его подруги юности — Анны Воронцовой-Тури, старосты тамошней русской церкви.

Я уже знал, что в сердце Миши огромное горе: за четыре года до нашей встречи он потерял — Екатерину Михайловну, урожденную Лопухину. Екатерина Михайловна умерла в 47 лет, оставив Мише пятерых детей. Он вспоминал об утрате своей так, как будто случилась она не четыре года, а четыре месяца назад. Когда в Санта-Мария-Нуова мы смотрели на прозрачные в легкости красок фрески Мазаччо, он сказал мне, как будто между прочим: «Мы были здесь с Катей в свадебном путешествии и не могли оторваться от этих картин».

Придя к Анне Воронцовой, мы из телевизора узнали, что горит тот самый Туринский собор, в котором мы были утром. Тот день был 11 апреля 1997.

Вспоминать все о нашей дружбе — значит написать книгу. И все же еще несколько фрагментов.

Прекрасно осознав уже к середине 1990-х, что России до нормальности и избавления от советскости, как до неба, в том числе и русской церкви, Миша согласился тем не менее стать профессором Высшей школы экономики, чтобы просто быть с больной своей родиной и, кто знает, хотя бы чуть подвинуть ее к нормальности. Думаю, он «подвинул» многих, подвинул, надеюсь, и меня. Ему совсем нелегки были эти частые визиты, и все же он совершал их с последовательностью и регулярностью, хотя ему, европейскому экономическому светилу, они ничего не давали в смысле банальной карьеры.

За работу в Сорбонне Миша не держался, и когда по возрасту ему можно было выйти на пенсию в 67, он сделал это без колебаний, отказавшись от предложенной администрацией возможности продлить контракт еще на два года ввиду его исключительных научных заслуг.

А вот с Россией, в том числе и с «Вышкой» он не расставался до последней возможности. Хотя и тут возможностей становилось все меньше — и из-за болезни, и из-за политики. В 2015 году Миша подписал письмо группы русских старых эмигрантов, осудивших агрессию в Украине. После этого для российских властей он стал не мил.

Со временем я понял, что Миша полностью и всецело ощущал себя именно русским человеком и именно в послании и миссии к миру и России. Он без устали читал лекции не только об экономике труда, но и о русской литературе, русской церкви, показывая без всякого нажима, самым своим жестом, интонацией, течением мысли, что есть Россия.

Он любил и ценил завещанные от предков традиции, в том числе и традиции веселых застолий и патриотических песен.

Помню, как мы с ним поехали как-то в Ахтырку, имение его предков князей Трубецких. Долго разыскивали следы барского дома, где так часто собирались в начале XX века лучшие умы России, и нашли только убогие клетушки, построенные на фундаментах сожженного дома. Но по деревне пронеслась

весть: «Барин приехал!». Пожилые простые женщины и молодые не вполне трезвые мужики наперебой стали звать Мишу к себе, угощать водкой и огурчиком, наполнили весь багажник «Жигулей» плодами своих незамысловатых огородов. Кто-то пытался всучить Мише двух ежей, тут же пойманных, а кто-то, и это было уже серьезней и трагичней — обгоревшие куски старых кирпичей из фундаментов родового гнезда. Один из таких обломков Миша долго хранил в Москве на своем письменном столе.

А вот на обратном пути из Ахтырки в Москву, стоя в бесконечных пробках на Ярославском шоссе, Миша приятным своим баритоном пел неслыханные нами песни о сибирских стрелках, отстоявших в 1914 году Варшаву. Песни, от которых и следа не осталось в подсоветской России. — «Из тайги, тайги дремучей, от Амура от реки, молчаливо, грозной тучей, шли на бой сибиряки». Эту песню, кстати, написал дядя Гиляй.

А на застольях, немного захмелев, он любил песню о серебряной чарке, в которой столько усов побывало. И объяснял, что чарку такую полагается пить до дна с клинка сабли, обходя кругом бравых усачей и наполняя чарочку снова и снова. — «Сей кубок старинный, он видел немало пиров»... Серебряная чарка нашлась, нашелся и какой-то клинок, и Миша лихо показал нам, как это делается, хотя таких усов, которые бы окунались в чарку, не нашлось ни у него, ни у нас. Миша руководил какое-то время Русским студенческим христианским движением и Земгором, ставшим в эмиграции благотворительной организацией. Когда-то он воспитывал русских скаутов и с особой, навсегда оставшейся у меня в памяти интонацией, провозглашал, чуть-чуть скороговоркой, их девиз: «За Русь, за веру!»

О своих взглядах и принципах говорил Миша неохотно. Но помню, как-то раз мы ему постелили на даче и, поскольку он попросил изголовье повыше, подложили старую декоративную подушку. Было улегшись, Миша вернулся к нам уже в пижаме и сказал, что на такой подушке он спать не будет — подушка была с вышитым на ней гербом РСФСР. Пришлось искать другую, с куртуазным кавалером, подающем руку даме, выходящей из кареты. Происхождение обеих этих подушек на нашей даче остается загадкой для меня до сего дня. Но в

отношении советчины Миша был по серьезному принципиален.

А вот бытовые неудобства переносил легко. Помню, как он попросил разрешения приехать к нам на старую дачу с новой женой, француженкой Брижит. «Миша, — сказал я, — ты ведь знаешь, что современных удобств у нас на даче нет. — Это чепуха, — ответил он, — когда Брижит была девочкой, в ее Савойской деревне их тоже не было». И мы в тот раз провели несколько прекрасных дней на нашей старой Абрамцевской даче без удобств.

Кстати, о втором браке Миши. Когда умер архиепископ, возглавлявший Русский экзархат в Париже, многие предлагали вдовцу Михаилу Соллогубу, как когда-то было в Византии, принять монашеский постриг, пройти по степеням и возглавить епархию. Другого подходящего кандидата из русской эмиграции не было. Миша колебался, советовался, в том числе и со мной. Епископство обещало быть очень трудным — борьбу и с Москвой, и с Константинополем за создание Европейской автокефальной церкви. Я не был уверен в том, что такая юрисдикция нужна. И прямо об этом говорил Мише. Он возражал, но, как и другие эмигранты, умел слушать собеседника и понимать его. Но в чем я был совершенно уверен, так это в том, что лучшего архиерея, чем Михаил, экзархату не отыскать.

Миша долго колебался, но выбрал второй брак. И этот брак, безусловно полный любви, был и подвигом. Он женился на своей ровеснице, француженке, сознательно избравшей православную веру, матери четырех детей. Брижит и закрыла Мише глаза вчера.

Мише недавно исполнилось 78. Он отошел в день Рождества Богородицы по новому стилю, которого он придерживался в Церкви, и только именины праздновал по старинке — 21 ноября.

У его кровати служили литургию, и он приобщился святых Таин.

Ушел мой друг, столь многому научивший меня и во многом сделавший меня тем, что я есть.

«Душа его во благих водворится, и память его в род и род».



ХРОНИКА



Живая история: *Парижская конференция к 100-летию Русского студенческого христианского движения*

28–29 октября 2023 в Париже, в помещении Свято-Сергиевского православного богословского института прошла конференция «От забытых страниц истории к актуальному наследию», приуроченная к 100-летию Русского студенческого христианского движения.

Открыл форум председатель РСХД профессор Кирилл Соллогуб. поприветствовав собравшихся, он напомнил, что конференция продолжает череду событий юбилейного года, таких как выставка, посвященная истории движения, и концерты движенческого хора. Выставку можно было посмотреть непосредственно в помещении проведения конференции. Вниманию зрителей предлагались ранее не публиковавшиеся редкие архивные фотографии и документы. Сразу подумалось о том, как было бы хорошо провести подобную выставку в России. В нескольких словах председатель движения емко определил значение Пшеровского съезда, послужившего отправной точкой для 100-летнего юбилея РСХД: «Целое поколение русских студентов решило посвятить себя служению Богу и Церкви. Тем самым вдохновив множество инициатив движения». В заключение своего выступления Кирилл объявил план предстоящей работы: 1-й день сессии посвящен прошлому – вопросам истории движения, 2-й – настоящему, актуальному наследию. О будущем планировалось говорить уже за рамками собственно конференции – 1 ноября.

Начать работу конференции, согласно программе, должен был протоиерей Иоанн Гейт из далекого Марселя. Но, к сожалению, он опоздал. Поэтому первым выступил молодой белорусский исследователь Андрей Строчев (Минск). Он рассказал о судьбе новомученика – священника Владимира Амбарцумова, начинавшего свою сознательную христианскую жизнь в одном из кружков еще дореволюционного РСХД, в период обучения в Московском университете.

Выступление подроспевшего о. Иоанна носило характер свидетельства о недавно ушедшем из жизни друге – Михаиле Андреевиче Соллогубе (1945–2023), которого выступающий знал как Мишу. О. Иоанн был ровесником покойного. Свое поколение он назвал «внуками первой эмиграции», т.к. уже их родители выросли не в России. Миша и о. Иоанн – крестные детей друг у друга. Главными чертами духовного облика Михаила Андреевича о. Иоанн назвал привязанность к России и верность православию. Привязанность к исторической родине Миша проявил, создав и возглавив еще в студенческие годы кружок имени Достоевского, посвященный вопросам русской культуры, и активно участвуя в театральном кружке движения, играя в спектаклях по произведениям Н.В. Гоголя и А.Н. Островского. В 1990-е Миша искренне старался содействовать европейскому выбору России, часто приезжал, преподавал в ВШЭ. Как православный христианин Миша стремился к достижению главной цели движения – «оцерковлению жизни». Он прикладывал усилия к укоренению православия во Франции. Так он, одним из первых, еще в лагере выступил с инициативой проведения богослужения на французском. Впоследствии Миша много делал для преодоления разногласий между разными православными юрисдикциями во Франции, особенно в рамках Западноевропейского православного братства. У него были многочисленные друзья, принадлежавшие к самым разным кругам. Он был способен выслушать каждого, при этом не торопясь менять собственные убеждения. О. Иоанн вспомнил одну трогательную подробность. Еще в лагере РСХД Миша получил прозвище, довольно точно выражавшее его мягкий и восприимчивый характер. Прозвище первоначально было образовано от фамилии Соллогуб – Губкин – Губка. По-французски Éponge. А так как во Франции главным производителем кухонных

губок является фирма Spontex, то это название так же послужило придумыванию прозвища – отрезали окончание *tex* и оставили созвучную *éponge* часть, получился Spons. Вот такое сложное словообразование.

Доклад, по ее собственным словам, «серийного создателя русских школ во Франции» Юлии Ребиндер, основателя и руководителя русской классической гимназии «Лукоморье» в пригороде Парижа Палезо (Palaiseau), был посвящен истории Религиозно-педагогического кабинета, созданного В.В. Зеньковским в Париже в 1927 г. Докладчица на протяжении 20 лет занимается изучением истории русской педагогики. В начале своего выступления она описала исторический контекст, в котором возник кабинет. В 1920-е в изгнании оказалось 80 000 детей и 21 000 студентов. В 1922 к ним присоединились профессора, высланные на «философском пароходе». Русские педагоги в эмиграции сразу же занялись изучением проблемы. В 1923–24 гг. при активном участии В.В. Зеньковского прошло множество педагогических конгрессов. В 1927 г. состоялась большая международная встреча по поддержке семей и детей. На этих конгрессах делались серьезные усилия по выработке методологии и систематизации материалов по педагогической работе в школе и вне школы (детско-юношеские лагеря и т.п.). Было так же принято решение создавать интернаты для детей, чьи семьи не могли поддержать их в православии. Именно в таких условиях Зеньковский создал Религиозно-педагогический кабинет, который работал вначале в помещении института на Сергиевском подворье, а позже переехал в штаб-квартиру Движения на бульваре Монпарнас. Библиотека кабинета была разделена между двумя этими адресами. Кабинет выпускал ежемесячный бюллетень и издавал множество книг. Примечательно, что вся педагогическая работа в детско-юношеском лагере движения, который успешно существует до сих пор, основывается на методологии, разработанной участниками Религиозно-педагогического кабинета во главе с В.В. Зеньковским. В основу этой работы положен принцип уважения к ребенку. По свидетельству Юлии Ребиндер, методические разработки кабинета, помогающие детям сохранить их язык и культуру, актуальны и в наши дни. Она использует их в своей работе с детьми, недавно приехавшими из России.

Следующий доклад был вновь посвящен конкретной персоне. Марина Лабрюшери рассказала о яркой жизни Аллы Матео (урожд. Гладштайн). Крещеная еврейка из Одессы, Алла окончила Сорбонну еще до Первой мировой войны. Прирожденный руководитель и организатор. В молодости в рамках семейного бизнеса заведовала рыбно-консервным производством. После революции эмигрировала в Бессарабию, с 1928 года во Франции. Предприниматель — торгует тканями. И сразу же активно участвует в жизни РСХД: руководит студенческими лагерями и иконописным отделом движения. Одна из инициаторов создания Кружка русской культуры в Париже. В 1932 году в условиях разразившегося кризиса организует ночлег для бездомных на 45 коек, ежедневно кормит обедами 450 человек, занимается трудоустройством безработных, организует юридическую помощь. Во время нацистской оккупации Парижа в 1942 г. арестована гестапо и этапирована в лагерь Дранси, а затем в Аушвиц, где приняла мученическую кончину. Эта замечательная женщина до сих пор мало известна в России, хотя она практически повторила судьбу матери Марии (Скобцовой).

Межвоенной истории РСХД в Эстонии был посвящен доклад исследовательницы из Тарту Ирины Пярт. В своем выступлении она опиралась, главным образом, на свидетельство Тамары Павловны Лаговской-Милютиной. Активная движеника, супруга Ивана Аркадьевича Лаговского, Тамара Павловна в общей сложности 13 лет отбывала наказание в местах лишения свободы после установления советской власти в Балтии. Освободившись, вернулась в Эстонию. В 1962-м в Тарту познакомилась с супругой профессора Ю.М. Лотмана, Зарой Григорьевной Минц, стала своим человеком на кафедре русского языка Тартуского университета, рассказывала сотрудникам кафедры, аспирантам и студентам о довоенном Тарту, университете. Не без ее влияния З.Г. Минц приняла христианство.

Главная особенность русской общины Эстонии заключалась в том, что значительную ее часть составляли не менявшие своего постоянного места жительства русские крестьяне, оказавшиеся на территории нового независимого государства в результате разрушения Российской империи. Так же среди русского населения велика была доля чинов Северо-Западной белой армии генерала Н.Н. Юденича. Все эти люди попали в трудную жизненную ситуацию, для которой были характерны

следующие обстоятельства: юридическое бесправие (например, Лаговский смог получить эстонское гражданство в 1928 только благодаря браку с Тамарой Павловной) и социально-экономическое унижение. И как следствие — масштабное моральное падение: пьянство, разврат, люмпенизация, высокий уровень преступности, слабая интеграция в жизнь страны. В этих условиях особое значение имела деятельность церкви и, соответственно, движения. Чета Лаговских была душой тартуского кружка РСХД. Определение, данное Ириной Пярт, сущности этого объединения, можно распространить на все движение. Она сформулировала его так: «религиозность, основанная на образованности». Главными характеристиками жизни кружка, по свидетельству Тамары Павловны, были поэзия, любовь и уважение. Благодаря, прежде всего, активной деятельности И.А. Лаговского, Н.Н. Пенькина и Т.Е. Дезен, было организовано порядка 100–150 кружков — помимо Тарту, еще в Нарве, Печорах, Таллине и других населенных пунктах. Только на территории Печорского края кружки существовали в 78 деревнях. Традиционно основными формами работы были кружки, съезды и летние лагеря. Движение не было жестко централизовано. Два раза в год руководители кружков собирались в Таллине для координации своей деятельности. Движение играло большую роль в повышении культурного уровня местного русского населения. Это была, по выражению докладчицы, открытая (не националистическая) русская культура. Движенцы стремились утвердить в качестве нормы церковной жизни регулярное посещение церковных служб, частую исповедь и причастие. В послевоенной советской Прибалтике невозможно было существование Движения как организации, но выжившие движенцы, такие как Тамара Павловна Милютинина в Эстонии и Борис Владимирович Плюханов в Латвии продолжали влиять на православное духовенство и на интеллигенцию. Ярким свидетельством этого является, например, эссе О.А. Седаковой «Путешествие в Тарту и обратно».

Дмитрий Лукашевич из Варшавы рассказал о жизни и личности духовной дочери о. Сергия Булгакова, известной движенки, крупного ученого-астронома Елены Ивановны Казимирчак-Полонской. Дмитрий собирает материалы для ее канонизации в Польской православной церкви. Он дал послушать редкую аудиозапись голоса Елены Ивановны.

Наталья Пашкеева (Париж) посвятила свой доклад Густаву Кульману, основываясь на материалах женеvского архива Всемирной ассоциации христианских студентов. Кульман был, пожалуй, одним из наиболее последовательных и бескомпромиссных защитников русских православных эмигрантов, помогая им отстаивать перед руководством ассоциации свою религиозную идентичность. Он убеждал своих корреспондентов из руководства ассоциации, что Христос для православных не менее ключевая фигура, чем для протестантов; настойчиво поддерживал финансирование ассоциацией журнала «Путь» и старался отстоять решения Пшеровского съезда, разъясняя, почему РСХД должно быть православным.

О РСХД в период Второй мировой войны и послевоенном возрождении говорил Кирилл Соллогуб. После начала войны движение пережило несколько волн арестов. Первая – после заключения пакта Молотова–Риббентропа. В эту волну попал В.В. Зеньковский. Сорок дней проведенные в заключении укрепили его в решимости принять священнический сан. Вторая – после 22 июня 1941 года. В эту волну угодил Лев Александрович Зандер. Официально движение, как и многие другие общественные организации, было распущено немецкими оккупационными властями. Но приход движения на улице Оливье де Серр 91 имел возможность продолжать свою работу. Хотя немцы и наведывались в него с целью выявления нелояльных элементов. Благодаря приходу продолжалась деятельность движения: проводились культурные мероприятия, сборы (вместо лагеря и съездов), собирались теплые вещи для детей из лагеря движения, которые не могли вернуться домой из-за войны. Движение помогало окормлению русских военнослужащих французской армии.

Тема послевоенного возрождения движения была представлена Кириллом на конкретном примере жизни и личности Вигена Арамовича Нерсеяна (1909–1982), который познакомился с РСХД через кружок Владимира Слепяна в Берлине в 1922. Этот кружок работал на скаутских принципах. После выхода из Движения Н.Ф. Федорова в 1934 году именно Слепян возглавил детскую работу РСХД. В 1945 году арестован сотрудниками НКВД в Берлине и погиб в ссылке. Нерсеян с 1939 года во Франции, во время войны участвует в Сопротивлении, в составе сети «Марко Поло» – собирает

и передает союзникам секретную информацию о немецких войсках, помогает военнопленным бежать в Испанию. Когда враги выходят на его след, сам бежит в Испанию. За участие в движении Сопротивления награжден орденом Французской республики. Виген Нерсесян был начальником лагеря движения в трудные послевоенные годы (с 1946 по 1947). Ницета, потеря нравственных ориентиров – вот, что характеризовало жизнь тогдашних подростков. И Вигену приходилось возвращать их к нормальной жизни. По словам воспитанницы Вигена Нины Георгиевны Можайской, то, что делал Виген Нерсесян, можно кратко назвать «ненавязчивым воцерковлением». При всей строгости он всегда уважал свободу детей. И им хотелось быть похожими на старших.

Тема послевоенного возрождения была продолжена главным редактором журнала «Вестник РХД» Татьяной Викторовой в докладе об Иване Васильевиче Морозове. Крестьянский сын из бедной семьи Печорского края Псковщины впервые встретился с РСХД на школьной скамье. И эта встреча определила всю его дальнейшую судьбу: движение стало его жизнью. Поступив в 1938 году в Свято-Сергиевский институт, он мечтал после окончания вернуться на родину. Обеспечивал себя сам, зарабатывая на жизнь тяжелым физическим трудом грузчика. В институте интересовался проблемами свободы творчества. Блестяще защитил диплом. Война помешала возвращению домой. Остался в Париже. Стал церковным чтецом. Женился. В браке родилось трое детей: сын и две дочери. Сан не принял. Работал в РСХД. Генеральный секретарь движения на протяжении 20 лет. Собирал кружки, съезды движения (обычно более 250 человек), организовывал и проводил лагерь. Рассматривал лагерь как живой опыт оцерковления жизни и лабораторию для осуществления христианских принципов жизни. Христианство для него было, прежде всего, соучастием в радости. Занимался устройством лагерной и движенческой церковью, хором, проповедовал по благословию настоятеля о. Алексея Князева. Человек творческий и разносторонний Иван Васильевич участвовал в постановках театрального кружка. В 1949–1970 гг. был главным редактором журнала «Вестник РСХД». С 1961 директор издательства YMCA-Press. Публиковал подсоветских авторов: А.И. Солженицына, М.А. Булгакова, А.П. Платонова.

«Одним словом — эмоционально воскликнула Татьяна, — воплощенное христианство!» Однако эта многообразная и деятельная жизнь измотала его. Также подорвала силы невозможность вернуться на родину. Он так никогда и не выучил, как следует, французский язык и не интегрировался во французское общество. Страшным ударом для Ивана Васильевича стала и смерть его ближайшего друга Бориса Юльевича Физа. Всё это вместе привело к преждевременной трагической гибели И.В. Морозова 6 ноября 1978 года. О. Алексей Князев и о. Александр Киселев оставили о нем свои воспоминания. Для него всегда найдётся место в истории РСХД.

О значительной во всех смыслах этого слова фигуре рассказал о. Даниил Кабаньолс. Героем его повествования стал Юрий Игоревич Демидов (1903–1960). Добрый великан и регбист, работавший одно время грузчиком. Он в 40 лет стал студентом Свято-Сергиевского института. Трудился воспитателем в иезуитском колледже святого Георгия в Медоне. Дружил с таким активным экуменистом, как о. Илья Мелия. Юрий Игоревич был настоящим свидетелем православия среди католиков. Всё свободное время отдавал движению. Активный член Совета РСХД, много ездил с различными поручениями. Незаменимый помощник начальника лагеря. Умел удерживать внимание молодых людей. Выпускал стенгазету. Учил мастерить поделки из папье-маше. Ребята ласково звали его «Ёё». Очень любил стихи и умел этой любовью заражать других. Так, он вдохновил юную ещё Елену Клепинину заняться творчеством Блока, чем определил ее дальнейшую судьбу. Она стала филологом-русистом. Если описать личность Юрия Игоревича буквально в двух словах, то, по мнению о. Даниила, его можно назвать рыцарем православия.

После обеденного перерыва сессию открыл доклад Барбары Мартин — швейцарки, проживающей в России. Специалист по истории диссидентского движения в СССР Барбара рассказала о связях диссидентов с РСХД. В 1961 году Советский Союз посетил один из руководителей движения Кирилл Ельчанинов. Он работал переводчиком в отделе философии французской выставки в Москве. Кирилл Александрович увидел невероятную духовную жажду советских людей. По итогам этой поездки им при поддержке РСХД была создана организация «Помощь верующим в

СССР». Различными путями организация наладила поставку целого потока духовной литературы за железный занавес. Интересно, что это были не только христианские книги, но и, к примеру, Коран. Отчеты о деятельности организации регулярно печатались в специальном бюллетене. «Помощь» активно поддерживала диссидентов: Владимира Пореша, Александра Огородникова, Татьяну Горичеву и Юлию Вознесенскую. Так, за освобождение Огородникова было собрано 134 тысячи подписей. Второй формой работы РСХД, направленной на СССР, было издание журнала «Вестник РСХД». С 97-го номера начинается постепенное преобразование «Вестника». В этом номере под псевдонимами Горский, Челнов, Алтаев печатаются авторы из СССР — соответственно Барабанов, Меерсон и Кормер. Публикуются письма из Советского Союза. Меняется название журнала на «Вестник РХД». Главный редактор Н.А. Струве объявляет о том, что журнал перестает быть органом РСХД. Хотя это не означало разрыва с Движением. С этого времени большинство авторов составляют люди из СССР или недавние эмигранты.

«Апостол Бретани», о. Петр Чеснаков стал героем рассказа Софии Морозовой (дочери Ивана Васильевича Морозова). Он родился в Берлине в 1920, одноклассник Александра Шмемана и Николая Репнина по Русскому кадетскому корпусу в Версале. Рано повзрослел — в 19 лет уже зарабатывал, кормил родителей, одновременно обучаясь в Специальной школе механики. Затем работал инженером, по вечерам занимаясь в Свято-Сергиевском институте. Женился, принял сан. Одним из первых стал служить на французском языке. Служил с открытыми царскими вратами, читал тайные молитвы вслух, практиковал частое причащение. Вместе с женой жил на ферме, которую они сами восстановили. Отреставрировал часовню. Работал с о. Владимиром Ягелло. Овдовев, переехал на постоянное место жительства в Бретань. Был разъездным священником. Создал в Бретани несколько общин, приходов и группу Западноевропейского братства. Поощрял активность мирян. Опирался на них в своей пастырской работе. Умел вдохновлять. Многие с его помощью стали священниками. Перевел на французский и издал «Путь моей жизни» митрополита Евлогия и «За жизнь мира» о. Александра Шмемана. Дружил с семьей И.В. Морозова.

Отпевали о. Петра в построенной им часовне. Похоронен на Сент-Женевьев-де-Буа. По свидетельству о. Иоанна Гейта, после смерти жены о. Петру настойчиво предлагали стать епископом, но он твердо отклонил это предложение, сказав: «Я никогда не сниму свое обручальное кольцо».

Доклад Александра Викторова можно назвать венком на могилу двух безвременно ушедших в молодом возрасте движенцев: Михаила Краевича и Николая Розеншильда. Оба потомственные движенцы – их родители тоже были членами РСХД. Мать Николай – начальница девичьей дружины. Михаил учился в одном из самых престижных средних учебных заведений Франции – лицее Генриха IV. Хорошо пел и рисовал. Алтарничал на Сергиевском подворье. Пел в хоре движенского прихода. Главным его качеством было умение устраивать глубокие личные отношения со всеми. Сорвался со скалы во время 6-дневного похода. Скончался перед парадом, на котором ему посмертно было присвоено звание старшего дружинника. Николай активно участвовал в жизни лагеря: был руководителем, шофером, врачом, начальником. В общем, помогал, где требуется. Хороший организатор больших детских коллективов и праздников. 4 июля 1989 года провел большое фондю на 200 персон. Вместе с Александром возглавил поход на гору Гран-Пик-де-Бельдон (около 3000 м) для 101-го человека. Сильно оживило рассказ Александра воспоминание про «банду четырех» – компанию молодых тогда руководителей: Николай Розеншильд, Петр Соллогуб, Алексей Архипов и Никита Лодыженский. Общей чертой компании был юмор. Их многочисленные проделки веселили детей и руководителей, но доставляли беспокойство начальнику лагеря, которым был Александр Викторов. По его свидетельству, порой для него их выходки были настоящим адом. Николай погиб в автомобильной катастрофе на 4-й день самой первой смены летнего лагеря в Серважере летом 1989. Похоронен в Кламаре. В лагере есть скамейка его памяти. Она пользуется большой популярностью, т.к. там «ловит» Интернет. Завершая свое слово, Александр попросил всех, кто так любит проводить время в этом месте, помнить о Николае.

Настоящую историю любви «детей РСХД», Сергея и Татьяны Морозовых, поведал Матфей Соллогуб. Сергей – сын Ивана Васильевича Морозова. Как и многие движенцы,

они познакомились в лагере. Оба студенты. Он изучал философию, она — медицину. Татьяна (Татуся) (урожд. Лодыженская) рано ушла от родителей и жила в доме о. Петра Струве. После свадьбы в 1971 молодожены снимали квартирку из двух крохотных комнаток в мансарде. Сергей преподавал философию в Свято-Сергиевском институте, Татуся работала в поликлинике. Жаждавшие самореализации и горячие идеей помощи обездоленным, молодые романтики отправляются в Сенегал. В Дакаре она добивается приема у министра здравоохранения и предлагает свои услуги. Ответа приходится ждать год. Отлучиться нельзя. Все это время они абсолютно без средств к существованию проводят в Дакаре. Затем их отправляют в самый отдаленный уголок страны. Там Татуся становится единственным врачом в местной больнице. Сергей помогает и сотрудничает с Amnesty international. Местные жители просто боготворят необыкновенную француженку. Одна семья даже официально удочеряет ее. Татьяна постоянно требует улучшения санитарных условий, посещает тюрьму. Это приводит к конфликту с министром здравоохранения. Под предлогом связи с Amnesty international выдворяют из страны Сергея. Татусю от высылки спасает удочерение... Проведя три года без Сергея в Сенегале, она возвращается во Францию. Здесь Татьяна продолжает заботиться о самых обездоленных — беженцах из черной Африки. Знакомится с социальными работниками. Вместе с ними, по ее инициативе и при ее активном участии создается ассоциация «Монгольфьер», существующая до сих пор. Эта организация возвращает беженцам право на существование. Татуся особенно настойчивые усилия прилагает к тому, чтобы беженцы получали свободный доступ к врачу. Она заботится о каждом подопечном, не уставая всякий раз объяснять чиновникам, почему тот или иной конкретный человек заслуживает права на убежище. В своей деятельности за возвращение человеческого достоинства Татьяна неизменно опирается на твердую поддержку Сергея. Они были настоящими воинами Христовыми. Их любовь проходит сквозь все испытания и завершается как в сказке почти одновременно, в один год. Сергей уходит на пасху 2011 года, спустя 4 месяца умирает Татьяна. В настоящее время дело Татьяны Морозовой продолжает движенец о. Петр Ребиндер.

В конце напряженного рабочего дня с докладами выступили гости: Жерар Тестар (Париж) и Кевин Бонвэн (Женева). Господин Тестар — глава католического движения «Эфесия», активный участник движения «Вместе за Европу» и друг Кирилла Соллогуба. Он говорил о роли мирянских движений в католической церкви сегодня и о встающих проблемах. С одной стороны, епископы настороженно относятся к движениям. Настороженность вызывает противоречие между этой относительно новой формой церковной жизни, родившейся «снизу», в народе, а не по инициативе иерархии, и уже существующими формами. Обычно епископы считают, что все возможные формы церковной жизни уже нашли своё воплощение в церковной практике. И, как доверительно поведал один из них Тестару: «Если что-то новое было бы возможно, мы бы сами его нашли». С другой стороны, определенную трудность представляет максимализм самих новых движений зачастую уверенных, что вот прямо сейчас они изменяют *всю* церковь.

Особенный интерес представляют критерии церковности движения, которые выделил докладчик:

— новая личная встреча со Христом, связанная с обновлением веры и чувством причастности к Церкви;

— проповедь в общественном пространстве. Важно, чтобы она основывалась на Евангелии и была бы богословски фундирована и выверена. Иначе она будет иметь только чисто эмоциональное воздействие и не приведет к обновлению убеждений;

— соборность;

— память о том, что движение, в отличие от Церкви, не основывается раз и навсегда.

Кевин Бонвэн, опираясь в своем выступлении на диссертацию по истории РСХД, которую он защитил в Женевском университете. Он обратил внимание на напряжение, существовавшее между YMCA и РСХД. Отказ движения от интерконфессионализма после выхода В.Ф. Марцинковского вызывал недовольство протестантов из руководства Ассоциации. Однако и в руководстве YMCA нашлись такие люди как Ральф Роллингер и Рут Рауз, которые выступили в качестве посредников, защищая, с одной стороны, право РСХД на православный характер своих кружков, а, с другой, поощряя диалог православных с протестантами. Конгресс YMCA в

Ньюборге (Дания) разрешил РСХД оставаться православным. При этом Ассоциация продолжала оказывать значительную финансовую помощь движению, сократившуюся только во время Великой депрессии. Интересная деталь, на которую обратил внимание докладчик. Принцип «оцерковления жизни» был провозглашен как цель Всемирной федерацией христианских студентов раньше, чем в РСХД.

Завершал первый день работы конференции круглый стол: «Опыт изгнания: взгляд поколений». В нем приняли участие: Елена Клепинина-Аржаковская, Георгий Соллогуб, Ольга Пишон (все — Франция), Саша Шарапова (Харьков), Михаил Бурмистров (Москва). Ведущий — о. Хильдо Босс (Амстердам). Участники стола поделились размышлениями и свидетельствами: одни — об эмиграции своих пра- и просто родителей, а другие — о собственном опыте недавней эмиграции. Елена Дмитриевна напомнила принцип первого поколения эмиграции «мы не в изгнании, мы в послании» и то, что это поколение — поколение ее родителей — прежде всего, искало Церковь там, где они жили. Попутно она заметила, что ее родители вряд ли познакомились бы, если бы не эмиграция: отец был из Пятигорска, а мать — из Петербурга. Ольга Пишон говорила о разрыве между поколениями. Дочь пригнобленного протопресвитера Бориса Бобринского, она выбрала протестантизм. Георгий Соллогуб, яркий представитель уже, наверное, 5-го поколения потомков эмиграции — правнук людей, выросших во Франции, свидетельствовал о том, что его, француза, русская культура продолжает волновать и трогать. Саша Шарапова и Михаил Бурмистров, недавние эмигранты, свидетельствовали о своем опыте. Саша, свободно владеющая французским языком, выразила готовность поменять культуру. Тем более, что на родине, в условиях разрушения мирной жизни и вынужденного прекращения учебы, она чувствовала свою ненужность. Михаил, отец 11 детей, принял решение покинуть родину вместе с семьей полтора года назад. Это далось ему не просто — он пережил опыт сходный с опытом смерти. Сейчас Михаил, профессиональный философ, коренной москвич, проживающий в бургундской деревне, старается осмыслить этот крайне мучительный опыт. Он допускает, что его внуки будут принадлежать к разным культурам и говорить на разных языках. При этом

он ищет срединный путь между отношением к современной России как «к Мордору» и желанием вернуться. Эти крайние позиции характерны для дискуссий нынешних эмигрантов. Интересно, что в какой-то момент, участники круглого стола очень естественно перешли на русский язык. За исключением Саши Шарাপовой и Георгия Соллогуба. Этим интересным обсуждением, высветившим столь разные, часто болезненные стороны феномена эмиграции, закончился первый день работы конференции.

Второй день начался со служения литургии, которую все совершали по своим приходам. К работе приступили после обеда. Открыл заседание круглый стол: «РСХД — рождение призваний?» Его участниками были движенцы, которые свидетельствовали о реализации своих профессиональных призваний. Вместо заболевшей Мари-Сесиль Швабо, координировал работу стола Филипп Аржаковский. Он и выступил первым. Профессор философии Филипп любит свое занятие, предметом его специального интереса является творчество Мартина Хайдеггера. По словам Филиппа, к Хайдеггеру, с его особым вниманием к «непониманию», подвела сама логика жизни в РСХД. На съездах движения бытовой русский язык для поколения, к которому принадлежал выступающий, был понятен, а язык богословских дебатов уже нет. Помимо философии Филипп Аржаковский известен как переводчик поэзии. Он переводит на французский с греческого, немецкого и русского. Задача наитруднейшая: понять автора поэтического текста еще можно, но выразить на другом языке практически невозможно. Чтобы что-то получилось, необходимо пройти через область безмолвия. Своим учителем на этом пути он назвал русского поэта Ольгу Седакову. Вспомнив попутно ее свидетельство о том, что малейший контакт с классикой освобождает от отравления тоталитарным духом и мышлением.

Историк Екатерина Гусева, бывшая в молодости руководителем (вожатой) в лагере РСХД, рассказала, как она пришла к своему призванию еще в детстве, рассматривая загадочные бумаги — документы из семейного архива: справку на нескольких языках, включая арабский, о карантине в Стамбуле и нансеновский паспорт с разными визами. Это было даже ярче, чем воспоминания бабушки, всегда начинав-

пиесе со слов: «Давным-давно». В дальнейшем она слышала много подобных рассказов, и всегда возникало впечатление, что семья рассказчика уплывала на последнем пароходе. В какой-то момент Екатерина сказала себе: «Хватит разговоров, надо писать историю эмиграции!» Она была усердным собирателем устной истории — старалась сохранить голоса первой эмиграции. Когда Екатерина начинала это, устная история еще не расценивалась как серьезный источник, в отличие от современности. Екатерина Гусева защитила диссертацию «Русская эмиграция во Франции». По ее мнению, написание истории — дело третьего поколения эмиграции. Для первого эти события не история, а жизнь, второе — это тихое поколение, а третье уже набирает необходимую временную дистанцию, чтобы писать историю.

Актер Николай Струве назвал лагерь РСХД местом рождения своего призвания, где он со сверстниками постоянно что-то сочинял. Коротко он мог бы ответить на вопрос, зачем вы играете в театре, так: «чтобы вспомнить детский лагерь».

Успешный дипломат Михаил Таран (племянник известной французской актрисы Маши Мериль (урожденной княжны Гагариной)), послуживший Французской республике верой и правдой на разных должностях в России, Тунисе, Албании, Латвии и Таджикистане, свидетельствовал, что РСХД помогло его воцерковлению и дало необходимый настрой, в том числе и для профессиональной деятельности. В его богатой событиями биографии была особая страница: когда он, служа в консульстве Франции в Петербурге, встретился с Еленой Ивановной Казимирчак-Полонской.

Анастасия Озолина, проводившая в лагере РСХД ежегодно каждое лето с 6 до 20 лет, стала художником и высококвалифицированным реставратором тканей. Юная экзальтированная девушка мечтала о монашестве. Но духовник движения о. Алексей Князев решительно воспрепятствовал этому намерению, сказав: «Да, избавит тебя Господь от монастырей, дочь моя!» Анастасия не без иронии заметила, что ей приходилось заниматься реставрацией старинных облачений в различных монастырях и монахини были не «против» принять ее в свою общину. Она благодарна РСХД за воспитание в любви к православию и Франции. «Мы — православные дети Франции!» — сказала она. Первые навыки реставрации Анастасия получила

в лагере, когда приводила в порядок рубашку друга, упавшую в цемент. В течение продолжительной профессиональной деятельности ей доводилось решать крайне сложные задачи, восстанавливая уникальные вещи: облачение первого примаса Галлии, погребальную тунику св. Кесария, работать в музеях Бенаки в Афинах и византийского искусства в Фессалониках, реставрационных мастерских в Вифлееме, обучать реставрации францисканских монахинь. Сейчас она занимается реставрацией после пожара облачений, изготовленных м. Марией (Скобцовой), из церкви св. Серафима.

Активный член РСХД иконописец и византолог Григорий Асланов с благодарностью вспомнил своих учителей – Леонида Успенского и о. Николая Озолина. По ходу конференции Григорий рисовал портреты участников.

Продолжил работу конференции доклад о. Хильдо Боса о воплощении основополагающих идей движения в сегодняшней жизни. В начале он обратил общее внимание на портрет немецкого пастора Фридриха фон Большвинга, построившего кирху и дома при ней, которые после Первой мировой войны приобрели русские православные христиане для Свято-Сергиевского института. Во время оккупации Парижа немцы не тронули институт, обратив внимание на то, с какой бережностью сохраняется в нем память о пасторе-основателе. Также докладчик привлек общее внимание к раздававшемуся время от времени колокольному звону. Напомнив, что колокола – подарок американских протестантов. Портретом и колокольным звоном о. Хильдо проиллюстрировал следующую идею: «Чтобы видеть, надо знать». Применительно к теме доклада это значило, что для того, чтобы увидеть корни движения, надо знать, откуда мы. Для иллюстрации своего первого тезиса докладчик процитировал устав Движения: «РСХД подготавливает молодежь к служению Православной церкви». Понятно, что помочь молодежи в этом может только церковь. Но не как учреждение, а как жизнь со Христом. 100 лет спустя, движение остается средой веры молодежи. Второй тезис – педагогика. Посетовав на недостаток интереса к педагогике В.В. Зеньковского, о. Хильдо отметил, что педагогическая работа Движения по-прежнему строится на принципах, сформулированных о. Василием: собранности как золотой середины между строгой дисциплиной и безграничной свободой; свободы как, прежде всего, свободных

отношениях между поколениями; творчества, которое проявляется многообразно, особенно в поэтических вечерах. Третий тезис — оцерковление жизни. Для этого нужно окунуться в жизнь Церкви. Гениальная, по выражению докладчика, особенность лагеря РСХД — это не идеология, это возможность окунуться в жизнь со Христом. «Чудо лагеря», по свидетельству о. Хильдо, состоит в том, что в нем всё пропитано Христовым присутствием. Не только катехизация или церковные службы. Даже танцы. Танцы после литургии! О. Хильдо пробовал эту практику в другом православном лагере, но там не сработало. Возникающая в лагере дружба, пропитанная Христом, длится всю жизнь. В 1920-е гг. у движенцев было желание создать православную культуру. М. Мария и Н.А. Бердяев основали даже организацию — «Лигу православной культуры». Для этого очень важна молитва. Молитва Пшерово до сих пор определяет жизнь движения. Не «мы и Церковь», но «мы в Церкви». Мы знаем службу и любим ее, у нас живые неформальные отношения с духовниками. Четвертый тезис — Россия. Для кого-то она идеал. Кто-то от нее отказывается. При этом в лагере есть самые разные дети: некоторые только приехали из России, другие принадлежат к 5-му поколению потомков, третьи вообще не имеют к ней никакого отношения. Для движения всегда была характерна особая русскость, не связанная с государственной пропагандой и официозом. Пятый — Святые движенцы, свидетели Евангелия: мать Мария, о. Дмитрий Клепинин, Иван Аркадьевич Лаговский. Вывод — надо вспомнить педагогику наших создателей. Надо дать Христу действовать в нас. Русскость движения можно и нужно сделать живым наследием.

Марина Лабрюшери говорила в своем докладе об участии движенок (м. Мария, Алла Матео, сестры Зерновы) в социальной работе. Они пользовались поддержкой митрополита Евлогия и активно взаимодействовали с французскими социальными работниками в период становления социальной работы во Франции. Движенки изменили подход французских коллег к их деятельности. Это не была классическая благотворительность. Для них было характерно неизменное уважение к личности опекаемого. Местом встречи русских и французских социальных работников являлся Социальный музей (основанное в Париже еще в 1894 научно-исследовательское и просветительское учреждение).

Большой радостью для всех участников конференции было представление недавно увидевшей свет монографии «Русское студенческое христианское движение: истоки, возникновение и деятельность в 1923–1939 годах». Книга вышла на русском языке в Москве, в издательстве Свято-Филаретовского института (СФИ). Представила издание автор, преподаватель СФИ, Ульяна Гутнер. Она отметила, что в России мало знают РСХД. Поэтому автор стремилась в своем труде восстановить память об этой части русской эмиграции, познакомить читателей с теми идеями, которые были положены в основание движения. «Для нас и сейчас важно, — заметила Ульяна, — что движение ставило задачу воспитать поколение церковной интеллигенции как духовной элиты». Ульяна так же отметила, что возникновение движения не было бы возможно без Поместного собора 1917–18 гг. К сожалению, опыт проживания Собора утерян. А он очень важен. Одно из важнейших направлений деятельности Собора — усиление роли мирян в Церкви. Некоторые решения Собора были реализованы в эмиграции. Она постаралась показать в своей книге РСХД как явление соборности в опыте жизни православной церкви. Важной составляющей содержания труда является свидетельство о людях. В России до сих пор не знают, что многие видные деятели православной церкви, такие как, например, митрополит Сурожский Антоний (Блум), о. Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф, выросли в движении. Таким образом, автор постаралась сделать основной акцент на месте РСХД в церковной жизни. В монографии впервые опубликован полный список участников Пшеровского съезда. Ульяна рассказала почти детективную историю поиска и обретения этого документа в американском архиве. Труд опирается на данные трех архивов: Русского студенческого христианского движения (Париж), Йельского университета (Нью-Хейвен, США) и Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына (Москва). Книга вышла тиражом 500 экземпляров.

Три последующих доклада, завершивших работу конференции, были посвящены теме «Наследие РСХД на постсоветском пространстве». Александр Буров (Санкт-Петербург) свидетельствовал об исключительном месте опыта эмиграции в жизни своего поколения, пришедшего в Церковь

в конце 1980-х годов. Он отметил специфическую трудность на этом пути. Верующим в России приходилось преодолевать некий «заговор молчания» — движеньцы по своей инициативе не рассказывали об РСХД, если только их специально не просили. Это было какое-то табу, которого придерживались все, начиная... с патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, который сам в детстве прошел через РСХД в Эстонии. С удовольствием об этом вспоминал в частных беседах и даже некоторых интервью начала 1990-х. Правда, говоря о расцвете православной жизни в довоенной Эстонии, он не упоминал движение. В своем выступлении Александр на конкретных примерах православных сообществ (Преображенское братство, братство св. Анастасии Узорешительницы и др.) показал, что, несмотря на все трудности нынешнего исторического периода, наследие РСХД в России живо. Поскольку всегда актуален запрос на такие формы христианской жизни, которые составляют самую суть наследия движения — формы, связанные с искренней верой, свободным общением и братской любовью.

Андрей Строчев был несколько озадачен предложенной ему темой выступления о наследии РСХД на постсоветском пространстве, т.к. он, по его словам, не понимает, что такое «постсоветское пространство» и есть ли оно. Есть общие символы и общее состояние духа. Есть новая волна эмиграции, связанная с военными действиями и террором. Можно ли говорить о духовном возрождении в этой ситуации? «Я, — сказал Андрей, — нашел личный ответ в том, что опыт РСХД для меня — это богатейший опыт личного переживания истории. Движение умеет это делать. И раньше, и сейчас». Есть искушение выйти из истории с помощью религии, которая всегда говорит о вечности, тем самым как бы предлагая совершить этот выход. «Я, — продолжил Андрей, — не холодный наблюдатель». Всегда нужно идти в ногу с историей, быть ответственным. Живой личности нужно сообщество. Это может помочь. Благодаря Бердяеву приобретается личное переживание истории, и оно христианское. Христос жил в истории. РСХД показывает, как не выходить из истории. Ходить в церковь не для того, чтобы жить спокойно. Возможным выходом из этой трагической ситуации, в которой мы все оказались, по мнению докладчика, является дружба. В отличие от любви

она всегда конкретна. Поэтому христиане могут продолжать действовать на ее основании.

Как всегда ярко выступил Антуан Аржаковский. Он предложил переосмыслить наследие РСХД. Критике со стороны докладчика подверглись взгляды на историю таких значимых для движения мыслителей как о. Александр Шмеман и А.И. Солженицын. И первый в «Историческом пути Православия», и второй в «России в обвале», по мнению выступающего, игнорируют историю Киевской Руси после нашествия Орды, забывают Даниила Галицкого, который, в отличие от Александра Невского, сражался, а не сотрудничал с завоевателями. По мнению Антуана, которое ему приходится отстаивать в дискуссиях с представителями новой эмиграции (М.Б. Ходорковским и др.), движение не должно стыдиться своего прошлого. РСХД всегда противостояло тоталитаризму — участвуя в антинацистском Сопротивлении, помогая диссидентам. Движение научилось бороться с бесом коммунизма. Но сейчас, отметил докладчик, нужно изгнать бес империализма. Которым, так или иначе были заражены Шмеман и Солженицын, даже Зеньковский, выступавший за украинское государство, но не представлявший его независимым. Досталось и Пушкину, которого докладчик упрекнул за оправдание «империалистической политики России» в поэме «Полтава». Примером преодоления духа империализма для Аржаковского является Г.П. Федотов, который признавал самобытность Украины, не сводил украинский язык к малороссийскому говору и советовал читать 12-томную Историю Украины М.С. Грушевского. Актуальную задачу движения Антуан Аржаковский видит в том, чтобы призвать христианских религиозных лидеров к антиимпериалистической солидарности.

После окончания рабочей части программы в трапезной института в живой и неформальной обстановке прошел дружеский ужин. За ужином чествовали движенку — ровесницу — Ирину Ровер, ей накануне исполнилось 100 лет. В соответствии с традициями французской православной кухни к столу подавали борщ с пирожками и сырную тарелку. Трапезы и кофе-брейки на встречах, проводимых движением, всегда носят характер радостного и интересного общения, рождающего новые и продолжающего старые знакомства. Не была

исключением и конференция, посвященная 100-летию РСХД. После ужина участники встречи с большим интересом посмотрели кадры кинохроники послевоенной жизни Движения. Зрители увидели на экране дорогие всем лица о. Василия Зеньковского, Льва Зандера, о. Алексея Князева и др. Многие узнавали себя и своих сверстников в детском и юношеском возрасте, молодые движенцы смотрели на юных отцов и дедов с большим интересом. Было очень весело. Закончилась конференция соборной молитвой. Весь зал коленопреклоненно спел: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная».

К сожалению, мы не располагаем статистикой конференции. Но по визуальным наблюдениям, зал, рассчитанный примерно на 100 человек, каждый день был целиком заполнен на протяжении всего времени работы. Присутствовало много молодых людей, в большом количестве чернели подтяжки и поблескивали наперсные кресты — в работе конференции принимали активное участие православные священники различных юрисдикций.

В заключении хочется отметить одно обстоятельство. Особый аромат всему собранию предавала характерная для русской эмиграции семейная атмосфера. Многие, если не все, приходят друг другу родственниками. И, делая доклад о какой-либо персоне, или только упоминая ее, вы, как правило, обращаетесь не просто даже к заинтересованным слушателям, а к ее родным и близким. Это обстоятельство и необыкновенно волнительно, и одновременно вызывает ни с чем несравнимое ощущение погружения в живую историю. Что в свою очередь рождает в душе благодарность организаторам конференции. Большое спасибо, дорогие друзья, за это счастье приобщения к истории, которое стало возможным благодаря вашим трудам!

АЛЕКСАНДР БУРОВ

Встреча с Андреем Звягинцевым

Вечером 6 ноября 2023 года в Культурном центре им. Александра Солженицына, расположенном в 5-м округе Парижа, состоялась встреча с режиссером Андреем Звягинцевым. В небольшом конференц-зале не было свободных мест. Автор фильма «Левиафан», живая легенда русского кинематографа, уже был в этом центре год назад по случаю презентации книги «Елена. История создания фильма Андрея Звягинцева». В этом году встреча была посвящена презентации двух новых книг: «Левиафан. Разбор по косточкам: режиссер Андрей Звягинцев — о фильме кадр за кадром» (2021, переиздание в Альпина PRO, 2023) и книги Семена Ляшенко «Путь фильма “Апокриф” Андрея Звягинцева» (Искусство кино, 2023).

Вечер начался с просмотра фильма-новеллы «Апокриф», вышедшего в 2008 году и предназначенного для альманаха «New York, I love you», но не вошедшего в финальную версию. История начинается со встречи отца с сыном, которому тот передает видеокамеру. На выходе из здания незнакомка спрашивает молодого человека, не знает ли он, в какой квартире здесь жил Иосиф Бродский. Молодой человек не имеет ни малейшего представления, о ком идет речь. Позднее на причале, на фоне нью-йоркских небоскребов, он становится свидетелем сцены расставания пары. В автобусе, просматривая отснятые крупные планы, он как бы вглядывается в реальность, останавливается на кадрах, на эмоциях, на жестах и на забытом свертке, оставшемся на скамейке. В нем — книга Бродского со вложенной фотографией, которую унесит ветром. За кадром женский голос читает стихотворение Уистена Одена в переводе Иосифа Бродского:

Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.

Как признается Звягинцев, выбор фигуры поэта Иосифа Бродского (жившего в иммиграции в Нью-Йорке) был очевидной личной ассоциацией режиссера с американским

мегаполисом. Именно истории создания этого короткометражного фильма, длительностью всего в 9 минут, и посвящена книга Семена Ляшенко. На ее страницах читатель найдет разбор разных вариантов сценария, раскадровки, переписки, отражающей отношения режиссера с продюсерами и со съемочной группой. По словам Андрея Петровича, эта книга — «сгусток противоречий художественного толка», она посвящена вечному поиску «между лучше и дешевле», «битве с продюсерами», «битве за 23 секунды».

В основу второй книги, представленной в этот вечер, «Левиафан. Разбор по косточкам», положено интервью с режиссером продолжительностью около тридцати часов киноcritика Максима Маркова. Именно ему, по словам Андрея Петровича, принадлежала идея подробного и детального разбора картины. «Беспрецедентный разговор» длился 6 дней, начавшись с анализа буквально первого кадра. Потом — месяцы вычитки, корректуры, споров о том, какой должна быть книга. «Не один фильм я так долго не выделял», — признается Звягинцев.

В этот вечер была упомянута также книга-фотоальбом «Возвращение» Владимира Мишукова и книга «Елена. История создания фильма». По словам Звягинцева, работа над книгами происходит обычно в моменты пауз между созданием фильмов, «в ожидании, какой из замыслов встанет на рельсы реализации», когда наступает «ощущение выдоха». Кроме того, разбор фильмов *a posteriori* — это своеобразный «разгон назад», и позволяет самому режиссеру лучше понять и «артикулировать» съемочный процесс, решения, принятые во время съемок. «На каждый вопрос точно есть ответ», — утверждает Андрей Петрович.

Отвечая на вопросы заинтересованной публики о том, как снимать кино про актуальные события, Звягинцев настаивает: «Актуальное кино делать трудно. Оно схоже с пропагандой. Все исторические коллизии требуют дистанции. Но элементы актуального могут присутствовать в кино, как например в “Левиафане”, когда мэр на пустыре наставляет пистолет на адвоката».

Сейчас режиссер работает над новым фильмом. По его словам, съемки фильма на русском языке были обязательным условием контракта с иностранными продюсерами: «чтобы

снимать про людей, надо знать людей», «среда и ткань должны быть абсолютно понятными»; режиссер должен задаться вопросом: «чем здесь жив человек?»

В итоге встреча прошла без фильтров, без барьеров, без условностей. Как сказал сам Андрей Петрович, собрались, чтобы «поделиться настроениями». Речь глубоко мыслящего артиста была простой и меткой, виртуозно наполненной парадоксальными высказываниями и афоризмами («фильмы делаются не для зрителя»; «спрашивать у автора о критике то же самое, что спрашивать фонарь о собаках»). Свое выступление он символично закончил цитатой Сергея Довлатова: «Истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду!»

АНАСТАСИЯ СЫРЕЙЩИКОВА-ХОРН

Презентация «Словаря Гоголя» Мишеля Никё

13 ноября 2023 года в парижском Культурном центре им. Александра Солженицына состоялся вечер заслуженного профессора университета Кан-Нормандия Мишеля Никё, проведенный Татьяной Викторовой. На нем Мишель Никё представил свой «Словарь Гоголя», вышедший в издательстве Института славянских исследований в Париже. Ранее там же уже проходила презентация других его книг — «Словаря Достоевского», выпущенного в 2021 году, и «Запад глазами России. Антология русской мысли от Карамзина до Путина» (2016).

В светлом и наполненном книгами зале в этот дождливый осенний вечер собралось около сорока человек, горячо приветствовавших друг друга по-русски и по-французски: докладчик был рад, что Гоголь все еще способен привлекать людей.

Мишель Никё пояснил, что «Словарь Гоголя» был создан в соответствии с теми же принципами, что и «Словарь Достоевского»: как путеводитель, где каждый найдет что-то для себя, — и тот, кто почти или вовсе не знаком с творчеством Гоголя, и тот, кто сам является специалистом по русской литературе. Если по отношению к Достоевскому речь шла о том, чтобы облегчить проникновение в сложный внутренний мир писателя, вызывающий робость у непосвященных, то в случае Гоголя, напротив, следовало избегать впечатления о нем как о легком авторе (комическом, сатирическом), чтобы показать его глубину, особенно духовную, приглушенную советской критикой — наследницей Белинского, — сводившей творчество писателя к критическому реализму. И это в то время, когда сам Гоголь говорил о себе: «Я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно» (письмо к матери от 1 марта 1828), когда Розанов писал: «Он весь остается совершенно темен для нас, совершенно непроницаем»; когда для Бердяева Гоголь был «один из самых загадочных русских писателей», а для Анны Ахматовой у Гоголя «все непонятно, от начала и до конца. <...> И никогда не поймут».

Задачей, поставленной в этой работе, было не столько сделать Гоголя совершенно прозрачным, но скорее сконцентрироваться на сложных вопросах (вторая часть «Мертвых душ», «Избранные места из переписки с друзьями», вопросы пола, роль отца Матфея, дьявол, так называемый «мистицизм» Гоголя, загадка его смерти), которые представлены с разных точек зрения.

Книга содержит 112 статей (в книге о Достоевском их было 118) пяти видов:

– заметки обо всех произведениях Гоголя, в том числе о его статьях по эстетике и истории, не изданных по-французски;

– статьи о поэтике Гоголя и литературных жанрах: фантастическое, изначально с фольклорными корнями в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», затем метафизическое, с «нефантастической фантастикой»: фантастикой обыденной, посредственной реальности («пошлость»); барочный, гротескный стиль (смесь возвышенного и тривиального, комического и трагического); стилистические фигуры, особенно сравнения, которые разворачиваются в отдельные анекдотические истории (например, глаза Плюшкина, которые сравниваются с мышами);

– статьи о повторяющихся мотивах, таких как душа (созидание своей души — центральная тема жизни и творчества Гоголя), взгляд, дорога (Гоголь постоянно в дороге, путешествие лечит его, и он нуждается в путешествии, чтобы писать), гастрономия;

– статьи о политическом и религиозном мировоззрении Гоголя. Доминирует утопия — *эстетическая утопия* (Гоголь надеялся сразу уничтожить смехом все, что было в России плохого), *экономическая утопия* (во второй части «Мертвых душ») и *религиозная утопия* личного совершенствования, далекого от всякого революционного движения: речь шла о том, чтобы возродить наши мертвые души, напитав их Евангелием и применяя слова Евангелия на практике. С этих пор русская интеллигенция оказалась разделена между сторонниками более или менее насильственного преобразования мира и теми, кто выступал прежде всего за работу над собой, внутреннее преображение, без которого бессмысленно менять общественные институты: это гоголевский голос Достоевского, Льва Толстого, Солженицына.

– наконец, статьи об окружении Гоголя, с особой ролью Александры Смирновой-Россетти, о которой в издательстве «УМСА-Press» была опубликована в 1995 г. книга Раймона де Понфийи «Дорогой друг Гоголя». О писателях – наследниках Гоголя, среди которых самые значительные имена Достоевского, Белого, Булгакова.

Использованные в этом словаре источники – это собственно произведения Гоголя, его переписка, не опубликованная по-французски (за исключением нескольких отрывков в предисловии к тому Гоголя в издательстве «Pléiade»), и вся полнота исследовательской мысли на французском, русском, английском и немецком языках: из тысяч страниц критики были выбраны отрывки, которые способствуют обогащению понимания наследия Гоголя и его вселенной французским читателем.

Мишель Никé разрабатывает три основных темы: религия, Украина и Италия.

В книге нет статей, посвященных православию, но есть статьи о религии и католицизме, с сочувствием воспринятом Гоголем в Риме, где он познакомился с польскими монахами, а также с протестантизмом. Это новый сюжет в исследованиях творчества Гоголя, который сам писатель прояснил, сказав С. Шевыреву: «Что до *католицизма*, то я говорю тебе: ко Христу скорее можно прийти протестантским путем, чем католическим». Влияние протестантизма обнаруживается в «Избранных местах из переписки с друзьями» как идеал служения, служения государству и общему благу: «Монастырь ваш – Россия!», – говорит он князю Александру Толстому в подвергнутом цензуре письме. Не следует избегать мира, но нужно работать над его улучшением: у Гоголя присутствует социальный аспект христианства, который не был тогда понят еще никем (одним только Бухаревым). «Избранные места из переписки с друзьями», объявленные Белинским обскурантистскими, были совсем недавно снова проанализированы и реабилитированы русскими исследователями. Л. Толстой, однако, уже называл Гоголя «русским Паскалем», «нашим Паскалем». Гоголь находил в католицизме и протестантизме способ жить по-христиански в этом мире, преобразовывать его, но не отталкивать. Элизабет Бер-Сижель пишет: «Парадоксальным образом, именно в Риме Гоголь станет

православным более просвещенным, осознающим свои обязанности». У него не было никакого намерения обратиться в католичество, чего боялись его друзья и мать, которой он писал, что, «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же». Гоголь вырос в окружении набожных людей (его мать скорее была суеверна), читал Священное Писание и Отцов Церкви в Нежинском лицее, но именно в Риме, начиная с лета 1839 года, он принялся за тщательное изучение Библии (сначала на французском, потом на церковнославянском языке), Отцов Церкви, «Подражания Христу» (которое Гоголь советовал своим друзьям в качестве ежедневного чтения), Боссюэ, Монтеня, Паскаля, для того, чтобы понять душу человека, «ключом» к которой является Христос:

«Познание людей и души человека <...> меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он. Поверкой разума я поверил в то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно (“Авторская исповедь”)

Гоголь прилагает осознанное усилие, чтобы верить: «у меня нет веры, но я хочу верить», — пишет он отцу Матфею. Его паломничество в Иерусалим в 1848 году оставит его с «холодным сердцем», но он продолжит поиски Бога.

Украина — это первая точка духовного маршрута Гоголя, Санкт-Петербург — вторая, а Рим — третья, перед Москвой и небесным Иерусалимом. Гоголь родился в Украине, которая была составной частью Российской империи с 1654 года, после восстания казаков против польско-литовского владычества (в этом сюжете «Тараса Бульбы»). Фольклорные сюжеты и предания Украины легли в основу «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Гоголь, тогда еще неизвестный, открывает читателю северной столицы нравы казаков, одновременно грубых, жестоких и веселых, жизнерадостных и украинских крестьян в духе европейского романтизма (местный колорит, элементы фантастического). К двухсотлетию со дня рождения Гоголя (2009 год был объявлен ЮНЕСКО «Годом Гоголя») оживил вопрос самобытности писателя. Гоголь писал госпоже Смирновой, своей «духовной дочери», в письме от 24 декабря 1844 года:

«Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую».

А вот открытие Рима. «Она (Италия — *авт.*) моя! Я родился здесь» (письмо Жуковскому от 30 октября 1837). Есть небольшой рассказ под названием «Рим», очень важный для понимания мысли Гоголя. Это рассказ о воспитании юного знатного римлянина. Соблазненный вначале блеском и мишурой Парижа, он оставляет его затем ради Рима, далекого от прогресса, но зато избавленного от парижской меркантильности и поверхностности: с одной стороны, гармония, честность, человек, которые правят в Риме, с другой, — хаос, раздробленность, незначительное, модное, кажущееся. Противопоставление Рим/Париж соответствует романтическому противопоставлению между органичной, духовной *культурой* и материальной, искусственной, нерелигиозной, связанной с идеей прогресса *цивилизацией*. Это разделение оказывается в центре славянофильства, разрабатываемого в России в тридцатых годах XIX века. Был ли славянофилом Гоголь? Во всяком случае, он не отвергает Европу, где подолгу путешествовал и жил. В «Авторской исповеди» он так определил свое отношение к европейской цивилизации:

«И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. <...> И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно нам следует брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. <...> Иначе применение самого благодетельнейшего открытия не будет успешно. («Авторская исповедь»)».

В заключение, Мишель Никё говорит о глубинном единстве Гоголя: для него нет «двух» Гоголей, как часто пишут, первого, который думал только о том, как бы развлечь публику, и второго, моралиста и ханжи. Речь идет скорее об эволюции, углублении; это те шесть лет (1821–1828) в лицее, которые сформировали писателя, дав русской литературе

ее религиозное, мессианское и апокалиптическое направление, которое продолжит затем Достоевский.

Дарья Синичкина, доцент Сорбонны, специалист по творчеству Н. Кюлева и русской литературе XIX века, задала затем несколько вопросов Мишелю Никё, в том числе о выборе статей «Словаря» и о месте, которое могли бы занять иллюстрации в истории литературы (персонажи Гоголя были восприняты через иллюстрации его произведений).

После этого состоялась дискуссия с участием публики, с вопросом Татьяны Викторовой о подзаголовке к книге Бориса Шлецера «Гоголь: человек и поэт, братья-враги» (1972). Речь зашла об Эдгаре По, Серафиме Саровском, о смерти Гоголя. Какой будет следующая книга? — был задан вопрос, — «Словарь Пушкина»! И дружеский вечер продолжился за угощением.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

*Перевод с французского
Светланы Дубровиной*

Об авторах



Александров Виктор Владиленович (Будапешт, Венгрия). Историк, закончил истфак МГУ, учился на отделении средневековых исследований в Центрально-Европейском университете в Будапеште. Доктор философии (2004). Автор англоязычной книги по истории источников средневекового права, ряда статей и книги о богословии о. Николая Афанасьева. Издатель сборника работ о. Николая Афанасьева «Церковь Божия во Христе» (М.: ПСТГУ, 2015).

Буров Александр Анатольевич (Санкт-Петербург). Юрист, религиовед, старший научный сотрудник Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге.

Бычков Сергей Сергеевич (Москва, Россия). Писатель, публицист, историк церкви, доктор исторических наук, издатель собрания сочинений Георгия Федотова.

Ельчанинов Мишель (Париж, Франция). Французский философ, писатель, журналист. Доктор философских наук, тема его диссертации «Язык тела у Достоевского» (2000). Профессор философии университета Сорбонны. Редактор философского журнала «Philosophie Magazine».

Зелинский Владимир, протоиерей (Брешия, Италия). Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в г. Брешии, писатель, богослов.

Зубов Андрей Борисович (Брно, Чехия). Историк, религиовед, философ, публицист, политик. В настоящее время преподает в Масариковом университете. В 2023 признан Министерством юстиции России иностранным агентом.

Крошкина Лидия Владимировна (Москва, Тверь, Россия). Кандидат культурологии, преподаватель культурологических и богословских дисциплин в высшей школе.

Кузнецова Анна Алексеевна (Москва, Россия). Художник, междисциплинарный исследователь, независимый куратор и сценарист выставочных проектов, публицист.

Максимов Феликс Евгеньевич (Москва, Россия). Поэт, публицист, переводчик.

Нива Жорж (Женева, Швейцария). Французский историк литературы, славист, профессор Женевского университета, автор

книг и статей об Александре Солженицыне, русской литературе, России и Европе.

Никё Мишель (Франция). Филолог-славист, профессор *emeritus* университета Кана в Нормандии, автор многочисленных работ по русской литературе XIX–XX вв.

Носова Светлана Петровна (Аугсбург, Германия). Поэт, переводчик, автор книги стихов «*Medicina Animae*» (УМСА-Press). Автор «Вестника РСХД» с 2001 г. Член Общества Romano Guardini. Врач, доктор медицины.

Парравичини Джованна (Россия, Италия). Научный сотрудник московского культурного центра «Покровские ворота», духовная дочь о. Романо Скальфи, член католического движения «*Communione e liberazione* (Общение и освобождение)», сотрудник фонда «Христианская Россия».

Струве Даниил (Париж, Франция). Профессор университета Париж Сите, специальность: востоковедение (японская классическая литература), член редакции «Вестника РХД».

Уильямс Роуэн (Великобритания). С 2003 по 2012 гг. архиепископ Кентерберийский. Английский богослов, поэт, публицист. Лорд. В настоящее время возглавляет Колледж Магдален Кембриджского университета.

СОДЕРЖАНИЕ



От редакции — *Жорж Нива* 3

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

О святости (Беседы первая и вторая) — *митрополит Антоний Сурожский* (пер. *Елены Майданович*) 4

Русский религиозный национализм — *Юлия Данзас* (предисл. *Мишеля Нике*, пер. *Натальи Ликвинцевой*) 21

Экклесиология отца Александра Шмемана — *Даниил Струве* . . . 49

О философии свободы — *Мишель Ельчанинов* (пер. *Веры Казарцевой*) 57

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Живой мост: К столетию со дня рождения отца Романо Скальфи (1923–2016) — *Джованна Парравичини* 65

Стоявший на страже: О протоиерее Анатолии Волгине (1946–2021) — *Сергей Бычков* 89

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

К столетию Русского студенческого христианского движения за рубежом

Письма к будущей жене — *Николай Афанасьев* (публ. и предисл. *Виктора Александрова*) 104

Из дневников 1925 года (отрывки о Русском студенческом христианском движении) — *Петр Ковалевский* (публ. *Натальи Ликвинцевой*) 129

МЕМУАРЫ

Оглядываясь на жизнь: В сторону тайны (*продолжение*) — *священник Владимир Зелинский* 167

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

К 50-летию издания «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына

«Архипелаг ГУЛАГ», свет, судьба — *Жорж Нива*
(пер. *Натальи Ликвинцевой*) 193

К 150-летию со дня кончины Федора Тютчева

Поль Гард и Федор Тютчев: незаурядная встреча —
Жорж Нива 204
О Тютчеве — *Поль Гард* (пер. *Веры Казарцевой*) 208
Тютчев и его политическая тень — *Жорж Нива* 220
Имперец и псалмопевец — *священник Владимир Земинский* . . . 225
Анкета «Вестника» о творчестве Ф. Тютчева. —
Ответы Ольги Седаковой, Сергея Стратановского,
Бориса Херсонского, Екатерины Белавиной 229

Поэзия

Стихи — *Феликс Максимов* 241
Фрагмент из «Рапсодии в трех зеркалах» —
Светлана Носова 263

В МИРЕ КНИГ

Новый том Собрания сочинений матери Марии —
Лидия Крошкина 274

IN MEMORIAM

Иоанн Зизиулас: Экуменическая признательность —
Роуэн Уильямс 278
Волны и берег Тамары Жирмунской
(22.03.1936 – 12.02.2023) — *Анна Кузнецова* 282
Надгробное слово на отпевании Михаила Сологуба —
свящ. Петр Ребиндер (пер. *Светланы Дубровиной*) 294
Памяти Михаила Соллогуба — *Андрей Зубов* 297

ХРОНИКА

Живая история: парижская конференция к 100-летию Русского студенческого христианского движения — <i>Александр Буров</i>	302
Встреча с Андреем Звягинцевым — <i>Анастасия Сырейщикова-Хорн</i>	323
Презентация «Словаря Гоголя» Мишеля Никё — <i>Елена Николаева (пер. Светланы Дубровиной)</i>	326
Об авторах	332

TABLES DES MATIÈRES



Éditorial – *Georges Nivat* 3

THÉOLOGIE, PHILOSOPHIE

À propos de la sainteté (Première et deuxième entretiens) –
Métropolitaine Antoine de Souroge
(traduction d'*Elena Maïdanovitch*) 4

Le nationalisme religieux russe – *Julia Danzas* (introduction
de *Michel Niqueux*, traduction de *Natalia Likvintseva*) 21

L'ecclésiologie du père Alexandre Schmemmann – *Daniel Struve* ... 49

La philosophie de la liberté – *Michel Eltchaninoff* (traduction
de *Véra Kazartseva*) 57

VIE DE L'ÉGLISE

Un pont vivant : Centième anniversaire de la naissance du père
Romano Scalfi (1923–2016) – *Giovanna Parravicini* 65

Celui qui montait la garde : l'archiprêtre Anatoli Volguine
(1946–2021) – *Serguen Bytchkov* 89

HISTOIRE DE L'ÉMIGRATION RUSSE

Centenaire de l'Action Chrétienne des Étudiants Russes

Lettres à sa future épouse – *Nicolas Afanassieff* (publication
et introduction de *Viktor Aleksandrov*) 104

Extrait du *Journal* pour l'année 1925 (passages concernant
l'ACER) – *Piotr Kovalevski* (publication de *Nathalia*
Likvintseva) 129

MÉMOIRES

Retour sur ma vie : du côté du mystère (suite) – *archiprêtre Vladimir*
Zelinski 167

LITTÉRATURE ET ART

50^{me} anniversaire de la publication de L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljénitsyne

*L'Archipel du Goulag, une lumière, un destin – Georges Nivat
(traduction de Natalia Likvintseva)* 193

150^{me} anniversaire de la mort de Fédor Tioutchev

Paul Garde et Tioutchev : une rencontre hors du commun –
Georges Nivat 204

Tioutchev – *Paul Garde (traduction de Véra Kazartseva)* 208

Tioutchev et son ombre politique – *Georges Nivat* 220

Impérialiste et psalmiste – *archiprêtre Vladimir Zelinski* 225

Réponses à l'enquête du *Messenger* sur l'œuvre de F. Tioutchev –
*Olga Sedakova, Sergueï Stratanovski, Boris Khersonski,
Ekaterina Belavina* 229

Poésie

Poèmes – *Feliks Maksimov* 241

Fragment de « Rhapsodie en trois miroirs » –
Svetlana Nosova 263

LE MONDE DES LIVRES

Nouveau volume des *Œuvres complètes* de mère Marie –
Lidiya Krochkina 274

IN MEMORIAM

Jean Zizioulas : Reconnaissance œcuménique –
Rowan Williams 278

Les vagues et la rive de Tamara Jyrmounskaya (22.03.1936–
12.02.2023) – *Anna Kouznetsova* 282

Allocution aux funérailles de Michel Sollogoub –
prêtre Pierre Rehbindler (traduction de Svetlana Doubrovina) 294

In memoriam Michel Sollogoub – *André Zoubov* 297

CHRONIQUE

Histoire vivante : conférence pour le centenaire de l'Action Chrétienne des Étudiants Russes a Paris – <i>Alexandre Bourov</i>	302
Rencontre avec André Zviaguintsev – <i>Anastasiya Syrëichtchikova-Khorn</i>	323
Présentation du Dictionnaire de Gogol de Michel Niqueux – <i>Hélène Nikolaeva (traduction de Svetlana Doubrovina)</i>	326
Notices biographiques des auteurs	332

ВЕСТНИК
русского христианского
движения
№ 217

Подписано в печать 07.07.2024
Формат 60x90 1/16. Печ. л. 21,25